К.Н.БАТЮШКОВ

Советский писатель

К.Н. БАТЮШКОВ

БИБЛИОТЕКА ПОЭТА



БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

ОСНОВАНА

М. ГОРЬКИМ

Большая серия

Второе издание

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

К. Н. БАТЮШКОВ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ

Вступительная статья,
подготовка текста и примечания
Н. В. Фридмана

МОСКВА—ЛЕНИНГРАД · 1964

Лирика К. Н. Батюшкова (1787—1855) — одно из замечательных завоеваний русской поэзии. Вместе с Жуковским Батюшков подготовил мощный расцвет русской поэзии, наступивший в 1820—1830-е годы, он создал лирику, раскрывающую сложные и многообразные человеческие переживания и чувства. Виртуозные по мастерству стихи Батюшкова отмечены музыкальностью, богатством и тонкостью красок, пластичностью образов.

Это издание является самым полным сводом стихотворного наследия Батюшкова.



К. Н. БАТЮШКОВ

«Батюшков много и много способствовал тому, что Пушкин явился таким, каким явился действительно. Одной этой заслуги со стороны Батюшкова достаточно, чтоб имя его произносилось в истории русской литературы с любовию и уважением».[1] Эти слова Белинского, ярко и метко определившие место поэта в истории русской литературы как ближайшего предшественника Пушкина, можно встретить во множестве исследований, посвященных творчеству Батюшкова. Однако не всегда остается раскрытой другая важная сторона высказываний Белинского о Батюшкове. Белинский, очень любивший поэзию Батюшкова, настаивал на том, что она имеет самостоятельную идейно-художественную ценность. Об этом он писал: «Батюшков, как талант сильный и самобытный, был неподражаемым творцом своей особенной поэзии на Руси».[2] Действительно, поэзия Батюшкова прочно вошла в золотой фонд русского классического искусства слова. Лучшие образцы лирики Батюшкова прошли проверку временем: они и сейчас воспитывают в наших современниках благородство чувств и безупречный эстетический вкус. Создателем этих редких художественных шедевров был человек, жизненная судьба которого сложилась весьма трагично.

---

[1] «Сочинения Александра Пушкина». — В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. 7. М., 1955, стр. 228. Все цитаты из сочинений Белинского даны в нашей статье по этому изданию (тт. 1—13. М., 1953—1959).

[2] «Стихотворения Е. Баратынского» (Белинский, т. 6, стр. 461).

1

Константин Николаевич Батюшков родился в Вологде 29 мая (нового стиля) 1787 года в старинной, но обедневшей дворянской семье. С десяти лет он воспитывался в петербургских частных пансионах Жакино и Триполи, где овладел французским и итальянским языками, что позволило ему впоследствии проявить свой замечательный талант переводчика. Но особенно важную, можно сказать решающую, роль в воспитании Батюшкова сыграл его двоюродный дядя, писатель М. Н. Муравьев, оказавший огромное влияние на культурные интересы будущего поэта и их общее направление. «Я обязан ему всем», — признавался Батюшков,[1] напечатавший в 1814 году прочувствованную статью о сочинениях Муравьева. Юный Батюшков, сделавшийся впоследствии одним из самых образованных людей в современной ему России, обнаруживает страстную любовь к чтению и знакомится с лучшими произведениями русской и иностранной литературы (так, четырнадцатилетним мальчиком он просит отца прислать ему сочинения Ломоносова и Сумарокова, а также вольтеровского «Кандида»).

Окончив пансион в 1803 году, Батюшков остался в Петербурге и в качестве делопроизводителя поступил на службу в министерство народного просвещения. Здесь он сближается со служившим в том же министерстве Н. И. Гнедичем, навсегда сделавшимся его лучшим другом. Сослуживцами Батюшкова были и писатели, входившие в «Вольное общество словесности, наук и художеств»: сын автора «Путешествия из Петербурга в Москву» Н. А. Радищев, И. П. Пнин, И. М. Борн и другие. 22 апреля 1805 года Батюшков вступает в «Вольное общество», вокруг которого группировались многие последователи А. Н. Радищева, выражавшие и пропагандировавшие передовые идеи своего времени. Выступив впервые в печати в январе 1805 года в журнале «Новости русской литературы» с «Посланием к стихам моим», Батюшков затем сотрудничает в органах, издававшихся членами «Вольного общества» и близкими к нему лицами, — «Северном вестнике» и «Журнале российской словесности». Однако связь Батюшкова с «Вольным обществом» не была продолжительной: она прекратилась фактически

---

[1] Письмо к В. А. Жуковскому от 3 ноября 1814 г. (К. Н. Батюшков. Соч., т. III, стр. 305). Все цитаты из прозаических произведений, заметок и писем Батюшкова даны в нашей статье по изданию: Соч., тт. II—III, СПб., 1885—1886. Ссылки на него приводятся в тексте сокращенно, с указанием тома и страницы. Ссылки на том III обозначают, что цитируются письма поэта. Критическая и художественная проза помещена в томе II.

еще до 1807 года, после которого во главе общества оказались литераторы, очень далекие от демократических взглядов.

Служба дала возможность Батюшкову познакомиться с видными деятелями русской культуры. Но вместе с тем поэт безмерно тяготился пребыванием «в канцеляриях, между челяди, ханжей и подьячих» (III, 149), «ярмом должностей, часто ничтожных и суетных» (II, 121), и когда он служил в министерстве народного просвещения, и когда позднее — в 1812 году — стал помощником хранителя манускриптов в петербургской Публичной библиотеке. От работы мелкого чиновника Батюшкова отталкивала не только ее обременительность. Дружески поддерживая Гнедича, занятого переводом «Илиады» Гомера, он замечал: «Служа в пыли и прахе, переписывая, выписывая, исписывая кругом целые дести, кланяясь налево, а потом направо, ходя ужом и жабой, ты был бы теперь человек, но ты не хотел потерять свободы и предпочел деньгам нищету и Гомера» (III, 158). Любопытно, что Батюшков задолго до появления «Горя от ума» Грибоедова предвосхитил фразу Чацкого, направленную против чиновного карьеризма: «Служить бы рад, прислуживаться тошно». «Служил и буду служить, как умею, — писал Батюшков, — выслуживаться не стану по примеру прочих...» (III, 362).

К тому же служба в канцеляриях давала поэту только весьма ограниченные средства к существованию. Батюшков часто жалуется на хроническое безденежье. В одно из своих писем к Вяземскому он вводит горько-иронический стихотворный экспромт, рисующий образ поэта, у которого нет денег даже на покупку чернил:

А я из скупости чернил моих в замену
На привязи углем исписываю стену.[1]

«Я штатскую службу ненавижу», — признавался Батюшков (III, 8). Иным было его отношение к военной службе. В. А. Жуковский имел право назвать своего друга не только «певцом любви», но и «отважным воином» («К портрету Батюшкова»).

Еще в 1807 году Батюшков записывается в ополчение, созданное во время второй войны России против наполеоновской Франции, и совершает поход в Пруссию. В битве под Гейльсбергом поэт был тяжело ранен в ногу; его вынесли полумертвого из груды убитых и раненых товарищей. В 1808—1809 годах Батюшков

[1] Письмо от 29 июля 1810 г. (Центральный государственный архив литературы и искусства СССР, фонд Вяземского. В дальнейшем название этого архива дается сокращенно: ЦГАЛИ).

участвует в войне со Швецией и проделывает походы в Финляндию и на Аландские острова. Во время Отечественной войны Батюшков, несмотря на расстроенное ранением здоровье, не хочет оставаться в стороне от борьбы с Наполеоном. «Я решился, и твердо решился, — пишет Батюшков П. А. Вяземскому, — отправиться в армию, куда и долг призывает, и рассудок, и сердце, сердце, лишенное покоя ужасными происшествиями нашего времени» (III, 205). В 1813 году Батюшков вновь зачисляется на военную службу, принимает участие в ожесточенных сражениях, в частности в знаменитой «битве народов» под Лейпцигом (в эту пору поэт был адъютантом генерала Н. Н. Раевского-старшего), и в составе русской армии, «покрытый пылью и кровью», в 1814 году попадает в вынужденный капитулировать Париж. Таким образом, Батюшков стал очевидцем и участником величайших исторических событий. Сообщая другу о «военных чудесах», которые быстро следовали одно за другим во время похода русской армии по Франции, он восклицал: «Я часто, как Фома неверный, щупаю голову и спрашиваю: боже мой, я ли это? Удивляюсь часто безделке и вскоре не удивлюсь важнейшему происшествию» (III, 256).

После окончания военных действий Батюшков посетил Лондон и Стокгольм и летом 1814 года возвратился в Россию. По собственным словам, он «вернулся на горести» (III, 292). И действительно, его жизнь складывается трагически. Талантливый и образованный поэт, среди близких знакомых и друзей которого были такие выдающиеся деятели русской культуры, как Н. М. Карамзин, В. А. Жуковский, П. А. Вяземский, И. А. Крылов, А. Н. Оленин и другие, чувствовал себя везде ненужным и лишним. Батюшков не имел и прочной материальной основы существования. Его небольшое запущенное поместье давало очень мало дохода, на гражданскую службу он вновь идти не хотел. Тяжелым ударом для Батюшкова был его вынужденный отказ от брака с любимой женщиной — А. Ф. Фурман, которая не ответила ему взаимностью.[1] После этого разрыва, происшедшего в 1815 году, он заболел сильным нервным расстройством.

Творчество Батюшкова относится к эпохе царствования Александра I, когда политика правительства была отмечена внешним либерализмом, но на самом деле оставалась реакционной. Не приходится удивляться тому, что русская действительность казалась

---

[1] Мечтавший о браке с Фурман, Батюшков писал, понимая, как много у него препятствий для этого: «Я... не могу сделать ее счастливою... с маленьким состоянием» (письмо к Е. Ф. Муравьевой от 11 августа 1815 г. — Соч., т. III, стр. 342).

поэту совершенно безотрадной и мрачной. С этим были связаны постоянные сетования Батюшкова на ту самую навязчивую скуку, которая мучила и Пушкина, и Грибоедова. В одном из писем Батюшков так очертил это привычное для него психологическое состояние: «Люди мне так надоели и все так наскучило, а сердце так пусто, надежды так мало, что я желал бы уничтожиться, уменьшиться, сделаться атомом» (III, 35). Он смутно ощущал социальную подоплеку своего конфликта с действительностью. Не случайно поэт противопоставлял свой писательский труд корыстолюбивой деятельности «имущих» социальных групп. Отводя дружеские упреки Гнедича в бездействии, он возмущенно спрашивал последнего: «И впрямь, что значит моя лень? Лень человека, который целые ночи просиживает за книгами, пишет, читает или рассуждает! Нет... если б я строил мельницы, пивоварни, продавал, обманывал и исповедовал, то верно б прослыл честным и притом деятельным человеком» (III, 65).

Общественное положение писателей, создававших русскую литературу первого двадцатилетия XIX века, было двусмысленным и тяжелым. Их постоянно третировали как «низший сорт» людей, не имеющих права на уважение, и Батюшков всегда остро ощущал униженность своего положения «сочинителя». Даже генерал Н. Н. Раевский-старший, оставивший впоследствии светлый след в жизни Пушкина, с легким оттенком иронии называл его «господином поэтом» (II, 330). Батюшков с отчаянием писал о «хладнокровии общества», убивающем дарование (II, 22), о том, что имя писателя пока еще «дико для слуха» (II, 247). «Эти условия, проклятые приличности, — жаловался он Гнедичу, — эта суетность, этот холод к дарованию и уму, это *уравнение* сына Фебова с сыном откупщика... это меня бесит» (III, 79). Именно о такой социальной трагедии русских «сочинителей», этих «помещиков ума», как однажды выразился Вяземский, впоследствии ярче всего сказал Грибоедов: «Кто нас уважает, певцов истинно вдохновенных, в том краю, где достоинство ценится в прямом содержании к числу орденов и крепостных рабов?»[1] Возмущаясь пренебрежительным отношением к писателю в обществе, Батюшков утверждал значительность и ценность литературного труда и постоянно боролся за свою личную независимость. В неопубликованной записной книжке он с глубокой убежденностью говорил, что «независимость есть благо», и возмущался людьми, которым «ничего не

---

[1] Письмо к С. Н. Бегичеву от 9 декабря 1826 г. (А. С. Грибоедов. Соч. Л., 1945, стр. 505).

стоит торговать своей свободою».[1] При этом он подчеркивал, что поэт стоит гораздо выше тех, кто играет важную роль в государственной системе самодержавия, и с чувством высокой профессиональной гордости замечал: «Человек, который занимается словесностью, имеет во сто раз более мыслей и воспоминаний, нежели политик, министр, генерал».[2]

В 1814—1817 годах Батюшков принимает деятельное участие в литературной жизни. На организационном заседании литературного общества «Арзамас» (это заседание состоялось 14 октября 1815 года) карамзинисты избирают его членом общества.[3] Арзамасское прозвище Ахилл подчеркивало заслуги Батюшкова в борьбе с литературными «староверами» — шишковистами и свидетельствовало о том, что карамзинисты считали его одной из центральных фигур общества. Д. Н. Блудов утверждал, что еще при основании общества «имя Ахилла загремело в устах арзамасцев и один сей торжественный звук попятил ряды полков враждебных».[4]

Еще в 1810 году Батюшков замышлял напечатать свои произведения отдельным изданием. Теперь он твердо решает это сделать, чтобы подвести итог своей литературной работы. В 1817 году Батюшков с помощью Гнедича издает свое двухтомное собрание сочинений «Опыты в стихах и прозе» (в первый том входили прозаические, во второй — стихотворные произведения). Это единственное вышедшее при жизни поэта издание его сочинений было встречено горячими похвалами критики, справедливо увидевшей в нем выдающееся достижение русской литературы.

Однако публикация «Опытов» не смогла поправить материальное положение поэта. Отсутствие средств к жизни, тяжелое настроение, вызванное страшной действительностью самодержавно-крепостнического государства, явились главной причиной того, что в 1818 году Батюшков уехал на дипломатическую службу в Италию, хотя ему было бесконечно жаль расставаться с родиной. Неопубликованное письмо к Е. Ф. Муравьевой, посланное поэтом из Вены по дороге в Неаполь, показывает, что отъезд из России был для Батюшкова трагедией. «Неизвестность — когда, в какие времена и как возвращусь в отечество — печалила меня более всего, —

---

[1] «Разные замечания». — Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинского дома) АН СССР, фонд Батюшкова. Далее ссылки на этот архив даются сокращенно: ПД.

[2] Там же.

[3] «„Арзамас“ и арзамасские протоколы». Л., 1933, стр. 39.

[4] Там же, стр. 242.

признавался Батюшков. — Не смею сказать, что мыслил на другой и третий день отъезда моего, но дни сии печальнейшие в жизни моей, и я их долго, очень долго помнить буду».[1]

Дипломатическая служба в Италии принесла Батюшкову только одни огорчения. Правда, на чужбине он познакомился и сблизился с русскими художниками, жившими в Италии, в частности с замечательным русским пейзажистом Сильвестром Щедриным. Но и здесь он оказался во власти того же «страшного мира», от которого старался убежать. Как секретарь русской дипломатической миссии в Неаполе, Батюшков используется в качестве простого канцеляриста. «Он, говорят, скучает и глупою работою замучен», — пишет о нем Вяземский А. И. Тургеневу, характерно прибавляя: «Мы все, сколько нас ни есть, — бисер в ногах свиней».[2] Посланник граф Штакельберг грубо третирует и «распекает» поэта, упрекает его в том, что он сочиняет стихи, и однажды даже замечает, что он «не имеет права рассуждать».[3]

Батюшков был отягощен тяжелой наследственностью и обладал хрупкой, нестойкой натурой. Все эти неприятности, по-видимому, ускорили развитие в нем тяжелой душевной болезни, которая сразила поэта в 1821 году. В 1822 году А. Е. Измайлов сообщал И. И. Дмитриеву из Петербурга: «Недавно возвратился сюда из чужих краев К. Н. Батюшков. Он, как говорят, почти помешался и даже не узнает коротко знакомых. Это следствие полученных им по последнему месту неприятностей от начальства. Его упрекали в том, что он писал стихи, и потому считали неспособным к дипломатической службе».[4]

Душевная болезнь вдвое сократила сознательную жизнь Батюшкова. Он потерял рассудок тридцати четырех лет и прожил еще столько же, изредка приходя в себя как бы для того, чтобы констатировать свою гибель. «Меня уже нет на свете», — писал Батюшков, пораженный страшным недугом (III, 583). Поэт умер в Вологде 19 июля (нового стиля) 1855 года от тифа. Вяземский за два года до смерти Батюшкова говорил о судьбе этого «заживо познавшего свой закат» страдальца:

---

[1] Письмо к Е. Ф. Муравьевой от 18/30 декабря 1818 г. (ЦГАЛИ, фонд Батюшкова).

[2] Письмо П. А. Вяземского к А. И. Тургеневу от конца августа 1820 г. («Остафьевский архив», т. 2. СПб., 1899, стр. 53).

[3] Л. Н. Майков. О жизни и сочинениях К. Н. Батюшкова. (К. Н. Батюшков. Соч., т. 1. СПб., 1887, стр. 282).

[4] Письмо А. Е. Измайлова к И. И. Дмитриеву от 6 апреля 1822 г. («Русский архив», 1892, № 3, стр. 240).

Он в мире внутреннем ночных видений
Жил взаперти, как узник средь тюрьмы,
И был он мертв для внешних впечатлений,
И божий мир ему был царством тьмы!

(«Зонненштейн»)

2

Начало литературной биографии Батюшкова ознаменовано его участием в «Вольном обществе словесности, наук и художеств». Явно необоснованным представляется высказывавшееся в дореволюционном литературоведении мнение о том, что участие в «Вольном обществе» не оказало сколько-нибудь заметного влияния на творчество Батюшкова.[1] В действительности традиции русского просвещения, ярко окрасившие деятельность общества, сыграли немалую роль в формировании мировоззрения поэта. В пору своего общения с членами «Вольного общества» Батюшков начинает интересоваться личностью и произведениями Радищева.[2] Когда умер видный последователь Радищева И. П. Пнин, Батюшков посвятил памяти этого наиболее левого идеолога общества стихотворение, где подчеркивалось его гуманное и бескорыстное служение «согражданам».

В кругу поэтов «Вольного общества», переводивших и с увлечением читавших произведения прогрессивных мыслителей,[3] возник глубокий интерес Батюшкова к классикам античной и западноевропейской философии — Эпикуру, Лукрецию, Монтеню, Вольтеру и другим. Батюшков смеется над увещаниями «капуцинов» (так Вольтер иронически называл ханжей) «не читать Мирабо, д'Аламберта и Дидерота» (III, 68). Позднее он тщательно изучает знаменитую поэму Лукреция «О природе вещей», излагающую античное материалистическое мировоззрение, и вносит ряд извлечений из нее в свою записную книжку (II, 350—352). Ему нравятся антикле-

---

[1] См., например, «Критико-биографический словарь» С. А. Венгерова, вып. 22. СПб., 1890, стр. 245.

[2] Следы знакомства со стихами Радищева заметны в его послании «К Филисе». В 1817 г. Батюшков собирался написать особую статью «о сочинении Радищева», т. е. о «Путешествии из Петербурга в Москву» (см. Соч., т. II, стр. 288).

[3] См. об этом: Вл. Орлов. История Вольного общества любителей словесности, наук и художеств («Поэты-радищевцы».. Л., 1935, стр. 102—106 и др.).

рикальные произведения Вольтера; из ранних стихов поэта мы узнаем, что в его комнате «Вольтер лежит на Библии» (послание «К Филисе»).

Батюшков был твердо убежден, что Россия «без просвещения не может быть ни долго славна, ни долго счастлива», так как «счастье и слава не в варварстве, вопреки некоторым слепым умам» (III, 779—780). Он в своих письмах уничтожающе оценивал косные верхи самодержавно-крепостнического государства, зло осмеивая «нынешних господчиков», «златых болванов», «вельможей», «обер-секретарей и откупщиков». Как показывают новые материалы, Батюшков помышлял об отмене цензуры. «Я думаю, что свободы книгопечатания ограничивать никак не должно, особливо в наше время», — замечал он в неопубликованной записной книжке.[1]

Однако следует сказать, что просветительскую традицию Батюшков воспринял неполно. Характерно, что признание высокой ценности свободы личности, ее права на земные радости и наслаждения, отрицание религиозно-аскетической морали — все эти черты мировоззрения Батюшкова, роднящие его с просветительской идеологией, уже не содержали в себе веры в социальное освобождение. Остро ощущавший бесчеловечную природу современного ему общественного устройства, Батюшков редко касался в своем творчестве социальных проблем, большей частью погружаясь в мир частной, домашней жизни уединившегося от людей человека. Примечательно, что ранние произведения поэта еще содержат в себе сатирические мотивы (послание «К Хлое», послание «К Филисе», особенно перевод первой сатиры Буало, в который были внесены черты русской жизни), но вскоре, после отхода от кругов «Вольного общества» Батюшков начинает разрабатывать почти исключительно интимно-психологические темы, среди которых лишь временами проскальзывают социальные мотивы. Внушительно зазвучали эти мотивы в тех строках «Моих пенатов», которые Пушкин впоследствии назвал «сильными стихами»:[2]

Отеческие боги!
Да к хижине моей
Не сыщет ввек дороги

---

[1] «Разные замечания» (ПД).

[2] «Заметки на полях «Опытов в стихах и прозе» К. Н. Батюшкова». — Пушкин. Полн. собр. соч., т. 12, стр. 273. Далее все цитаты из сочинений Пушкина приводятся по этому изданию (тт. 1—16. М.—Л., 1937—1949).

Богатство с суетой,
С наемною душой
Развратные счастливцы,
Придворные друзья
И бледны горделивцы,
Надутые князья.

Именно в противовес таким фигурам Батюшков в первый период своего творчества (1802—1812) рисует образ честного и независимого поэта, жизненная позиция которого враждебна нормам официальной морали, взглядам, господствовавшим в верхах самодержавно-крепостнического государства. Представить себе и сконструировать этот образ Батюшкову помогает «мечта», живая творческая фантазия. Она служит «щитом» от «злой печали» и создает для своего «любимца» поэта «в мире дивный мир». В этот мир Батюшков переносил свои лучшие гуманистические идеалы, неосуществимые в условиях его эпохи (недаром в течение многих лет он работал над стихотворением «Мечта»).

Стремление Батюшкова «мечтать», в целом не характерное для писателей классицизма, чье мировоззрение вырастало на строго рационалистической основе, во многом определило его симпатии к карамзинской школе, провозгласившей примат чувства над разумом и сделавшей «жизнь сердца» основным содержанием поэтического творчества. Тяготение к новой литературной школе было подготовлено влиянием на Батюшкова талантливого предшественника сентиментализма М. Н. Муравьева. А в 1809—1810 годах он сближается с Н. М. Карамзиным, В. А. Жуковским и П. А. Вяземским. Ставши деятельным участником литературной партии карамзинистов, Батюшков начинает выражать ее эстетические и литературные взгляды, полярно противоположные принципам и теориям, на которых строился классицизм.

Школа карамзинистов отстранялась от общественных тем, занимавших центральное место в литературе классицизма; это являлось ее идейной слабостью. Но карамзинисты тонко рисовали психологический мир человека, они выработали большую и новую культуру слова, в чем и заключались их художественные завоевания. Всю свою эстетику Батюшков подчиняет требованию верного выражения внутреннего мира личности, провозглашенному Карамзиным, Батюшков требует от писателя прежде всего «истины в чувствах» (II, 241), точного воплощения своей психологической жизни. Обращаясь к поэту, он учит его именно этой правде чув-

ства: «Живи как пишешь, и пиши как живешь... Иначе все отголоски лиры твоей будут фальшивы» (II, 120). Стремясь к такой правде, Батюшков, как и вся карамзинская школа, порывает с нормативностью классицизма и по существу настаивает на отходе от стеснительной системы правил, заменяя ее понятием «вкуса», основанного исключительно на непосредственном эстетическом чувстве, не подчиняющемся строгим законам разума. «Вкус не есть закон, — утверждает Батюшков, — ибо он не имеет никакого основания, ибо основан на чувстве изящного...» [1]

Считая, что «чувство умнее ума», [2] Батюшков высоко оценивает тех писателей, которые следовали этому принципу, выразили в своем творчестве внутренний мир личности и были связаны с карамзинизмом или являлись его предшественниками. Из числа предшественников Н. М. Карамзина он особенно выделяет автора «Душеньки» И. Ф. Богдановича, подчеркивая, что его поэма ознаменована «истинным и великим талантом» (II, 241), и М. Н. Муравьева, в лирике которого «изображается, как в зеркале, прекрасная душа». [3] Батюшков хвалит стихи самого Н. М. Карамзина, «исполненные чувства» (II, 242), определяя его как «единственного писателя, которым может похвалиться и гордиться наше отечество» (III, 217), отмечает «красивость и точность» языка произведений И. И. Дмитриева (II, 337) и называет Ю. А. Нелединского-Мелецкого «Анакреоном нашего времени» (III, 128).

К «блестящим» образцам русской лирики Батюшков относит «горацианские оды» В. В. Капниста (II, 242), влившиеся в общий поток карамзинистской поэзии; при этом он отводит Капнисту виднейшее место среди мастеров русского стихотворного языка: «Кто хочет писать, чтоб быть читанным, — указывает он Гнедичу, — тот пиши внятно, как Капнист, вернейший образец в слоге...» (III, 47).

Но самые сильные художественные симпатии Батюшков испытывает к своим соратникам, «младшим» карамзинистам. Он одобряет раннюю лирику Вяземского и называет музу последнего «живой и остроумной девчонкой» (III, 468). И лучшим «новым» русским поэтом своего времени Батюшков считает Жуковского. «Он у нас великан посреди пигмеев», — пишет Батюшков Гнедичу,

---

[1] «Разные замечания» (ПД).
[2] Там же.
[3] «Речь о влиянии легкой поэзии на язык» (Сочинения К. Н. Батюшкова, под ред. Д. Д. Благого. М.—Л., 1934, стр. 365).

тут же называя Жуковского «талантом редким в Европе» (III, 416).[1]

Литература русского классицизма была в основном посвящена проблемам государственного значения. Однако уже в ней возникает интимная лирика. Частная жизнь человека раскрывалась в анакреонтических стихах Кантемира и Ломоносова, в элегиях и любовных песнях Сумарокова и в особенности в анакреонтике позднего Державина, в творчестве которого сосуществовали два полярно противоположных образа: «полезного» государственного деятеля и отказавшегося от славы и чинов эпикурейца (см. стихотворный диалог Державина: «Философы пьяный и трезвый»). Но если создатели русского классицизма не смогли создать новый, более совершенный и тонкий метод изображения внутреннего мира человека, то все же их интимная лирика предвосхитила в известной мере поэзию Карамзина и Дмитриева, которые в историко-литературном плане явились предромантиками, давшими новое, хотя и довольно поверхностное изображение внутренней жизни личности. Этим, в частности, следует объяснить сочувственные высказывания Батюшкова о крупных поэтах русского классицизма, историческое значение которых было для него несомненным. Так, он с почтением говорил об А. Д. Кантемире, которому посвятил содержательный очерк «Вечер у Кантемира» (1816), М. В. Ломоносове (его он, по свидетельству современников, особенно любил и уважал) и о А. П. Сумарокове, в котором он видел смелого литературного полемиста, смеявшегося над «глупостью писателей» (III, 59).

Очень сложным было отношение Батюшкова к Г. Р. Державину, творчество которого явилось вершиной русского классицизма и вместе с тем знаменовало собой его распад и выход русской поэзии на новые пути. Батюшков и Державин были во враждебных литературных лагерях. Державин был «более всех взбешен» антишишковистским произведением Батюшкова «Видение на берегах Леты»,[2] а для Батюшкова, в свою очередь, была совершенно неприемлема литературная позиция Державина, входившего в «Беседу любителей русского слова». Имея в виду эту позицию

---

[1] Еще показательнее чисто карамзинистская оценка Жуковского, данная в письме Батюшкова от 1812 г. к Вяземскому: «Редкая душа! редкое дарование! душа и дарование, которому цену, кроме меня, тебя и Блудова, вряд ли кто знает. Мы должны гордиться Жуковским. Он наш, мы его понимаем». (См. это письмо, опубликованное мной в «Известиях Академии наук СССР», отделение языка и литературы, 1955, т. 14, вып. 4, стр. 370).

[2] Письмо Н. И. Гнедича к Батюшкову от февраля 1810 г. (ПД).

и конфликт, произошедший в 1811 году между Гнедичем и Державиным, Батюшков писал: «Он истинный гений и... не смею сказать — враль!» (III, 112; «вралями» Батюшков часто называл членов «Беседы»). Но поздняя литературная позиция Державина отнюдь не заслоняла для Батюшкова огромной объективной ценности его творчества. Преклоняясь перед этим творчеством, Батюшков считал Державина «божественным стихотворцем» (III, 153). Батюшков больше всего ценил искусство Державина создавать яркие живописные образы. Однажды он затрепетал при чтении державинского описания потемкинского праздника. Он с такой необычайной ясностью увидел перед собой нарисованную Державиным картину, что, потрясенный, «вне себя побежал к сестре». «Ничем, никогда я так поражен не был!» — восклицал Батюшков, сообщая об этом случае Гнедичу (III, 53).

Деятельность же эпигонов классицизма раздражала и возмущала Батюшкова, и он стал одним из самых ревностных участников борьбы карамзинистов против шишковистов — политических и литературных консерваторов, безуспешно пытавшихся возродить архаические традиции высокой поэзии XVIII века. Эта борьба «новой школы» против лагеря «староверов» играла несомненно прогрессивную историко-литературную роль. По словам Белинского, в лице шишковистов «казалось, вновь восстала русская упорная старина, которая с таким судорожным и тем более бесплодным напряжением отстаивала себя от реформы Петра Великого». [1]

Батюшков резко и ядовито нападает на литературных «староверов» — С. А. Ширинского-Шихматова, А. А. Шаховского, Д. И. Хвостова и самого А. С. Шишкова. Он решительно осуждает стихи Шишкова, которые «ниже всего посредственного», его прозу, где «нет ни мыслей, ни ума» (III, 121, 127), его литературно-критические взгляды, так как он восхищается «мертвыми, потому что они умерли, да живыми — мертвыми», наконец, его лингвистические теории. Как бы подводя итог литературной деятельности Шишкова, Батюшков восклицает: «Что он написал хорошего? Хотя б одну страницу» (III, 142). [2]

---

[1] «Взгляд на русскую литературу 1847 года» (Белинский, т. 10, стр. 288).

[2] В конце 1810-х годов отношение Батюшкова к Шишкову, по-видимому, несколько изменилось. В плане курса русской словесности, относящемся к 1817 г., Батюшков писал о Шишкове: «Он прав, он виноват» («Чужое — мое сокровище». — Соч., т. 2, стр. 338).

Батюшков порицает темное мистическое содержание творчества шишковистов, их претензию на истинный патриотизм и в особенности их стиль, знаменовавший собой вырождение традиций классицизма. Он пародийно снижает высокие жанры XVIII века, которые старались воскресить шишковисты, — оду, героическую поэму, трагедию (см. его эпиграммы «Совет эпическому стихотворцу» и «На поэмы Петру Великому»), с негодованием обрушивается на архаический язык эпигонов классицизма. «Варвары, они исказили язык наш славенщизною!» — восклицает поэт (III, 409).

Во всей русской литературе начала XIX века не было более сильных антишишковистских памфлетов, чем сатирические произведения Батюшкова. В своем литературно-полемическом творчестве Батюшков обращался к эпиграмме и к сравнительно редким в его время жанрам пародийного хора и небольшой сатирической поэмы. В разработке последнего жанра он использовал характерные для сатиры XVIII века формы разговора в царстве мертвых и приемы ирои-комической поэмы, наполнив их боевым литературным содержанием. В «Видении на берегах Леты» (1809) он заставил крупных поэтов классицизма безжалостно осудить своих бездарных эпигонов, и прежде всего Шишкова. Правда, поэт в конце концов спас его от вод Леты, но это не спасло Шишкова от язвительной насмешки Батюшкова. В «Видении» поэт зло осмеял мистико-архаические литературные позиции Шишкова и даже изобрел для его характеристики новое слово «славенофил», сыгравшее впоследствии такую большую роль в истории русской общественной мысли.

Осмеяние творчества шишковистов стало еще более беспощадным в другом сатирическом произведении Батюшкова — «Певец в Беседе любителей русского слова» (1813), — написанном через два года после того, как возникло это идейно-литературное объединение. «Ты себе вообразить не можешь того, что делается в «Беседе»! Какое невежество, какое бесстыдство!» — сообщал Батюшков Вяземскому (III, 217). Именно это бесстыдство, связанное с невероятным самохвальством, Батюшков осмеял в «Певце», где он, по собственному выражению, хотел вывести «славян» «на живую воду» (III, 217). «Загримировав» членов «Беседы» под героев знаменитого стихотворения Жуковского «Певец во стане русских воинов», Батюшков достиг замечательного комического эффекта, позволившего ему нанести чувствительный удар своим литературным противникам.

Свои самые яркие литературно-полемические произведения Ба-

тюшков не решился напечатать, но они широко распространялись в списках. В неопубликованном письме к Батюшкову Гнедич писал о «Видении»: «Стихи твои читают наизусть; можешь судить, нравятся ли они». Из этого же письма мы узнаем, что «Видение» рассмешило Крылова, слушавшего его в доме А. Н. Оленина: «Каков был сюрприз Крылову ... он сидел истинно в образе мертвого; и вдруг потряслось все его здание; у него слезы были на глазах...»[1] Позднее Пушкин, не считавший Батюшкова сатириком по призванию, все же отметил, что его «Видение» «умно и смешно».[2] А еще позднее Добролюбов высоко оценил литературно-полемическую сатиру Батюшкова. Указывая на то, что Батюшков выступал против «почтенной семьи авторитетов»,[3] он с радостью встретил опубликование «Певца» в «Современнике». По этому поводу он писал: «В последнее время и библиография переменила свой характер: она обратила свое внимание на явления, важные почему-нибудь в истории литературы...»[4]

Следует отметить, что художественные искания Батюшкова в ряде существенных моментов расходились с позицией его ближайшего друга Гнедича, в частности он не разделял убеждения Гнедича в том, что искусство должно быть посвящено преимущественно «высоким» предметам,[5] и оживленно полемизировал с ним по проблемам стихотворного языка. Так, Батюшкову не нравилось обилие славянизмов в гнедичевском переводе «Илиады». «Я нашел... много словенских слов, которые вовсе не у места... — писал он Гнедичу. — Берегись одного: словенского языка» (III, 141).

При всем том Батюшков занимал особое место в карамзинизме. Прежде всего он был непримиримым врагом слащавой и слезливой сентиментальности и в «Видении на берегах Леты» осмеял ее в эпигонской лирике «вздыхателя» П. И. Шаликова, которую считал еще более отрицательным явлением, чем поэзия шишковистов. «Храни тебя бог от Академии, а еще более от Шаликова», — замечал Батюшков.[6] Более того, в своих письмах Батюшков как

---

[1] Письмо Н. И. Гнедича к Батюшкову от 6 декабря 1809 г. (ПД).

[2] «Заметки на полях «Опытов в стихах и прозе» К. Н. Батюшкова» (Пушкин, т. 12, стр. 276).

[3] «„Литературные деятели прежнего времени“ Е. Колбасина» (Н. А. Добролюбов. Полн. собр. соч., т. 2. М.—Л., 1935, стр. 539).

[4] «Сочинения Пушкина» (там же, т. 1. М.—Л., 1934, стр. 313).

[5] См. об этом в примечании к стихотворению «Сон воинов».

[6] «Разные замечания» (ПД).

бы снимает манерный лирический грим с личности самого Карамзина (он, по словам Батюшкова, «не пастушок, а взрослый малый, худой, бледный как тень». — III, 78), пародирует пасторальную декоративность его любовной лирики и сентиментальную фразеологию его прозы (например, восклицает: «Накинем занавес целомудрия на сии сладостные сцены, как говорит Николай Михайлович Карамзин в „Наталье"». — III, 40).[1] В «Видении на берегах Леты» Батюшков просто не решился «замахнуться» на многие слезливые произведения Карамзина, хотя, вероятно, считал их достойными забвения. Комментируя «Видение» в письме к Гнедичу, он замечал: «Карамзина топить не смею, ибо его почитаю» (III, 61). От Карамзина и Жуковского Батюшкова до 1812 года отделяла также его неприязнь к мистике. Живая полемика с воплощенной в литературные формы мистикой ясно ощущается в творчестве Батюшкова. Он иронически отзывается о тех писателях, «которые проводят целые ночи на гробах и бедное человечество пугают привидениями, духами, страшным судом» (II, 22). Исключительно высоко оценивая поэзию Жуковского за ее виртуозное мастерство в передаче интимной жизни сердца, Батюшков вместе с тем остро пародирует мистические мотивы его стихотворной повести «Двенадцать спящих дев» (см. ниже), предвосхищая демонстративное снижение этих же мотивов в «Руслане и Людмиле» Пушкина. Вообще Батюшков считал, что «Светлана» Жуковского «во сто раз лучше его „Дев"» (III, 194).

Совершенно безоговорочным признанием из современных писателей пользовался у Батюшкова один Крылов, басни которого были любимым чтением поэта, подчеркивавшего, что их «остроумные, счастливые стихи превратились в пословицы» (II, 241—242). В конце «Видения на берегах Леты», сочиненного Батюшковым как раз после выхода в свет первого отдельного издания басен Крылова, именно этот великий русский писатель оказывается по-настоящему спасенным от забвения.[2] Высокое уважение к Крылову Батюшков сохранил на всю жизнь. В 1816 году он писал Гнедичу, быть может вспоминая заключительный эпизод своего «Видения»: «По-

---

[1] Имеется в виду повесть Карамзина «Наталья — боярская дочь».

[2] Особенно высоко ставил Батюшков патриотические басни Крылова, посвященные Отечественной войне 1812 года. В письме от 30 октября 1813 г. из Веймара он просил Н. И. Гнедича: «Скажи Крылову, что ему стыдно лениться: и в армии его басни все читают наизусть. Я часто их слышал на биваках с новым удовольствием» (Соч., т. III, стр. 242).

клонись от меня бессмертному Крылову, бессмертному — конечно, так! Его басни переживут века!» (III, 391).

Весь этот мир общественных и литературных симпатий и антипатий Батюшкова стал подпочвой его поэтического творчества, отличавшегося большой сложностью, вобравшего самые разнообразные влияния и в то же время представлявшего собой оригинальное, новаторское художественное явление.

3

Сам Батюшков отмечал, что «пылкость» и «беспечность» составляли его характер «в первом периоде молодости» (II, 191). В самом деле, человек в лирике Батюшкова первого периода страстно любит земную жизнь. Оценивая «Мои пенаты», Пушкин писал, что это послание «дышит каким-то упоеньем роскоши, юности и наслаждения».[1] «Довоенный» Батюшков был прежде всего поэтом радости. Ее прославление звучит у него более заразительно и полнокровно, чем у какого-либо другого русского поэта. При этом жизнелюбие Батюшкова нередко выражается в форме «совета друзьям» — прямого активного обращения к дружеской аудитории:

Отгоните призрак славы!
Для веселья и забавы
Сейте розы на пути;
Скажем юности: лети!
Жизнью дай лишь насладиться,
Полной чашей радость пить...

(«Веселый час») [2]

Тема радости и наслаждения, как мы видим, сливается у Батюшкова с темой дружбы. Это чувство было для Батюшкова, как и для многих просвещенных дворянских интеллигентов первых десятилетий XIX века и более ранних периодов, утешением в остро ощущаемом разладе со «светом». «Я знаю цену твоей дружбе, которая есть и будет единственным утешением в жизни, исполненной горести», — пишет Батюшков Гнедичу (III, 109). Тема дружбы была разработана поэтами, связанными с сентиментализмом, — Карамзиным, Дмитриевым, Жуковским и другими. Но

---

[1] «Заметки на полях «Опытов в стихах и прозе» (Пушкин, т. 12, стр. 274).

[2] Первая редакция стихотворения называлась «Совет друзьям».

только Батюшков органически соединяет эту тему с эпикурейскими мотивами наслаждения жизнью. А главное, он дает ей такое яркое выражение, какого не было до него в русской поэзии. Мотив силы дружбы становится основным во многих стихотворениях Батюшкова, например в его элегии «Тень друга», посвященной поэтом своему товарищу И. А. Петину, павшему в «битве народов» под Лейпцигом (эта элегия была написана после 1812 года, но по существу примыкает к первому периоду творчества Батюшкова). Неотразимое впечатление производит здесь экспрессивная передача искреннего чувства привязанности к погибшему товарищу. Поэт хочет услышать голос этого «вечно милого» воина и продлить миг свидания с его тенью:

О! молви слово мне! Пускай знакомый звук
Еще мой жадный слух ласкает,
Пускай рука моя, о незабвенный друг!
Твою с любовию сжимает...

Еще важнее в лирике Батюшкова тема любви. Разработка этой темы Батюшковым стала новым словом в русской литературе, ее выдающимся художественным завоеванием. Поэзия любви, созданная Батюшковым, яснее всего демонстрирует его отказ от морализма и манерности сентиментализма. Изображение любовных переживаний в творчестве Батюшкова должно было поражать своей сложностью и тонкостью русского читателя начала XIX века, воспитанного на однообразии сентиментальной лирики. Трактовка человеческих страстей у сентименталистов была весьма половинчатой и компромиссной, так как они выдвигали требование умеренности, исключавшее свободное развитие сильного «беззаконного» чувства. Батюшков рисует любовь как страсть, захватывающую всего человека, подчиняющую себе все его эмоции. Основная особенность батюшковской элегии «Выздоровление», предвосхищающей шедевры лирики Пушкина, — полная и самозабвенная погруженность поэта в свое чувство. Обращаясь к любимой женщине, он как бы отдает ей все силы своего духа:

Ты снова жизнь даешь; она твой дар благой,
Тобой дышать до гроба стану.
Мне сладок будет час и муки роковой:
Я от любви теперь увяну.

Подчас любовная лирика Батюшкова подлинно драматична. Но в первом периоде творчества поэт чаще всего включает тему

любви, как и тему дружбы, в философию наслаждения жизнью. «Страстность составляет душу поэзии Батюшкова, — писал Белинский, — а страстное упоение любви — ее пафос».[1] В то время как герои Жуковского обычно живут бесплотной, платонической любовью и рассчитывают лишь на соединение «за гробом», Батюшков видит в любви источник земных радостей и вместе с тем в высшей степени одухотворенное чувство. Физические и духовные наслаждения органически сливаются в любовной лирике поэта:

Ах! обнимемся руками,
Съединим уста с устами,
Души в пламени сольем,
То воскреснем, то умрем!..

(*«Веселый час»*)

В лирике Жуковского мы почти не находим изображения внешнего облика возлюбленной, напротив, Батюшков хочет воспроизвести красоту и привлекательность своих героинь, пленительность их обаяния и рисует портрет прекрасной женщины:

Я помню очи голубые,
Я помню локоны златые
Небрежно вьющихся власов.

(*«Мой гений»*)

Батюшков и Жуковский принадлежали к одному литературному лагерю, и оба создавали тонкую и сложную психологическую лирику. Но батюшковская трактовка темы любви была неприемлема для Жуковского, последовательно лишавшего любовь ее «земного» начала. Не случайно Жуковский, в значительной мере унаследовавший карамзинскую моралистичность, вступил в резкую, хотя и дружескую полемику с Батюшковым по поводу трактовки темы любви в адресованном ему послании «Мои пенаты». В целом ряде мест своего ответного послания Жуковский в противовес Батюшкову выдвигает собственную трактовку этой темы, отмеченную нравоучительным мистицизмом, и рисует свой идеал загробной любви:

Всечасно улетаешь
Душою к тем краям,
Где ангел твой прелестный;

[1] «Сочинения Александра Пушкина» (Белинский, т. 7, стр. 231).

Твое блаженство там,
За синевой небесной,
В туманной сей дали...

(«К Батюшкову»)

Главные темы лирики Батюшкова первого периода утверждали жизнь в ее ярких проявлениях. Однако с ними нередко переплетается тема смерти. Это противоречивое сочетание объяснялось тем, что философия индивидуального наслаждения была иллюзорной, она не могла заслонить от Батюшкова трагические противоречия жизни. Поэт рано или поздно должен был неизбежно прийти к мысли об эфемерности земных радостей, о грозном и неотразимом призраке смерти. Контраст между радостями и смертью резко проступает в знаменитой батюшковской «Надписи на гробе пастушки», использованной Чайковским в «Пиковой даме» (романс Полины). Она редко привлекала внимание, так как сначала была включена в тот раздел «Опытов», куда вошли довольно слабые эпиграммы и надписи, а потом стала «привычной» частью либретто любимой оперы. А между тем это стихотворение как бы подводит итог судьбы героев лирики Батюшкова:

Любовь в мечтах златых мне счастие сулила;
Но что ж досталось мне в сих радостных местах? —
Могила!

Но чаще всего тема смерти в лирике Батюшкова первого периода приобретает оптимистический и, как ни странно, даже мажорный колорит. Если Державин видит перед собой ужасный, ничем не завуалированный образ смерти, а Карамзин и Жуковский облекают его мистическим туманом, то Батюшков, и рассуждая о «мгновенности» жизни, сохраняет спокойствие и ясность духа. Временами он рисует смерть как гармонический переход в античный Элизий, где будут звучать прежние «гимны радости». Эта картина поражает своим исключительным художественным блеском в стихотворении Батюшкова, где поэт вместе с возлюбленной попадает в загробный языческий мир:

В тот Элизий, где всё тает
Чувством неги и любви,
Где любовник воскресает
С новым пламенем в крови,
Где, любуясь пляской граций,

Нимф, сплетенных в хоровод,
С Делией своей Гораций
Гимны радости поет.

(«Элизий»)

Особенно замечательно описание смерти «молодых счастливцев» в «Моих пенатах» Батюшкова. Поэт призывает «не сетовать» о них и усыпать «мирный прах» цветами. При этом Батюшков сознательно заостряет свое описание против тех страшных картин погребения, которые часто возникали в поэзии Жуковского:

К чему сии куренья,
И *колокола вой,*
И томны псалмопенья
Над хладною доской?

Это была явная творческая полемика с Жуковским; в его стихотворной повести «Двенадцать спящих дев» есть такие строки, посвященные описанию похоронного обряда:

Но вот — уж гроб одет парчой;
Отверзлася могила;
И слышен *колокола вой;*
И теплются кадила...[1]

С кругом эпикурейских и любовных тем и мотивов лирики Батюшкова по большей части связаны его переводы, осуществленные до 1812 года. В этот период своего творчества Батюшков переводит античных, итальянских и французских поэтов. Его привлекают те образы искусства других народов, которые гармонируют с его мировоззрением и художественными задачами, выросшими из органического развития русской литературы: это мир античной древности, культура итальянского Возрождения и изящная эротическая поэзия, созданная талантливыми французскими поэтами конца XVIII — начала XIX века. В античной литературе Батюшкова в наибольшей степени привлекает лирика Тибулла,

---

[1] Подчеркнуто везде нами. Аналогичные мотивы из «Двенадцати спящих дев» Батюшков перевел в иронически-пародийный план и в послании «К Жуковскому» (см. примечание к этому посланию).

в котором он видит поэта любви, «сладостных мечтаний» и личной независимости (II, 122; III, 136). В итальянской литературе его восхищает гармоничность языка Петрарки — Батюшков рассказывал Гнедичу о том, как он «наслаждался музыкальными звуками» языка Петрарки, «из уст которого что слово, то блаженство» (III, 165), — творческая разносторонность Ариосто, умевшего «соединять эпический тон с шутливым, забавное с важным, легкое с глубокомысленным, тени со светом» (III, 170), и величественная монументальность поэмы Тассо «Освобожденный Иерусалим» — сокровища мирового искусства: «чем более читаешь, тем более новых красот», — говорил об этой поэме Батюшков (III, 44). Во французской литературе его живые симпатии вызывают любовная лирика и оссиановская героика Парни: он настойчиво подчеркивает, что последний «признан лучшим писателем в роде легком», а такой «род сочинений весьма труден» (III, 113).

Переводы Батюшкова — это почти всегда вольные переводы, в которых он обнаруживает творческую самостоятельность и замечательное мастерство. Обсуждая вопрос о том, как надо переводить Ариосто, поэт иронически утверждал, что «один только Шишков в состоянии переводить слово в слово, строка в строку» (III, 171).

Батюшкова-переводчика больше всего интересовали произведения, посвященные любви. При этом он часто старается усилить конкретными штрихами звучание любовной темы в выбранных им для перевода оригиналах. Переводя Тибулла, он самостоятельно создает портрет возлюбленной поэта.[1] Переводя XVIII песню «Освобожденного Иерусалима», он наделяет Армиду более определенными, чем у Тассо, чертами страстной любовницы. Широко развивая собственные мотивы, Батюшков-переводчик часто совершенно видоизменяет оригинал. А иногда ему удается создать произведения, стоящие на большей художественной высоте, чем подлинники. Пушкин, просматривая «Опыты», нашел, что батюшковская «Вакханка», тематически связанная с «Переодеваниями Венеры» Парни, «лучше подлинника, живее».[2]

В кругу эпикурейских и любовных образов поэзии Батюшкова наиболее рельефно выразился ее художественный метод и ее стиль, выработанный в основном до Отечественной войны 1812 года.

---

[1] См. примечание к «Элегии из Тибулла».

[2] «Заметки на полях «Опытов в стихах и прозе» К. Н. Батюшкова» (Пушкин, т. 12, стр. 277).

4

Батюшков сформировался как поэт в первом десятилетии XIX века, то есть в те годы, которые явились кризисным периодом разложения феодально-крепостнического хозяйства и развития в его недрах новых, прогрессивных для того времени буржуазных отношений. Эта кризисность резко проявилась и в литературной жизни первого десятилетия XIX века. В эту переходную эпоху умирает классицизм с его идеями и эстетическими формами, характерными для расцвета дворянской империи, и образуются новые литературные течения, в конечном счете связанные с процессом прогрессивного исторического развития и в той или иной степени предваряющие романтизм — то мощное художественное направление, которое сложилось и было теоретически обосновано в начале 20-х годов XIX века. Именно сравнивая лирику Батюшкова с классицизмом и романтизмом и, так сказать, «отсчитывая» ее от них, критики и исследователи закономерно старались определить, к какому направлению можно отнести этого крупного поэта.

П. А. Плетнев первый определил Батюшкова как представителя «новейшей классической школы».[1] Иную, гораздо более верную точку зрения на стиль Батюшкова развил Белинский. Он тоже иногда характеризовал Батюшкова как «классика»,[2] но не забывал отмечать в его творчестве и романтические элементы. Все же основная часть высказываний Белинского о Батюшкове связывает его с романтизмом. В ряде произведений Батюшкова Белинский видит воплощение «греческого романтизма». Разбирая одно из антологических стихотворений поэта, он пишет: «В этой пьеске схвачена вся сущность романтизма по греческому воззрению».[3] А в элегиях Батюшкова Белинский усматривает романтизм «нового времени» («И как хорош романтизм Батюшкова: в нем столько определенности и ясности!» — говорит он о них[4]).

Современники Батюшкова, в том числе и Пушкин, относили его вместе с Жуковским к «новой школе», сделавшей значитель-

---

[1] См. отрывок из «Общей характеристики русских поэтов» П. А. Плетнева, напечатанный в «Учебной книге российской словесности» Н. Греча, ч. 4. СПб., 1822, стр. 579—586.

[2] «Сочинения Александра Пушкина» (Белинский, т. 7, стр. 224) и «Русская литература в 1844 году» (Белинский, т. 8, стр. 433).

[3] «Сочинения Александра Пушкина» (Белинский, т. 7, стр. 149).

[4] Там же, стр. 237.

ный шаг вперед в развитии русской поэзии. Так, А. А. Бестужев-Марлинский писал: «С Жуковского и Батюшкова начинается новая школа нашей поэзии».[1] Современники не ошибались и не могли ошибиться в этом вопросе. Батюшков был прежде всего новатором, и его творчество должно рассматриваться как переходное предромантическое явление, подготовившее пушкинский романтизм 20-х годов.

Действительно, основные черты поэзии Батюшкова определяются новыми романтическими тенденциями. Уже к этой поэзии применимы слова Белинского: «В теснейшем и существеннейшем своем значении романтизм есть не что иное, как внутренний мир души человека, сокровенная жизнь его сердца».[2] Батюшков выдвигает на первый план проблему изображения внутреннего мира человека, которая являлась самым слабым местом русского классицизма и была решена лишь романтиками. В этом отношении Батюшков сходится с Жуковским. Однако он решительно отличается от него своей жизнелюбивой, чуждой мистике философией. Именно предромантик Батюшков, а не романтик Жуковский, широко развивший мистико-идеалистические тенденции поэзии Карамзина, в наибольшей степени подготовил лицейскую лирику Пушкина, которая по существу и по своему положению в творчестве великого поэта была также предромантической, и романтизм его южных поэм, где тончайшее изображение внутренней жизни личности сочеталось с конкретностью бытовых описаний.

В поэзии Батюшкова есть черты, связывающие ее с классицизмом: четкость художественных форм, обилие мифологических образов, ориентация на античность. Но все это используется Батюшковым в иной художественной функции и служит у него той же задаче изображения внутреннего мира. В соответствии со своей эстетикой, обосновывающей необходимость верной и изящной обрисовки интимно-психологической жизни человека, Батюшков ценит в античном искусстве «отголосок глубоких познаний природы, страстей и человеческого сердца» (II, 103). Характерен его выбор античных авторов. В «Речи о влиянии легкой поэзии на язык» он перечисляет имена близких ему по духу древних лириков, обращавшихся к любовной и анакреонтической тематике: Анакреона, Сафо, Катулла и других. Батюшков переводит Ти-

---

[1] «Взгляд на старую и новую словесность в России» («Полярная звезда на 1823 год». СПб., 1823, стр. 21).

[2] «Сочинения Александра Пушкина» (Белинский, т. 7, стр. 145).

булла, которого Белинский как раз в связи с этими переводами назвал «латинским романтиком»,[1] — поэта, в основном изображавшего личную жизнь человека. Не менее характерно и то, что в «Речи о влиянии легкой поэзии на язык», которую можно по справедливости считать своеобразным эстетическим манифестом русского предромантизма, Батюшков выдвигал на видное место именно «личностные» элементы русского классицизма (любовные и анакреонтические стихи Ломоносова, Сумарокова и Державина) интимно-психологическую лирику сентименталистов, а также романтическую поэзию Жуковского.[2]

Романтики строили образ нации по типу отдельной личности: каждый народ в их представлении обладал особыми неповторимыми чертами. И в этом отношении Батюшков был предшественником романтиков. Он превосходно ощущает и старается подчеркнуть национальное своеобразие искусства разных народов. В его статье «Нечто о поэте и поэзии» утверждается, что «климат, вид неба, воды и земли, все действует на душу поэта, отверстую для впечатлений» (II, 124—125). Та же мысль проведена в «Послании И. М. Муравьеву-Апостолу». Батюшков близко подходит и к романтическому «конкретному» пониманию античности. В своей сатирической сказке «Странствователь и домосед» он стремится показать индивидуальное лицо античной культуры и рисует быт древних Афин, используя известную книгу французского археолога Бартелеми «Путешествие младшего Анахарсиса по Греции».[3] В этом плане Батюшков предвосхитил эстетические теории некоторых вольнолюбивых романтиков, в частности П. А. Вяземского, видевшего «главное существеннейшее достоинство» древних авторов в «отпечатке народности, местности», лежащем на их произведениях.[4]

В своей лирике Батюшков чаще всего разрабатывал два жанра, прекрасно подходившие для изображения мира личности, — дружеское послание и элегию. При этом романтические тенденции заставляют Батюшкова в значительной мере порвать с нормативностью

---

[1] «Сочинения Александра Пушкина» (Белинский, т. 7, стр. 228).

[2] Показательно, что романтические тенденции привлекали симпатии Батюшкова и в живописи. В очерке «Прогулка в Академию художеств» Батюшков, по существу, отвергает академический классицизм и очень хвалебно отзывается о знаменитом портретисте О. А. Кипренском, внесшем в свое творчество романтические мотивы.

[3] См. примечание к «Странствователю и домоседу».

[4] «Вместо предисловия к „Бахчисарайскому фонтану"...» (П. А. Вяземский. Полн. собр. соч., т. 1. СПб., 1878, стр. 169).

классицистической системы жанров. Батюшков значительно расширяет область элегии. Драматизируя этот жанр и, как правило, лишая его эмоциональную окраску заданной еще Сумароковым «плачевности»,[1] он воплощает в нем богатство психологической жизни человека. Некоторые элегии Батюшкова становятся не грустными, а напротив, мажорными и жизнеутверждающими (см. хотя бы элегии «Выздоровление» и «Мой гений»). Отдавая дань классицистической традиции, Батюшков еще разделяет свою лирику по жанрам, но в его творческом сознании грани между ними уже начинают стираться. Характерно, что при составлении «Опытов» поэт включил в раздел элегий отразившее ужасы наполеоновского нашествия послание «К Дашкову». Очевидно, общая тональность стихотворения показалась ему более существенным признаком для определения жанра, чем внешние формальные особенности. Продолжая дело Державина, смело сплавлявшего элементы разных видов поэтического творчества, Батюшков тем самым подготовил крушение жанровой системы классицизма, окончательно отвергнутой романтиками.

Таким образом, Батюшкова, как было сказано, следует определить как предромантика: в его поэзии ведущую роль играли романтические элементы, но они еще не оформились в целостную художественную систему (мы увидим, что они обострились и углубились во втором периоде творчества поэта).

Стиль поэзии Батюшкова вобрал в себя достижения его ближайших предшественников. Прежде всего особенно ценным для него был опыт Державина, поразительно яркая и насыщенная цветопись стихов которого с особенным блеском выражалась в его произведениях, пронизанных эпикурейскими мотивами, и в его анакреонтике. В этом плане существенна была также роль М. Н. Муравьева, видевшего в древней Элладе мир идеальной красоты и гармонии и облекшего описания этого мира в очень четкие предметные и музыкальные формы, и Капниста, нарисовавшего в своей поэзии близкий Батюшкову образ лирического героя, который удалился в скромный домик от светской суеты. Усвоил Батюшков и изящество стиля любовной лирики Парни, своего любимого французского автора. Но в то же время стиль Батюшкова глубоко самобытен и превосходно передает средствами искусства присущее поэту яркое, стихийно материалистическое восприятие жизни. Поэт создает особое, только ему свойственное, сочетание красок, звуков и приемов «скульптурной лепки образов — и художественное отражение конкретно-чувственного мира делается у него живым, видимым, осязаемым и пою-

[1] См. эпистолу «О стихотворстве» Сумарокова.

щим. Образы поэзии Батюшкова отличаются предметностью и зримостью. Белинский прекрасно охарактеризовал эту сторону творчества Батюшкова: «В стихах его много пластики, много *скульптурности,* если можно так выразиться. Стих его часто не только слышим уху, но видим глазу: хочется ощупать извивы и складки его мраморной драпировки».[1] На пластичность поэзии Батюшкова указывал впоследствии как на общепризнанный факт Н. Г. Чернышевский. Полемизируя с С. П. Шевыревым в «Очерках гоголевского периода русской литературы», он спрашивал: «Как же могло случиться, что в стихе Батюшкова оказалось мало пластичности? Ведь каждому известно, что он в особенности знаменит этим качеством».[2] Художественные детали поэзии Батюшкова очень точны и конкретны; в этом отношении особенно показательны его эпитеты: *«соленая* волна», *«звонкий* лед», *«шумящий* дождь», *«тонкий* вяз» и т. п.

А. Д. Галахов писал о поэте: «Целые пиесы выливались у него, как отчетливые изваяния мыслей и чувств».[3] В поэзии Батюшкова первого периода доминирует цветовая гамма красно-желтых тонов, соответствующая мажорному мироощущению лирического героя, радостной напряженности его эмоций (багряный, пурпурный, румяный, лазоревый, золотой, желтый, янтарный и т. п.). Эффектная цветопись сочетается у Батюшкова с точным воспроизведением движения в стихотворении «Вакханка», где нарисованы обвитый желтым хмелем «стройный стан» и пылающие «ярким багрецом» «ланиты» бегущей женщины.

Яркость и пластичность зрительного образа дополняются у Батюшкова полнотой звучаний. Батюшков — один из самых музыкальных русских поэтов. Пушкин восхищался гармонией стихов Батюшкова, называя его «чудотворцем».

Как взыскательный мастер, Батюшков непрестанно «поправлял» и тщательно отделывал свои стихи. «Иногда перестановка одного слова... весьма значительна», — писал он Гнедичу (III, 422). Именно высокая требовательность Батюшкова являлась одной из причин того, что его литературная продукция была небольшой по объему. Поэт предавал «огню-истребителю» многие свои произведения, не удовлетворявшие его в художественном отношении.

Большую роль для дальнейшего развития русской поэзии сыгра-

---

[1] «Сочинения Александра Пушкина» (Белинский, т. 7, стр. 224).

[2] Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. 3. М., 1947, стр. 107.

[3] А. Галахов. История русской словесности, древней и новой, т. 2. СПб., 1880, стр. 271.

ло то, что Батюшков утвердил новые формы стиха (вольный и четырехстопный ямб в элегии; ставший классическим трехстопный ямб в послании). Вместе с тем он поднял на высокую ступень русский стихотворный язык. Один из главных аргументов Батюшкова в пользу так называемой «легкой поэзии», под которой он понимал все противоположное «высоким» жанрам классицизма (в том числе баллады и басни), состоял в том, что этот род лирики благотворно действует на язык, потому что требует от писателя максимальной «чистоты выражения» (II, 240—241). Постоянное стремление поэта к такой «чистоте» дало важные результаты. «Батюшков, счастливый сподвижник Ломоносова, сделал для русского языка то же самое, что Петрарка для италианского», — писал Пушкин,[1] очевидно имея в виду не только общие заслуги Батюшкова в обработке языка русской поэзии, но и то, что он сообщил ему исключительную музыкальность. Вместе с Жуковским Батюшков создал тот точный и гармоничный стихотворный язык, который использовал и обогатил Пушкин. «Наблюдайте точность в словах, точность, точность!» — восклицал Батюшков (III, 162). Этой цели ему удалось достичь: в 1830 году Пушкин писал о «гармонической точности» как отличительной черте «школы, основанной Жуковским и Батюшковым».[2]

Таковы основные особенности и историко-литературная роль стиля Батюшкова, с наибольшей полнотой и законченностью воплотившегося в его лирике первого периода.

5

Начало Отечественной войны стало рубежом, открывшим второй период поэтической деятельности Батюшкова с его новыми темами и проблемами (1812—1821 годы).

Батюшков создает превосходные стихотворения, в которых важнейшие события Отечественной войны освещены с высокопатриотической точки зрения. В послании «К Дашкову» он с глубокой скорбью рисует разрушенную пожаром, опустошенную Москву и художественно воплощает всенародный патриотический подъем, связанный со все нараставшим стремлением изгнать наполеоновскую армию за пределы отечества. Это послание лишено всяких следов религиозно-монархической тенденциозности, которая была характерна для отно-

---

[1] «Причинами, замедлившими ход нашей словесности...». (Пушкин, т. 11, стр. 21).

[2] Рецензия на «Карелию, или Заточение Марфы Иоанновны Романовой» Ф. Глинки (Пушкин, т. 11, стр. 110).

шения консервативных кругов к событиям 1812 года и отчасти отразилась даже в знаменитом патриотическом хоре Жуковского «Певец во стане русских воинов» с его прославлением «царского трона» и «русского бога». В послании «К Дашкову» Батюшков выступает как рядовой русский человек, испытывающий чувство гнева против иноземных захватчиков. Это чувство, поднимавшее на вооруженную борьбу широчайшие народные массы, заставляет поэта определить свое жизненное поведение и пересмотреть свои литературные позиции. Под влиянием патриотических настроений он демонстративно отрекается от интимно-психологической тематики карамзинистов и клянется оставить до лучших времен эпикурейство. Замечательно остававшееся до сих пор в тени высказывание Г. В. Плеханова о послании «К Дашкову». В работе о Чернышевском Плеханов, говоря о том, что критики шестидесятых годов «нередко отказывали себе в нравственном праве на удовлетворение своей эстетической потребности», так как обладали «высоко развитым чувством гражданского долга», и полемизируя с теми, кто обвинял их в «грубости», упоминает батюшковское послание «К Дашкову». Процитировав большой отрывок из него, он пишет: «Насколько я знаю, еще никому не приходило в голову обвинить Батюшкова на этом основании в неспособности понять эстетическую потребность человека. А ведь в этом его стихотворении сказалось то же самое настроение, которое так сильно давало себя чувствовать в статьях литературных критиков шестидесятых годов».[1] Действительно, Батюшков именно с позиций «гражданского долга» отвечает другу на его совет воспеть «беспечность, счастье и покой»: он отказывается «сзывать пастушек в хоровод» «при страшном зареве» московского пожара. При виде ужасов войны Батюшкову кажутся мелкими и ничтожными темы его собственной эпикурейской поэзии:

Пока с израненным героем,
Кому известен к славе путь,
Три раза не поставлю грудь
Перед врагов сомкнутым строем, —
Мой друг, дотоле будут мне
Все чужды музы и хариты,
Венки, рукой любови свиты,
И радость, шумная в вине!

---

[1] Г. В. Плеханов. Сочинения, т. 6. М.—Л., 1925, стр. 343—344.

В стихотворении «Переход через Рейн», которое Пушкин считал лучшим, «сильнейшим» поэтическим произведением Батюшкова, выразилось чувство патриотической гордости необъятностью России и победами русских войск, вытеснивших врага за пределы своей страны и готовящихся начать преследование на его собственной территории:

И час судьбы настал! Мы здесь, сыны снегов,
Под знаменем Москвы, с свободой и с громами!..
Стеклись с морей, покрытых льдами,
От струй полуденных, от Каспия валов,
От волн Улеи и Байкала,
От Волги, Дона и Днепра,
От града нашего Петра,
С вершин Кавказа и Урала!..

Однако Батюшков нигде не прославляет войну ради войны и, напротив, утверждает превосходство мира, создающего возможность подъема экономической и культурной жизни народа. Батюшков слишком хорошо знал войну, чтобы не видеть ее ужасов. В отрывке «Переход русских войск через Неман» он правдиво изобразил страшные будни войны. Характерно, что в 1814 году, после окончания заграничного похода, Батюшков выбрал для вольного перевода 3-ю элегию 1-й книги Тибулла — произведение, в котором осуждалась война и прославлялся мир.

В стихотворениях Батюшкова на тему о войне есть и следы исторической ограниченности. Во время Отечественной войны Батюшков, как бо́льшая часть передового дворянства этой поры, верил в Александра I и окружал его образ героическим ореолом. «Государь наш... конечно, выше Александра Македонского...» — утверждал поэт в неопубликованном письме к Вяземскому.[1] В том же стихотворении «Переход русских войск через Неман», вместе с Кутузовым и другими военными вождями, как привлекательная фигура изображен «царь младой». Однако Батюшков в этих своих стихотворениях нигде не связывает сочувственные строки об Александре I с прославлением монархии и в этом отношении решительно отличается от консервативных поэтов и журналистов.

Батюшкову вместе с Жуковским удалось создать поэзию о войне

---

[1] Письмо к П. А. Вяземскому от 10 января 1815 г. (ЦГАЛИ, фонд Вяземского).

совершенно нового типа. Он органически включил в нее лирические моменты и как бы слил ее с поэзией интимно-психологической. «Нежные мысли, страстные мечтания и любовь как-то сливаются очень натурально с шумною, мятежною, деятельною жизнию воина», — писал Батюшков (II, 362). Поэт-воин, нарисованный Батюшковым, думает не только о битвах, но и о любви и о дружбе (см., например, элегию «Тень друга»). Лирический элемент, очень сильно дающий себя знать и в «Певце во стане русских воинов» Жуковского, был широко развит Батюшковым в послании «К Дашкову», где поэт, выступая в качестве певца народного гнева, вместе с тем выразил свое глубоко личное восприятие военных событий. Эта «согретость» послания «К Дашкову» сделала его лучшим лирическим стихотворением, написанным о событиях Отечественной войны 1812 года. Вместе с тем Батюшков стал автором первой русской военно-исторической элегии. Такой элегией очень высокого художественного качества явился «Переход через Рейн», где вступление русских войск во Францию изображено на фоне картин исторического прошлого Европы (боев римлян с древними германцами, средневековых турниров и т. п.). В этой элегии присутствует и роднящий ее с военной одой лирический элемент, который в основном сводится к эмоционально окрашенным размышлениям автора о мужестве и героизме русских войск, но все же главную роль в ней играют сменяющие друг друга исторические описания эпического характера.

Батюшков нарисовал русскую армию так, как это мог сделать только человек, кровно связанный с военным бытом. В послании «К Никите» он очень конкретными деталями передал ощущения походной жизни (гул «вечерней пушки», сон «под теплой буркой» и т. п.). Прибегая к новым изобразительным средствам, Батюшков отказывается от характерной для писателей классицизма высокопарно-торжественной манеры изображения сражений с ее обилием мифологических образов. Одной из замечательных черт Батюшкова-баталиста была точная передача движения. Поэт любит рисовать правильно расположенные войска, еще не вступившие в сражение; он набрасывает и картины боя. Точную передачу движения можно видеть, например, в «Переходе через Рейн», где создается живая картина переправы русских войск. По мастерству изображения военных действий в поэзии Батюшков тогда не имел соперников. Но, конечно, он значительно уступал Денису Давыдову в изображении гусарского быта. Об этом свидетельствует батюшковское стихотворение «Разлука» («Гусар, на саблю опираясь...»), где обычная элегическая тема любовной измены довольно неудачно связана с гусарским бытом. Недаром Пушкин почувствовал манерность

«Разлуки» и написал против нее на полях «Опытов»: «Цирлих манирлих. С Д. Давыдовым не должно и спорить».[1]

Во время Отечественной войны в сознании Батюшкова обозначается глубокий перелом, который был вызван прежде всего трагическими событиями наполеоновского нашествия на Россию. «Ужасные поступки вандалов или французов в Москве и в ее окрестностях, поступки, беспримерные и в самой истории, вовсе расстроили мою маленькую философию и поссорили меня с человечеством», — писал Батюшков Гнедичу в октябре 1812 года. В том же письме поэт подчеркивал, что таких «ужасов войны» он во время походов «ни в Пруссии, ни в Швеции увидеть не мог» (III, 209). Сознание Батюшкова было еще более потрясено в дальнейшем ходе войны, когда поэту пришлось увидеть новую вереницу мрачных картин. Батюшков вспоминал в одном из писем о поле лейпцигской битвы, где он «разъезжал один по грудам тел убитых и умирающих»: «Ужаснее сего поля сражения я в жизни моей не видел...» (III, 236). Самый ход исторического процесса наглядно продемонстрировал поэту всю несостоятельность его попытки отвлечься от грозного и разрушительного движения истории, от мучительных противоречий действительности. Как отмечалось, еще в первый период творчества, тема смерти, вторгавшаяся в эпикурейские стихи Батюшкова, свидетельствовала об ограниченности философии индивидуального наслаждения земными радостями. Теперь Батюшков решительно отвергает эту философию, сопоставляя ее со страшной исторической действительностью. «Какое благородное сердце... — спрашивает он, — захочет искать грубых земных наслаждений посреди ужасных развалин столиц, посреди развалин, еще ужаснейших, всеобщего порядка и посреди страданий всего человечества, во всем просвещенном мире?» (II, 129).

Все более запутанными и неразрешимыми кажутся Батюшкову общие проблемы жизни. В элегии «К другу» Батюшков подчеркивает, что, стремясь решить эти вопросы, он, несмотря на все усилия, не увидел никакого смысла в истории и ее сущность представляется ему страшной:

Напрасно вопрошал я опытность веков
И Клии мрачные скрижали...

Старательно возведенный мир мечты, как бы заслонявший поэта-эпикурейца от исторической действительности, рухнул. В той

[1] «Заметки на полях «Опытов в стихах и прозе» К. Н. Батюшкова» (Пушкин, т. 12, стр. 277).

же батюшковской элегии «К другу» прямо говорится о гибели «в буре бед» украшенного розами убежища. После возвращения из заграничного похода Батюшков видит жизнь во всей ее наготе, его ужасают грозные исторические события, и он напряженно ищет выхода. «Все, что я видел, что испытал в течение шестнадцати месяцев <войны>, оставило в моей душе совершенную пустоту. Я не узнаю себя», — признается он в неопубликованном письме к Вяземскому,[1] а в другом письме спрашивает Жуковского: «Скажи мне, к чему прибегнуть, чем занять пустоту душевную. . .» (III, 304).

Известную роль в обострении этого душевного состояния Батюшкова сыграли и те личные невзгоды и неудачи, с которыми он столкнулся после возвращения на родину. В 1815 году оно достигает апогея в своем напряжении, и поэт оказывается захваченным реакционными философскими идеями. Лично и духовно сближаясь с Жуковским, Батюшков пытается найти разрешение вставших перед ним проблем в религии. В те элегии Батюшкова 1815 года, где он старается в религиозном духе разрешить внутренние конфликты («Надежда», «К другу»), вторгаются мистические мотивы, характерные для поэзии Жуковского, и даже ее отдельные образы и выражения (земная жизнь человека — «риза странника», провидение — «вожатый», «доверенность к творцу» и т. п.). Именно в 1815 году Батюшков создает и проникнутые религиозным морализмом статьи «Нечто о морали, основанной на философии и религии» и «О лучших свойствах сердца». В них он верно нащупывает слабость этических основ французской просветительной философии — индивидуализм, определявшийся ее буржуазным характером, но в общем становится на реакционную точку зрения и ожесточенно нападает на «нечестивое вольнодумство» и материалистические идеи. Религиозная настроенность Батюшкова вызывает саркастическое отношение у некоторых его друзей. Если раньше поэт смеялся над ханжами — «капуцинами», то теперь Вяземский пишет о нем самом: «Силы нет видеть, как он капуцинит».[2]

В эту пору Батюшков в своих письмах и статьях трактует события Отечественной войны в духе реакционно-монархической публицистики. Осуждая «ужасы революции» (II, 115), он считает Наполеона наследником якобинцев — «всадником Робеспиером» (III, 250), в московском пожаре усматривает «плоды просвещения или, лучше

[1] Письмо от 27 августа 1814 г. (ЦГАЛИ, фонд Вяземского).

[2] Письмо П. А. Вяземского к А. И. Тургеневу от 20 апреля 1816 г. («Остафьевский архив», т. 1. СПб., 1899, стр. 44).

сказать, разврата остроумнейшего народа» (III, 205), а разбирая послание Жуковского «Императору Александру», посвященное событиям Отечественной войны, замечает: «Как ни слова не сказать о философах, которые приготовили зло» (III, 302). В одной из своих статей 1815 года Батюшков, ссылаясь на мысли Шатобриана, утверждает, что победа русских в войне была своеобразным посрамлением революционных идей: «Копье и сабля, окропленные святою водою на берегах тихого Дона, засверкали в обители нечестия, в виду храмов *рассудка, братства* и *вольности,* безбожием сооруженных, и знамя Москвы, веры и чести водружено на месте величайшего преступления против бога и человечества!» (II, 141).

Однако поэт не перешел в лагерь реакции. Его религиозные и мистические настроения достигли апогея в 1815 году, но потом стали явно ослабевать. Несмотря на свое новое отношение к философии Вольтера и Руссо, Батюшков и в это время был далек от огульного отрицания их идейного наследия и продолжал считать их великими людьми, неоднократно цитируя сочинения этих мыслителей, в то время как представители реакционных кругов старались вытравить самую память о философах-просветителях и, по свидетельству декабриста Н. И. Тургенева, называли их «мошенниками».[1] Уже в пору душевного смятения, во время похода во Францию, Батюшков едет «поклониться» «тени Вольтера» в замок Сирей и в очерке об этом путешествии называет Вольтера «Протеем ума человеческого», отмечая его «ум гибкий, обширный, блестящий, способный на все» (II, 66). После окончания Отечественной войны Батюшков резко осуждает «озлобленных тиранов» (II, 148) и средневековую инквизицию с ее кострами (см. II, 297 и 362), мечтает об освобождении русских крепостных крестьян. По свидетельству Вяземского, в 1814 году поэт сочинил «прекрасное четверостишие», направленное против крепостничества. Обращаясь в нем к Александру I, он предлагал последнему «после окончания славной войны, освободившей Европу», «довершить славу свою и обессмертить свое царствование освобождением русского народа».[2] Это четверостишие, к сожалению не дошедшее до нас, было, очевидно, написано под влиянием декабриста Н. И. Тургенева, с которым поэт часто виделся в 1814 году, во время заграничного похода русской армии. Существует сделанная как раз в это время запись в дневнике Н. И. Тургенева, представляющая со-

---

[1] «Дневники и письма Н. И. Тургенева», т. 3. П., 1921, стр. 51 (запись от 3 сентября 1817 г.).

[2] «По поводу бумаг В. А. Жуковского (Два письма к издателю «Русского архива»)». — П. А. Вяземский. Полн. собр. соч., т. 7. СПб., 1882, стр. 418—419.

бой полную аналогию к четверостишию Батюшкова. Об освобождении крестьян Н. И. Тургенев говорит: «Вот венец, которым русский император может увенчать все дела свои».[1]

В эту пору Батюшков по-прежнему остается врагом литературных реакционеров. Правда, он уже не направляет против шишковистов ни одного крупного сатирического произведения и вообще после 1813 года, когда был сочинен «Певец в Беседе любителей русского слова», создает только одно небольшое антишишковистское стихотворение, адресованное Вяземскому, — «Я вижу тень Боброва...». Отказ от полемики, от активного вмешательства в литературную жизнь был связан с влиянием на поэта идей консервативного порядка: «Я с некоторого времени отвращение имею от сатиры», — признается он Гнедичу (III, 410). Однако в письмах к друзьям Батюшков с еще большим ожесточением, чем до Отечественной войны, нападает на шишковистов и их попытки повернуть вспять развитие русской литературы. В 1816 году он пишет Гнедичу о языке шишковистов: «Нет, никогда я не имел такой ненависти к этому мандаринному, рабскому, татарско-славенскому языку, как теперь!» (III, 409). Учитывая именно эти настроения Батюшкова, карамзинисты избрали его членом «Арзамаса». И хотя Батюшков принял участие в заседаниях «Арзамаса», когда общество уже переживало период распада (он в первый раз присутствовал на его собрании 27 августа 1817 года и тогда же произнес вступительную речь[2]), арзамасцы ценили в поэте его потенциальные силы литературного полемиста и широко использовали его старые, ставшие очень известными антишишковистские произведения. Во многих арзамасских шуточных речах слышатся отголоски этих произведений, например в приготовленной для «Арзамаса» речи декабриста Н. И. Тургенева, где, как и в батюшковском «Видении на берегах Леты», развит мотив погружения в воду бездарных сочинений шишковистов («мертвецы» «Беседы» ввергают в воду «кипы непереплетенных печатных листов» и переходят по ним через реку, чтобы попасть в Российскую академию[3]).

Не принимая особенно активного участия в антишишковистской деятельности «Арзамаса», Батюшков, несомненно, одобрял эту деятельность — «войну со славенофилами» (III, 433). В 1816 году он

---

[1] «Дневники и письма Н. И. Тургенева», т. 2. СПб., 1913, стр. 253 (запись от 25 апреля 1814 г.).

[2] «„Арзамас“ и арзамасские протоколы». Л., 1933, стр. 44.

[3] «Дневники и письма Н. И. Тургенева», т. 3. П., 1921, стр. 32 (запись от 24 апреля 1817 г.).

писал Жуковскому: «Час от часу я более и более убеждаюсь, что арзамасцы лучше суздальцев <шишковистов>, и без них несть спасения» (III, 382). В то же время поэт испытывал неудовлетворенность «камерностью» и несерьезностью деятельности общества.[1] Он иронически сообщал Вяземскому о его членах: «В «Арзамасе» весело. Говорят: станем трудиться, и никто ничего не делает: (III, 468). Эта позиция отразилась и в очерке Батюшкова «Вечер у Кантемира», прочитанном в январе 1817 года на заседании «Арзамаса». Несмотря на историческую тематику, очерк был откликом на жгучие политические проблемы современности, и в нем чувствовалось явное недовольство существующим в России общественным порядком. Но решение социальных проблем в очерке, конечно, не соответствовало взглядам левого крыла «Арзамаса», так как свои надежды на лучшее будущее Батюшков возлагал лишь на мирные «успехи просвещения» (II, 230).

В последние годы творческой деятельности Батюшков начинает обнаруживать интерес и к декабристскому вольнолюбию, даже иногда выражает некоторые симпатии к нему. В письме из Италии от 1 августа 1819 года он просит Жуковского: «Скажи Н. И. Тургеневу, что я его душевно уважаю, и чтоб он не думал, что я варвар: скажи ему, что я купался в Тибре и ходил по Форуму Рима, нимало не краснея, что здесь я читаю Тацита...» (III, 562). В терминологии Н. И. Тургенева слово «варвар» было равносильно слову «реакционер», а Тацит трактовался декабристски настроенными деятелями, да и не только ими, как «бич тиранов» (слова Пушкина), отстаивавший римскую свободу. Таким образом, Батюшков полагал, что его убеждения дают ему право без угрызений совести думать о героях римской свободы. Ореолом античной вольности поэт окружал личность своего троюродного брата, декабриста Никиты Муравьева, о вольнолюбии которого он, как показывают архивные материалы, был хорошо осведомлен. В 1818 году он сообщал из Вены Е. Ф. Муравьевой: «Буду писать из Венеции или Флоренции к вам,

---

[1] Батюшков был горячим сторонником издания арзамасского журнала, которое предполагалось начать в течение 1818 г. Более того, он избирается одним из семи представителей «Арзамаса», которые должны были заменять собой «все общество в промежутки заседаний» и вести практическую работу по редактированию журнала. В нем Батюшков хотел поместить стихотворный цикл «Из греческой антологии», а в отделе прозы — очерки по истории итальянской литературы и очерк «Вечер у Кантемира», но, как известно, издание не состоялось из-за острой идейной борьбы между членами «Арзамаса», явившейся главной причиной распада общества.

а к Никите из Рима, ибо он римлянин душою».[1] Слова «римлянин душою», бесспорно, означали любовь к свободе, — именно такое наполнение они получали в вольнолюбивых кругах. Вспомним хотя бы строки Пушкина из его первого гражданского стихотворения — послания «Лицинию»:

Я сердцем римлянин; кипит в груди свобода,
Во мне не дремлет дух великого народа.

Но конечно, какие-либо революционные настроения были совершенно чужды Батюшкову. Если Пушкин издали горячо желал успеха революционному движению итальянских карбонариев,[2] то его очевидца Батюшкова оно только отталкивало. «Мне эта глупая революция очень надоела, — писал он Е. Ф. Муравьевой из Рима в 1821 году. — Пора быть умными, то есть покойными».[3] Показательно, что представители декабристских кругов нередко критикуют Батюшкова, имея в виду умеренность его политических воззрений и тематическую узость его поэзии. Иронической рецензией на «Опыты» стала комедия А. С. Грибоедова и П. А. Катенина «Студент», где были даны острые пародии на поэзию и прозу Батюшкова. Показательны и заметки на полях «Опытов» декабриста Никиты Муравьева, напавшего на те места батюшковской «Речи о влиянии легкой поэзии на язык», которые показались ему ошибочными в политическом смысле. На слова Батюшкова о том, что «все благородные сердца, все патриоты» с признательностью благословляют руку царя, щедро награждающую «отечественные таланты» (II, 246), Никита Муравьев отвечает негодующей тирадой: «Какая дерзость ручаться за других! Кто выбрал автора представителем всех патриотов?» (II, 527).

Но несмотря на то что Батюшков был далек от революционных и радикально настроенных кругов, он после возвращения из заграничного похода ясно понял, что перед литературой стоят новые, серьезные задачи, и, стремясь откликнуться на требования современности, старался направить свое творчество по новым художественным путям. Это становится вполне очевидным при анализе наиболее значительных произведений поэта, относящихся к послевоенному периоду.

---

[1] Письмо к Е. Ф. Муравьевой от 30/18 декабря 1818 г. (ЦГАЛИ, фонд Батюшкова).

[2] См., например, пушкинское послание «В. Л. Давыдову».

[3] Письмо от 13 января 1821 г. («Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х гг.», т. 1. М., 1931, стр. 146).

Заявивший уже в послании «К Дашкову» о своем стремлении выйти за узкие пределы карамзинистских тем и образов, Батюшков и после окончания войны жалуется на неудовлетворенность собственной поэзией. В 1814 году он признается Жуковскому: «Самое маленькое дарование мое, которым подарила меня судьба, конечно — в гневе своем, сделалось моим мучителем. Я вижу его бесполезность для общества и для себя» (III, 304). Теперь Батюшков хочет раздвинуть диапазон своего творчества, решить новые, более важные художественные задачи. Утверждая, что ему надоели «безделки» (III, 227—228), Батюшков пишет Жуковскому: «Мне хотелось бы дать новое направление моей крохотной музе и область элегии расширить» (III, 448). И действительно, он создает ряд монументальных исторических элегий («На развалинах замка в Швеции», «Переход через Рейн», «Умирающий Тасс», «Гезиод и Омир — соперники»). Батюшков думает о работе над крупным эпическим полотном. В качестве предварительного опыта он пишет большую сатирическую сказку «Странствователь и домосед» (1815).

Образцом для нее послужили стихотворные сказки И. И. Дмитриева (типа «Модной жены»). Батюшков признавался, что «прекрасный» стих этого поэта «Ум любит странствовать, а сердце жить на месте» дал ему первый толчок к сочинению своего произведения.[1] Однако часто встречавшийся в поэзии Дмитриева мотив странствий Батюшков разработал иначе. Изображая героя, который долго и неудачно путешествовал по разным странам и «полумертвый» вернулся в родную хижину, он заканчивает свою сказку не апологией покоя, как Дмитриев (см., например, хотя бы его сказку «Причудница»), но отказом от него: герой снова отправляется путешествовать, не обращая внимания на доводы пытающегося его удержать брата-домоседа:

Напрасные слова — чудак не воротился —
Рукой махнул... и скрылся.

В «Странствователе и домоседе» Батюшков в лице главного героя, по собственному признанию, «описал себя»,[2] т. е. свою любовь к далеким путешествиям, связанную с желанием покинуть удушливую атмосферу самодержавно-крепостнической России (во вступле-

---

[1] Письмо к П. А. Вяземскому от 17 февраля 1815 г. (ЦГАЛИ, фонд Вяземского).

[2] Письмо к П. А. Вяземскому от 10 января 1815 г. (там же).

нии к сказке поэт прямо говорит о том, что человек его типа «осужден искать... чего — не знает сам»). Автобиографический момент, собственные мысли и чувства, окрасившие это произведение в субъективно-лирические тона, — вот то новое, чем Батюшков обогатил жанр стихотворной сказки. Однако никаких плодотворных перспектив работа над этим устаревшим в то время жанром Батюшкову не обещала. Он выдвигает перед самим собой и перед другими талантливыми писателями задачу создания русской поэмы нового типа. Он настаивает на том, что Жуковский должен оставить «безделки» — элегии и баллады — для важного дела. «Все тебе прощу, если напишешь поэму...» — восклицает Батюшков в письме к Жуковскому (III, 382—383). Встретившись в 1815 году с юным лицеистом Пушкиным, он советует и ему не ограничиваться лирикой и сочинить поэму с эпическим сюжетом.[1] Сам Батюшков также готовится начать работу в этом направлении. Вступая на путь, по которому так блистательно пошел Пушкин в «Руслане и Людмиле», Батюшков мечтает о создании большого произведения с русским национальным сюжетом: он задумывает историческую поэму «Рюрик» (III, 439) и собирается написать поэмы о Бове[2] и «Русалка»,[3] построив их на народно-сказочных мотивах. Его интерес к русской национальной тематике, подсказанный предромантическими и романтическими тенденциями в русской литературе, перекликался с творческими устремлениями таких поэтов, как Жуковский, Катенин. Однако эти планы больших произведений остались нереализованными, видимо, потому, что Батюшков по типу своего дарования был мастером малых форм и к тому же был связан карамзинистской традицией, очень далекой от фольклора.[4]

Пережитый Батюшковым душевный кризис оставил неизгладимый след на всем послевоенном творчестве поэта, отмеченном глубочайшими внутренними противоречиями. Творческий облик Батюшкова двоится; его поэтическая работа идет как бы в двух противоположных направлениях, лишь изредка соприкасающихся друг с

---

[1] См.: Л. Майков. Пушкин. СПб., 1899, стр. 288.

[2] См. письмо Пушкина к П. А. Вяземскому от 23 июня 1817 г. (Пушкин, т. 13, стр. 3).

[3] См. план этой поэмы в письме к П. А. Вяземскому от 23 июня 1817 г. (т. III, стр. 453—454).

[4] Единственные образцы творчества послевоенного Батюшкова в народном духе — стихотворение «У Волги-реченьки сидел...» и план поэмы «Русалка» — показывают, каким ограниченным и манерно-карамзинистским было использование Батюшковым мотивов русского фольклора.

другом. С одной стороны, он еще находится под обаянием идеала, утверждающего жизнь как чувственное наслаждение, но теперь он воплощает его исключительно в образах античного мира, делая его достоянием лишь эпохи глубокой древности. Другая линия поэзии Батюшкова связана с историческими элегиями, с романтической темой трагического одиночества и гибели поэта, отразившей реальное положение художника в условиях самодержавно-крепостнической действительности. Ни один русский писатель до Пушкина не разработал эту тему так полно и глубоко, как Батюшков. Еще до Отечественной войны поэта взволновали несчастья драматурга Озерова, который вскоре под влиянием служебных и литературных неприятностей психически заболел. В поддержку ему он сочинил басню «Пастух и соловей». Но самый благодарный материал для разработки темы судьбы гонимого поэта, имевший в русских условиях острое современное звучание, давала Батюшкову биография Торквато Тассо — поэта, затравленного придворными кругами. Еще в 1808 году Батюшков, начавший переводить «Освобожденный Иерусалим», сочиняет послание «К Тассу», где с негодованием обращается к гонителям поэта:

О вы, которых яд
Торквату дал вкусить мучений лютых ад,
Придите зрелищем достойным веселиться
И гибелью его таланта насладиться!

Самое крупное произведение о Тассо Батюшков создал в послевоенную пору: в 1817 году им была написана историческая элегия «Умирающий Тасс». Поэт, считавший эту элегию своим лучшим произведением, отчасти вложил в нее автобиографическое содержание; не случайно современники стали видеть в ней, особенно после помешательства Батюшкова, отражение его собственных страданий. Элегия имела более шумный успех, чем какое-либо другое произведение Батюшкова. Декабрист А. А. Бестужев-Марлинский утверждал: «Батюшков остался бы образцовым поэтом без укора, если б даже написал одного «Умирающего Тасса».[1] В элегии возникала трагическая фигура преследуемого «убийцами дарованья», гонимого судьбой Тассо, напрасно старающегося найти покой:

Фортуною изрытые пучины
Разверзлись подо мной, и гром не умолкал!

[1] «Взгляд на старую и новую словесность в России» («Полярная звезда на 1823 год». СПб., 1823, стр. 24).

Из веси в весь, из стран в страну гонимый,
Я тщетно на земли пристанища искал... —

жалуется умирающий герой элегии.

Батюшков проявил оригинальность в разработке темы Тассо и, отойдя от интерпретации Гете (драма «Торквато Тассо», 1790), видевшего трагедию великого итальянского писателя в его внутренних противоречиях, совершенно независимо от Байрона с его титанической «Жалобой Тассо», создал русское произведение о Тассо, основанное на конфликте поэта с действительностью («Жалоба Тассо» Байрона сочинена почти одновременно с «Умирающим Тассом» Батюшкова, в апреле 1817 года). Тассо Батюшкова — подлинный предшественник тоскующих скитальцев, «гонимых миром странников», впоследствии изображенных в романтических произведениях Пушкина и Лермонтова. Однако в элегии Батюшкова с вольнолюбивыми настроениями сочетались напоминавшие поэзию Жуковского мотивы религиозно-мистического разрешения конфликта поэта с действительностью: Тассо перед смертью находит утешение в мыслях о потустороннем мире и загробной встрече со своей возлюбленной Элеонорой, ждущей его «средь ангелов». Эти религиозные мотивы, а также отсутствие энергичного протеста против социального зла сообщили характеру героя и всей элегии Батюшкова некоторую вялость, что вызвало резко отрицательный отзыв Пушкина, увидевшего в сетованиях умирающего Тассо только «славолюбие и добродушие» и утверждавшего, что это «тощее произведение» «ниже своей славы» и не идет ни в какое сравнение с «Жалобой Тассо» Байрона.[1]

К тассовскому циклу Батюшкова по существу примыкает ряд его послевоенных переводов, где тоже нарисован образ гонимого, страдающего человека. В 1814 году Батюшков создает стихотворение «Судьба Одиссея», представляющее собой вольный перевод произведения Шиллера, и автобиографически осмысляет образ гомеровского героя, который «не познал» отчизны (сам Батюшков, часто сравнивавший себя с Одиссеем, после возвращения из заграничного похода почувствовал себя чужим на родине). К 1816 году относится вольный перевод Батюшкова из Мильвуа — историческая элегия «Гезиод и Омир — соперники». В ней опять-таки развита тема судьбы гонимого поэта, и автор «Одиссеи» изображен как бездомный слепец, сумевший сохранить душевное величие, несмотря на

---

[1] «Заметки на полях «Опытов в стихах и прозе» К. Н. Батюшкова» (Пушкин, т. 12, стр. 283).

преследования «суетной толпы». Вполне самостоятельно Батюшков делает концовкой стихотворения обобщающий вывод о безрадостной участи поэта. Говоря о том, что Гомер не находит «пристанища» в Элладе, Батюшков, в последней строчке, не имеющей никаких соответствий в подлиннике, задает скорбный риторический вопрос: «И где найдут его талант и нищета?»

Тема судьбы гонимого поэта сближала Батюшкова со многими свободолюбивыми писателями первого двадцатилетия XIX века, например с Гнедичем, поэма которого «Рождение Гомера» (1816) явно перекликалась с элегией «Гезиод и Омир — соперники» («Как мы сошлись?» — спрашивал Гнедича Батюшков [1]).

Батюшков стал творцом особого рода исторической элегии с преобладанием лирического элемента, которая по сути дела представляла собой переходное художественное явление, стоящее между лирическим стихотворением и романтической поэмой, и позволяла не только осветить близкую к настроениям самого поэта психологию героя, но и показать его жизненную судьбу. Так, в «Умирающем Тассе», где Батюшков приблизился к жанру романтической поэмы, обширный монолог гибнущего итальянского поэта не только передает его переживания, но и содержит описание важнейших перипетий его жизни.

В своей работе над историческими элегиями этого типа Батюшков предвосхитил некоторые пушкинские темы. Если Пушкин в 1821 году создал послание «К Овидию», по существу являвшееся исторической элегией, где лирически связывал участь сосланного римского поэта с собственной судьбой изгнанника, то Батюшков еще в 1817 году собирался написать об Овидии в Скифии, считая, что это «предмет для элегии счастливее самого Тасса» (III, 456), и, конечно, хотел вложить в эту вещь глубоко личное содержание (Батюшков часто сравнивал свое житье в деревне со ссылкой римского поэта [2]). Исторические элегии Пушкина и Батюшкова, стоящие на одной линии развития русского романтизма, настойчиво сближал Белинский. Он называл «Умирающего Тасса» произведением, «которому в параллель можно поставить только «Андрея Шенье» Пушкина». [3] Действительно, обе элегии рисуют предсмертные минуты поэта и имеют одинаковый план (описание

---

[1] Письмо от 7 февраля 1817 г. («Отчет Публичной библиотеки за 1895 г.». СПб., 1898. Приложение, стр. 23).

[2] См. письма Батюшкова к П. А. Вяземскому и Н. И. Гнедичу (Соч., т. III, стр. 165 и 169).

[3] «Сочинения в прозе и стихах Константина Батюшкова» (Белинский, т. 1, стр. 166).

обстановки действия, большой монолог поэта, занимающий почти все произведение, и катастрофическая развязка: у Батюшкова Тассо умирает, у Пушкина Шенье вступает на эшафот).

Таким образом, Батюшков под влиянием обострения своего конфликта с действительностью довольно близко подошел в произведениях послевоенного периода к некоторым важным темам и проблемам пушкинского романтизма 20-х годов. Это проявилось и в его послевоенной любовной лирике, которая воплощала психологический мир одинокой личности, переживающей душевную драму (см. в особенности «Элегию»), а также и в том, что он еще до Пушкина стал одним из первых русских ценителей романтической поэзии Байрона. В 1819 году он сделал довольно точный перевод одной из строф «Странствований Чайльд-Гарольда», в которой создавался образ разочарованного, охладевшего человека, уходящего в мир природы («Есть наслаждение и в дикости лесов...»). Это, между прочим, показывало, что интересы Батюшкова-переводчика отчасти переместились, по сравнению с первым периодом его творчества, с французской и итальянской литературы — на английскую и немецкую. Такое перемещение объяснялось прежде всего усилением романтических устремлений Батюшкова: не случайно, открыв для себя во время заграничного похода русской армии немецкую литературу, он не только обнаруживает жгучий интерес к романтике страстей в творчестве молодого Гете («У меня сердце почти такое, какое Гете, человек сумасшедший, дал сумасшедшему Вертеру», — признается поэт в неопубликованном письме к Вяземскому [1]), но и начинает переводить Шиллера, выбирая те его произведения, в которых романтически осмысляется античность.

Еще в 1814 или 1815 году Батюшков написал свое знаменитое стихотворение «Вакханка», названное Белинским «апофеозою чувственной страсти». [2] Оно в высшей степени примечательно и тем, что в нем наметился тот метод изображения жизни античной древности, который Батюшков с блеском продемонстрировал в своих лирических циклах «Из греческой антологии» (1817—1818) и «Подражания древним» (1821), представляющих собой единое целое.

В антологических стихотворениях Батюшкова преобладает тема любви — «пылких восторгов» и «упоенья» земной страсти; это показывает, что он по-прежнему остается жизнелюбивым поэтом. Рядом

---

[1] Письмо от марта 1815 г. (ЦГАЛИ, фонд Вяземского).

[2] «Сочинения Александра Пушкина» (Белинский, т. 7, стр. 227).

с ней стоит героическая тема борьбы с опасностями, гордого презрения к смерти. Эта тема сближала Батюшкова с передовой вольнолюбивой литературой, проникнутой идеями декабризма, и предвосхищала пушкинский гимн председателя из «Пира во время чумы», прославляющий «упоение в бою». Но так как сознание Батюшкова в пору сочинения антологических стихотворений отличалось резко выраженной противоречивостью, в них вместе с тем намечается сложный комплекс минорных, а подчас и пессимистических настроений. Этими настроениями подсказана трагическая тема смерти юного существа и тема бренности всех человеческих дел и ценностей, развернутая на фоне картин разрушения и гибели древних культур (см. 5-е стихотворение из греческой антологии, построенное на контрасте величия древнего города и его позднейшего запустения, а также примыкающее к антологическим циклам Батюшкова превосходное стихотворение «Ты пробуждаешься, о Байя, из гробницы. . .», в котором подчеркнута невозможность возрождения древней цивилизации).

До Батюшкова антологические стихотворения писали Державин (см. его перевод из Павла Силенциария «Оковы», относящийся к 1809 г.) и Дмитриев. С. П. Шевырев в своих парижских лекциях о русской литературе справедливо утверждал, что в некоторых дмитриевских «антологических пьесах» содержатся «зародыши поэзии Батюшкова».[1] Однако именно Батюшков поднял этот жанр в русской поэзии на огромную художественную высоту. Если Вольтер — один из крупнейших мастеров этого жанра[2] — говорил в своем «Философском словаре», что антологическое стихотворение должно быть коротким и сжатым, то классическим примером такой поэтики могут служить произведения Батюшкова. Его антологические стихотворения, при всей глубине и емкости своего содержания, часто не превышают по размеру 4—6 строк. Тем самым Батюшков блестяще осуществил основное требование жанра антологического стихотворения — воплощение мысли и чувства в максимально экономной форме. Совершенно естественно, что при подобной сжатости антологических стихотворений Батюшкова особенно важную роль играли в них разнообразные приемы лирической композиции, в частности энергичная замыкающая концовка. которая нередко приобретала афористическую форму:

---

[1] «Сборник отделения русского языка и словесности императорской Академии наук», 1884, т. 38, № 5, стр. 257.

[2] Об антологических стихах Вольтера Батюшков с восхищением говорил в своем «Путешествии в замок Сирей» (Соч., т. 2, стр. 65).

О юный плаватель, сколь жизнь твоя прекрасна!
Вверяйся челноку! плыви!

(«С отвагой на челе
и с пламенем в крови...»)

Не бойся! Бог решит. Лишь смелым он отец,
Лишь смелым перлы, мед иль гибель... иль венец.

(«Ты хочешь меду, сын? —
так жала не страшись...»)

В антологических стихотворениях, может быть, с наибольшей силой проявляется характернейшая черта стиля Батюшкова — необычайная конкретность образов. Не владея древнегреческим языком, Батюшков с изумительной силой творческого чутья и воображения «угадывал» свойства оригинала и выраженный в них дух древней жизни сквозь довольно бледные и местами манерно сентиментальные французские переводы С. С. Уварова из античных поэтов. Он не только максимально усилил тему «земной» пылкой страсти, но и придал многим достаточно банальным уваровским строчкам удивительную конкретность, овеществляя стертые «образы-штампы». Например, вместо упомянутых Уваровым в третьем стихотворении цикла «свежих и легких тканей» («frais et légers tissus»), у Батюшкова фигурируют «покровы легкие из дымки белоснежной». Таким образом, Уваров, указывавший, что его французские переводы из античных авторов были созданы в порядке «дружеского соревнования» с Батюшковым, потерпел в этом соревновании полное поражение. А в своем оригинальном цикле «Подражания древним» Батюшков развертывает великолепную цветопись, целую гамму красок. Столь же блистательную цветопись можно увидеть в антологическом стихотворении Батюшкова «Ты пробуждаешься, о Байя, из гробницы...».

Неудивительно, что антологические стихотворения Батюшкова, ставшие одним из его лучших художественных завоеваний и свидетельствующие о том, насколько высоким был уровень мастерства поэта в конце его творческого пути, вызывали восторженные отзывы современников. И. И. Дмитриев писал о них А. И. Тургеневу: «Это совершенство русской версификации: какая гибкость, мягкость, нежность и чистота!»[1] В. К. Кюхельбекер, написавший об этих стихо-

---

[1] Письмо от 25 февраля 1820 г. (И. И. Дмитриев. Соч., т. 2. СПб., 1893, стр. 260).

творениях специальную статью, отмечал в них «самый пылкий лиризм» и «исполинскую силу выражений»,[1] а Белинский считал их «истинно образцовыми, истинно артистическими» и выдвигал их на первое место в творчестве Батюшкова, как «лучшее произведение его музы», сетуя на то, что публика не обращает должного внимания на эти шедевры, отличающиеся «мраморной рельефностью формы».[2]

Но ни история древнего мира, ни античное искусство не могли сгладить трагический конфликт поэта с действительностью. Тяжелые раздумья и мрачные настроения снова начали бурно обостряться. Выражением их стало стихотворение, известное под условным названием «Изречение Мельхиседека», где Батюшков заявлял, что жизнь человека представляет собой сплошную цепь страданий и целиком определяется непонятной ему волей рока, не открывающей перед ним никаких разумных целей («Рабом родится человек, Рабом в могилу ляжет»). При этом Батюшков отвергал и «утешения» религии, на которые он прежде пытался опереться. «И смерть ему едва ли скажет, зачем он шел...» — писал поэт о человеке, распространяя свой скептицизм на учение о загробной жизни. Но беспросветный пессимизм, выразившийся в «Изречении Мельхиседека», вырастая из «кризисных» переживаний, все же возник в значительной мере и под влиянием душевной болезни Батюшкова. Вот почему было бы неверно считать «Изречение Мельхиседека» итогом всего творческого пути поэта.

Многое говорит о том, что, если бы душевная болезнь Батюшкова не оборвала его работу, он мог бы выйти на какую-то новую творческую дорогу. На этой точке зрения твердо стоял Белинский, находивший, что расцвет деятельности Пушкина оказал бы «сильное и благодетельное влияние» на Батюшкова.[3] «Только тогда узнали бы русские, какой великий талант имели они в нем», — писал Белинский.[4]

Трагическую незавершенность своего творческого пути ясно почувствовал сам Батюшков, когда он уже не в состоянии был его продолжать. В минуту просветления душевнобольной поэт сказал Вяземскому: «Что говорить о стихах моих!.. Я похож на человека,

---

[1] «О греческой антологии» («Сын отечества», 1820, № 23, стр. 148 и 149).

[2] «Римские элегии» (Белинский, т. 5, стр. 248 и 254).

[3] «Речь о критике А. Никитенко» (Белинский, т. 6, стр. 293).

[4] «Сочинения Александра Пушкина» (Белинский, т. 7, стр. 271).

который не дошел до цели своей, а нес он на голове красивый сосуд, чем-то наполненный. Сосуд сорвался с головы, упал и разбился вдребезги. Поди узнай теперь, что́ в нем было!»[1]

* * *

Батюшков был тесно связан с передовой русской культурой. Несмотря на известную скованность старыми формами, его творчество было устремлено вперед — в художественные дали романтизма. Именно идейно-художественное новаторство Батюшкова сделало его одним из учителей и любимых писателей Пушкина. Великого русского поэта роднило с его ближайшим предшественником Батюшковым прежде всего земное, стихийно-материалистическое восприятие жизни. На всем протяжении творческого пути Батюшков оставался для Пушкина классиком русской поэзии и в то же время живым художественным явлением. При анализе лицейской лирики Пушкина выясняется, что влияние Батюшкова и количественно и качественно перевешивает в ней влияния всех других поэтов. И в дальнейшем Пушкин продолжал живо интересоваться батюшковскими мыслями, темами и художественными приемами. Совершая стремительный путь от эпикурейской поэзии к вольнолюбивому романтизму и далее, к реализму, Пушкин сознательно и бессознательно включал переработанные им батюшковские мотивы, образы и приемы в разные стилевые пласты своего творчества. Мы часто встречаем их в лирике Пушкина, почти во всех его поэмах, в «Пире во время чумы» и в «Евгении Онегине». Пушкин использовал также стихотворный язык и формы стиха Батюшкова и его фразеологию — устойчивые словесные формулы, старательно отточенные этим взыскательным мастером. Все это было вполне закономерным, так как Пушкин и Батюшков создали два тесно связанных, последовательных этапа прогрессивного развития русской литературы. Но конечно, во всех областях Пушкин сделал гигантский шаг вперед по сравнению с Батюшковым — и потому, что он был гением, а его предшественник лишь крупным талантом, и потому, что он сумел стать несравненным «поэтом действительности», с удивительной полнотой и свежестью изобразившим русскую жизнь. Недаром в заметках на полях «Опытов» Пушкин не только восхищался художественным блеском поэзии Батюшкова, но и с позиций строгого реализма критиковал ее за стилистический разнобой, за смешение мифологических и бытовых образов.

---

[1] «Старая записная книжка» (П. А. Вяземский. Полн. собр. соч., т. 8. СПб., 1883, стр. 481).

Влияние идей и стиля Батюшкова или отдельных мотивов его стихотворений мы находим и в поэзии Рылеева, Баратынского, Лермонтова, Тютчева, Майкова. Но Батюшков — не только учитель русских поэтов. Как и все подлинно высокие произведения искусства, лучшие стихи поэта вырвались за рамки своей эпохи и прошли через «завистливую даль» веков. И сейчас они продолжают жить полной жизнью и доставляют читателю эстетическое наслаждение. В этом замечательный итог творческой деятельности Батюшкова, сумевшего создать, несмотря на острый трагизм своей биографии, благородную, яркую и гармоничную поэзию.

Н. Фридман

СТИХОТВОРЕНИЯ

МЕЧТА[1]

О, сладостна мечта, дщерь ночи молчаливой,
Сойди ко мне с небес в туманных облаках
Иль в милом образе супруги боязливой,
С слезой блестящею во пламенных очах!
Ты, в душу нежную поэта
Лучом проникнув света,
Горишь, как огнь зари, и красишь песнь его,
Любимца чистых сестр, любимца твоего,
И горесть сладостна бывает:
Он в горести мечтает.
То вдруг он пренесен во Сельмские леса,
Где ветр шумит, ревет гроза,
Где тень Оскарова, одетая туманом,
По небу стелется над пенным океаном;
То с чашей радости в руках
Он с бардом песнь поет — и месяц в облаках,
И Кромлы шумный лес безмолвствуя внимает,
И эхо вдалеке песнь звучну повторяет.
О, сладостна мечта, ты красишь зимний день,
Цветами и зиму печальную венчаешь,
Зефиром по цветам летаешь
И между светлых льдин являешь миртов тень!

Богиня ты, мечта! Дары твои бесценны
Самим невольникам в слезах.
Цепями руки отягченны,
Замки чугунны на дверях

[1] Первая редакция стихотворения. — *Ред.*

Украшены мечтой... Какое утешенье
Украсить заключенье,
Оковы променять на цепь веселых роз!..
Подругу ль потерял, источник вечных слез,
Ступай ты в рощицу унылу,
Сядь на плачевную могилу,
Задумайся, вздохни — и друг души твоей,
Одетый ризою прозрачной, как туманом,
С прелестным взором, стройным станом,
Как нимфа легкая полей,
Прижмется с трепетом сердечным,
Прижмется ко груди пылающей твоей.
Стократ мы счастливы мечтаньем скоротечным!

Мечтанье есть душа поэтов и стихов.
И едкость сильная веков
Не может прелестей сокрыть Анакреона,
Любовь еще горит во Сафиных мечтах.
А ты, любимец Аполлона,
Лежащий на цветах
В забвеньи сладостном, меж нимф и нежных граций,
Певец веселия, Гораций,
Ты в песнях сладостно мечтал,
Мечтал среди пиршеств и шумных, и веселых
И смерть угрюмую цветами увенчал!
Найдем ли в истинах мы голых
Печальных стоиков и твердых мудрецов
Всю жизни бренной сладость?
От них эфирна радость
Летит, как бабочка от терновых кустов.
Для них прохлады нет и в роскоши природы;
Им девы не поют, сплетяся в хороводы;
Для них, как для слепцов,
Весна без прелестей и лето без цветов.
Увы, но с юностью исчезнут и мечтанья,
Исчезнут граций лобызанья!
Как светлые лучи на темных облаках,
Веселья на крылах
Дни юности стремятся:
Не долго на цветах
В беспечности валяться.
Весеннею порой

Лишь бабочка летает,
Амуров нежный рой
Морщин не лобызает.
Крылатые мечты
Не сыплют там цветы,
Где тусклый опытность светильник зажигает.

Счастливая мечта, живи, живи со мной!
Ни свет, ни славы блеск пустой
Даров твоих мне не заменят.
Глупцы пусть дорого сует блистанье ценят,
Лобзая прах златой у мраморных крыльцов!
Но счастию певцов
Удел есть скромна сень, мир, вольность
и спокойство.
Души поэтов свойство:
Идя забвения тропой,
Блаженство находить мечтой.
Их сердцу малость драгоценна:
Как бабочка влюбленна
Летает с травки на цветок,
Считая морем ручеек,
Так хижину свою поэт дворцом считает
И счастлив!.. Он мечтает.

1802 или 1803

ПОСЛАНИЕ К СТИХАМ МОИМ

Sifflez-moi librement, je vous le rends, mes frères.
Voltaire [1]

Стихи мои! опять за вас я принимаюсь!
С тех пор как с музами, к несчастью, обращаюсь,
Покою ни на час... О, мой враждебный рок!
Во сне и наяву Кастальский льется ток!
Но с страстию писать не я один родился:
Чуть стопы размерять кто только научился,
За славою бежит — и бедный рифмотвор

[1] Освистывайте меня без стеснения, собратья мои, я отвечу вам тем же. *Вольтер* (франц.). — *Ред.*

В награду обретет не славу, но позор.
Куда ни погляжу, везде стихи марают,
Под кровлей песенки и оды сочиняют.
И бедный Стукодей, что прежде был капрал,
Не знаю для чего, теперь поэтом стал:
Нет хлеба ни куска, а роскошь выхваляет
И грациям стихи голодный сочиняет;
Пьет воду, а вино в стихах льет через край;
Филису нам твердит: «Филиса, ты мой рай!»
Потом, возвысив тон, героев воспевает:
В стихах его и сам Суворов умирает!
Бедняга! удержись... брось, брось писать совсем!
Не лучше ли тебе маршировать с ружьем!
Плаксивин на слезах с ума у нас сошел:
Всё пишет, что друзей на свете не нашел!
Поверю: ведь с людьми нельзя ему ужиться,
И так не мудрено, что с ними он бранится.
Безрифмин говорит о милых... о сердцах...
Чувствительность души твердит в своих стихах;
Но книг его — увы! — никто не покупает,
Хотя и Глазунов в газетах выхваляет.
Глупон за деньги рад нам всякого бранить,
И даже он готов поэмой уморить.
Иному в ум придет, что вкус восстановляет:
Мы верим все ему — кругами утверждает!
Другой уже спешит нам драму написать,
За коей будем мы не плакать, а зевать.
А третий, наконец... Но можно ли помыслить —
Все глупости людей в подробности исчислить?..
Напрасный будет труд, но в нем и пользы нет:
Сатирою нельзя переменить нам свет.
Зачем с Глупоном мне, зачем всегда браниться?
Он также на меня готов вооружиться.
Зачем Безрифмину бумагу не марать?
Всяк пишет для себя: зачем же не писать?
Дым славы, хоть пустой, любезен нам, приятен;
Глас разума — увы! — к несчастию, не внятен.
Поэты есть у нас, есть скучные врали;
Они не вверх летят, не к небу, но к земли.

Давно я сам в себе, давно уже признался,
Что в мире, в тишине мой век бы провождался,

Когда б проклятый Феб мне не вскружил весь ум;
Я презрел бы тогда и славы тщетный шум
И жил бы так, как хан во славном Кашемире,
Не мысля о стихах, о музах и о лире.
Но нет... Стихи мои, без вас нельзя мне жить,
И дня без рифм, без стоп не можно проводить!
К несчастью моему, мне надобно признаться,
Стихи, как женщины: нам с ними ли расстаться?..
Когда не любят нас, хотим их презирать,
Но всё не престаем прекрасных обожать!

1804 или 1805

ЭЛЕГИЯ

Как счастье медленно приходит,
Как скоро прочь от нас летит!
Блажен, за ним кто не бежит,
Но сам в себе его находит!
В печальной юности моей
Я был счастли́в — одну минуту,
Зато, увы! и горесть люту
Терпел от рока и людей!
Обман надежды нам приятен,
Приятен нам хоть и на час!
Блажен, кому надежды глас
В самом несчастьи сердцу внятен!
Но прочь уже теперь бежит
Мечта, что прежде сердцу льстила;
Надежда сердцу изменила,
И вздох за нею вслед летит!
Хочу я часто заблуждаться,
Забыть неверную... но нет!
Несносной правды вижу свет,
И должно мне с мечтой расстаться!
На свете всё я потерял,
Цвет юности моей увял:
Любовь, что счастьем мне мечталась,
Любовь одна во мне осталась!

1804 или 1805

ПОСЛАНИЕ К ХЛОЕ

Подражание

Решилась, Хлоя, ты со мною удалиться
И в мирну хижину навек переселиться.
Веселий шумных мы забудем дым пустой:
Он скуку завсегда ведет лишь за собой.
За счастьем мы бежим, но редко достигаем,
Бежим за ним вослед — и в пропасть упадаем!
Как путник, огнь в лесу когда блудящий зрит,
Стремится к оному, но призрак прочь бежит,
В болота вязкие его он завлекает
И в страшной тишине в пустыне исчезает, —
Таков и человек! Куда ни бросим взгляд,
Узрим тотчас, что он и в счастии не рад.
Довольны все умом, фортуною — нимало.
Что нравилось сперва, теперь то скучно стало;
То денег, то чинов, то славы он желает,
Но славы посреди и денег он — зевает!
Из хижины своей брось, Хлоя, взгляд на свет:
Четыре бьет часа — и кончился обед:
Из дому своего Глицера поспешает,
Чтоб ехать — а куда? — беспечная не знает.
Карета подана, и лошади уж мчат.
«Постой!» — она кричит, и лошади стоят.
К Лаисе входит в дом, Лаису обнимает,
Садится, говорит о модах — и зевает;
О времени потом, о карточной игре,
О лентах, о пере, о платье и дворе.
Окончив разговор, который истощился,
От скуки уж поет. Глупонов тут явился,
Надутый, как павлин, с пустою головой,
Глядится в зеркало и шаркает ногой.
Вдруг входит Брумербас; всё в зале замолкает.
Вступает в разговор и голос возвышает:
«Париж я верно б взял, — кричит из всех он сил, —
И Амстердам потом, гишпанцев бы разбил...»
Тут вспыхнет, как огонь, затопает ногами,
Пойдет по комнате широкими шагами;
Вообразит себе, что неприятель тут,
Что режут, что палят, кричат «ура!» и жгут.
Заплюет всем глаза герой наш плодовитый,

Но вдруг смиряется и бросит взгляд сердитый;
Начнет рассказывать, как турка задавил,
Как роту целую янычаров убил,
Турчанки нежные в него как все влюблялись,
Как турки в полону от злости запыхались,
И битые часа он три проговорит!..
Никто не слушает, а он кричит, кричит!
Но в зале разговор тут общим становится,
Всяк хочет говорить и хочет отличиться,
Какой ужасный шум! Нельзя ничто понять,
Нельзя и клевету от правды различать.
Но вдруг прервали крик и вдруг все замолчали,
Ни слова не слыхать! Немыми будто стали.
Придите, карты, к нам: все спят уже без вас!
Без карт покажется за век один и час.
К зеленому столу все гости прибегают
И жадность к золоту весельем прикрывают.
Окончили игру и к ужину спешат,
Смеются за столом, с соседом говорят:
И бедный человек живее становится,
За пищей, кажется, он вновь переродится.
Какой я слышу здесь чуднейший разговор!
Какие глупости! какая ложь и вздор!
Педант бранит войну и вместе мир ругает,
Сердечкин тут стихи любовные читает,
Тут старые Бурун нам новости твердит,
А здесь уже Глупон от скуки чуть не спит!
И так-то, Хлоя, век свой люди провождают,
И так-то целый день в бездействии теряют,
День долгий, тягостный ленивому глупцу,
Но краткий, напротив, полезный мудрецу.
Сокроемся, мой друг, и навсегда простимся
С людьми и с городом: в деревне поселимся,
Под мирной кровлею дни будем провождать:
Как сладко тишину по буре нам вкушать!

1804 или 1805

ПЕРЕВОД 1-й САТИРЫ БОАЛО

Бедняга и поэт, и нелюдим несчастный,
Дамон, который нас стихами всё морил,
Дамон, теперь презрев и славы шум напрасный,
Заимодавцев всех своих предупредил.
Боясь судей, тюрьмы, он в бегство обратился,
Как новый Диоген, надел свой плащ дурной,
Как рыцарь, посохом своим вооружился
И, связку навязав сатир, понес с собой.
Но в тот день, из Москвы как в путь он собирался,
Кипя досадою и с гневом на глазах,
Бледнее, чем Глупон, который проигрался,
Свой гнев истощевал почти что в сих словах:
«Возможно ль здесь мне жить? Здесь честности не знают!
Проклятая Москва! Проклятый скучный век!
Пороки все тебя лютейши поглощают,
Незнаем и забыт здесь честный человек.
С тобою должно мне навеки распроститься,
Бежать от должников, бежать из всех мне ног
И в тихом уголке надолго притаиться.
Ах! если б поскорей найти сей уголок!..
Забыл бы в нем людей, забыл бы их навеки.
Пока дней парка нить еще моих прядет,
Спокоен я бы был, не лил бы слезны реки.
Пускай за счастием, пускай иной идет,
Пускай найдет его Бурун с кривой душою,
Он пусть живет в Москве, но здесь зачем мне жить?
Я людям ввек не льстил, не хвастал и собою,
Не лгал, не сплетничал, но чтил, что должно чтить.
Святая истина в стихах моих блистала
И музой мне была, но правда глаз нам жжет.
Зато фортуна мне, к несчастью, не ласкала.
Богаты подлецы, что заполняют свет,
Вооружились все против меня и гнали
За то, что правду я им вечно говорил.
Глупцы не разумом, не честностью блистали,
Но золотом одним. А я чтоб их хвалил!..
Скорее я почту простого селянина,
Который пóтом хлеб кропит насущный свой,
Чем этого глупца, большого господина,

С презреньем давит что людей на мостовой!
Но кто тебе велит (все скажут мне) браниться?
Немудрено, что ты в несчастии живешь;
Тебе никак нельзя, поверь, с людьми ужиться:
Ты беден, чином мал — зачем же не ползешь?
Смотри, как Сплетнин здесь тотчас обогатился,
Он князем уж давно... Таков железный век:
Кто прежде был в пыли, тот в знати очутился!
Фортуна ветрена, и этот человек,
Который в золотой карете разъезжает,
Без помощи ее на козлах бы сидел
И правил лошадьми, — теперь повелевает,
Теперь он славен стал и сам в карету сел.
А между тем Честон, который не умеет
Стоять с почтением в лакейской у бояр,
И беден, и презрен, ступить шага не смеет;
В грязи замаран весь, он терпит холод, жар.
Бедняга с честностью забыт людьми и светом:
Итак, не лучше ли в стихах нам всех хвалить?
Зато богатым быть, в покое жить нагретом,
Чем добродетелью своей себя морить?
То правда, государь нам часто помогает
И музу спящую, лишь взглянет, — оживит,
Он Феба из тюрьмы нередко извлекает.
Чего не может царь!.. Захочет — и творит.
Но Мецената нет, увы! — и Август дремлет.
Притом захочет ли мне кто благотворить?
Кто участь в жалобах несчастного приемлет,
И можно ли толпу просителей пробить,
Толпу несносную сынов несчастных Феба?
За оду просит тот, сей песню сочинил,
А этот — мадригал. Проклятая от неба,
Прямая саранча! Терпеть нет боле сил!..
И лучше во сто раз от них мне удалиться.
К чему прибегнуть мне? Не знаю, что начать?
Судьею разве быть, в приказные пуститься?
Судьею?.. Боже мой! Нет, этому не быть!
Скорее Стукодей бранить всех перестанет,
Скорей любовников Лаиса отошлет
И мужа своего любить как мужа станет,
Скорей Глицера свой, скорей язык уймет,
Чем я пойду в судьи! Не вижу средства боле,

Как прочь отсюдова сейчас же убежать
И в мире тихо жить в моей несчастной доле,
В Москву проклятую опять не заезжать.
В ней честность с счастием всегда почти бранится,
Порок здесь царствует, порок здесь властелин,
Он в лентах, в орденах повсюду ясно зрится,
Забыта честность, но фортуны милый сын,
Хоть плут, глупец, злодей, в богатстве утопает,
И даже он везде... Не смею говорить...
Какого стоика сие не раздражает?
Кто может, не браня, здесь целый век прожить?
Без Феба всякий здесь хорошими стихами
Опишет город вам, и в гневе стихотвор
На гору не пойдет Парнас с двумя холмами.
Он правдой удивит без вымыслов убор.
«Потише, — скажут мне, — зачем там горячиться?
Зачем так свысока? Немного удержись!
Ведь в гневе пользы нет: не лучше ли смириться?
А если хочешь врать, на кафедру взберись,
Там можно говорить и хорошо, и глупо,
Никто не сердится, спокойно всякий спит.
На правду у людей, поверь мне, ухо тупо».
Пусть светски мудрецы, пусть так все рассуждают!
Противен, знаю, им всегда был правды свет.
Они любезностью пороки закрывают,
Для них священного и в целом мире нет.
Любезно дружество, любезна добродетель,
Невинность чистая, любовь, краса сердец,
И совесть самая, всех наших дел свидетель,
Для них — мечта одна! Постой, о лжемудрец!
Куда влечешь меня? Я жить хочу с мечтою.
Постой! Болезнь к тебе, я вижу, смерть ведет,
Уж крылия ее простерты над тобою.
Мечта ли то теперь? Увы, к несчастью, нет!
Кого переменю моими я словами?
Я верю, что есть ад, святые, дьявол, рай,
Что сам Илья гремит над нашими главами.
А здесь в Москве... Итак, прощай, Москва,
прощай!..

1804 или 1805

К ФИЛИСЕ

Подражание Грессету

> Qu'heureux est le mortel qui, du monde ignoré,
> Vit content de lui-même en un coin retiré,
> Que l'amour de ce rien qu'on nomme renommée
> N'a jamais enivré d'une vaine fumée...[1]

Что скажу тебе, прекрасная,
Что скажу в моем послании?
Ты велишь писать, Филиса, мне,
Как живу я в тихой хижине,
Как я строю замки в воздухе,
Как ловлю руками счастие.
Ты велишь — и повинуюся.

Ветер воет всюду в комнате
И свистит в моих окончинах,
Стулья, книги — всё разбросано:
Тут Вольтер лежит на Библии,
Календарь на философии.
У дверей моих мяучит кот,
А у ног собака верная
На него глядит с досадою.
Посторонний, кто взойдет ко мне,
Верно скажет: «Фебом проклятый,
Здесь живет поэт в унынии».
Правда, что воображение
Убирает всё рукой своей,
Сыплет розаны на терние,
И поэт с душой спокойною
Веселее Креза с золотом.
Независимость любезную
Потерять на цепь золочену!..
Я счастлив в моей беспечности,
Презираю гордость глупую,
Не хочу кумиру кланяться
С кучей глупых обожателей.
Пусть змиею изгибаются

---

[1] Блажен смертный, который, неведомый миру, живет, довольный самим собой, в укромном уголке, которому любовь к тому тлену, что зовется славой, никогда не кружила головы своим суетным угаром (франц.). — *Ред.*

Твари подлые, презренные,
Пусть слова его оракулом
Чтут невежды и со трепетом
Мановенья ждут руки его!

Как пылинка вихрем поднята,
Как пылинка вихрем брошена,
Так и счастье наше чудное
То поднимет, то опустит вдруг.
Часто бегал за фортуною
И держал ее в руках моих:
Чародейка ускользнула тут
И оставила колючий терн.
Славу, почести мы призраком
Называем, если нет у нас;
Но найдем — прощай, мечтание!
Чашу с ними пьем забвения
(Суета всегда прелестна нам),
И мудрец забудет мудрость всю.
Что же делать нам?.. Бранить людей?..
Нет, найти святое дружество,
Жить покойно в мирной хижине;
Нелюдим пусть ненавидит нас:
Он несчастлив — не завидую.

Страх и ужас на лице его,
Ходит он с главой потупленной,
И спокойствие бежит его!
Нежно дружество с улыбкою
Не согреет сердца хладного,
И слеза его должна упасть,
Не отертая любовию!

Посмотри, Дамон как мудрствует:
Он находит зло единое.
«Добродетель, — говорит Дамон, —
Добродетель — суета одна,
Добродетель — призрак слабых душ.
Предрассудок в мире царствует,
Людям всем он ослепил глаза».

Он недолго будет думать так,
Хладна смерть к нему приближится:
Он увидит заблуждение,
Он увидит. Совесть страшная
Прилетит к нему тут с зеркалом;
Волоса ее растрепаны,
На глазах ее отчаянье,
А в устах — упреки, жалобы.
Полно! Бросим лучше дале взгляд.

Посмотри, как здесь беспечная
В скуке дни влечет Аталия.
День настанет — нарумянится,
Раза три зевнет — оденется.
«Ах!.. зачем так время медленно!» —
Скажет тут в душе беспечная,
Скажет с вздохом и заснет еще!

Бурун ищет удовольствия,
Ездит, скачет... увы! — нет его!
Оно там, где Лиза нежная
Скромно, мило улыбается?..
Он приходит к ней — но нет его!..
Скучной Лиза ему кажется.
Так в театре, где комедия
Нас смешит и научает вдруг?
Но и там, к несчастью, нет его!
Так на бале?.. Не найдешь его:
Оно в сердце должно жить у нас...

Сколько в час один бумаги я
Исписал к тебе, любезная!
Всё затем, чтоб доказать тебе,
Что спокойствие есть счастие,
Совесть чистая — сокровище,
Вольность, вольность — дар святых небес.

Но уж солнце закатилося,
Мрак и тени сходят на землю,
Красный месяц с свода ясного
Тихо льет свой луч серебряный,

Тихо льет, но черно облако
Помрачает светлый луч луны,
Как печальны вспоминания
Помрачают нас в веселый час.

В тишине я ночи лунныя
Как люблю с тобой беседовать!
Как приятно мне в молчании
Вспоминать мечты прошедшие!
Мы надеждою живем, мой друг,
И мечтой одной питаемся.
Вы, богини моей юности,
Будьте, будьте навсегда со мной!

Так, Филиса моя милая,
Так теперь, мой друг, я думаю.
Я счастлив — моим спокойствием,
Я счастлив — твоею дружбою...

1804 или 1805

БОГ

На вечном троне ты средь облаков сидишь
И сильною рукой гром мещешь и разишь.
Но бури страшные и громы ты смиряешь
И благость на земли реками изливаешь.
Начало и конец, средина всех вещей!
Во тьме ты ясно зришь и в глубине морей.
Хочу постичь тебя, хочу — не постигаю.
Хочу не знать тебя, хочу — и обретаю.

Везде могущество твое напечатленно.
Из сильных рук твоих родилось всё нетленно.
Но всё здесь на земли приемлет вид другой:
И мавзолеи где гордилися собой,
И горы вечные где пламенем курились,
Там страшные моря волнами вдруг разлились;
Но прежде море где шумело в берегах,
Сияют класы там златые на полях
И дым из хижины пастушечьей курится.

Велишь — и на земли должно всё измениться,
Велишь — как в ветер прах, исчезнет смертных род!
Всесильного чертог, небесный чистый свод,
Где солнце, образ твой, в лазури нам сияет
И где луна в ночи свет тихий проливает,
Туда мой скромный взор с надеждою летит!
Безбожный лжемудрец в смущеньи на вас зрит.
Он в мрачной хижине тебя лишь отвергает:
В долине, где журчит источник и сверкает,
В ночи, когда луна нам тихо льет свой луч,
И звезды ясные сияют из-за туч,
И филомелы песнь по воздуху несется, —
Тогда и лжемудрец в ошибке признается.
Иль на горе когда ветр северный шумит,
Скрипит столетний дуб, ужасно гром гремит,
Паляща молния по облаку сверкает,
Тут в страхе он к тебе, всевышний, прибегает,
Клянет тебя, клянет и разум тщетный свой,
И в страхе скажет он: «Смиряюсь пред тобой!
Тебя — тварь бренная — еще не понимаю,
Но что ты милостив, велик, теперь то знаю!»

1804 или 1805

К МАЛЬВИНЕ

Ах! чем красавицу мне должно,
Как не цветочком, подарить?
Ее, без всякой лести, можно
С приятной розою сравнить.

Что розы может быть славнее?
Ее Анакреон воспел.
Что розы может быть милее?
Амур из роз венок имел.

Ах, мне ль твердить, что вянут розы,
Что мигом их краса пройдет,
Что, лишь появятся морозы,
Листок душистый опадет,

Но что же, милая, и вечно
В печальном мире сем цветет?
Не только розы скоротечно,
И жизнь — увы! — и жизнь пройдет.

Но грации пока толпою
Тебе, Мальвина, вслед идут,
Пока они еще с тобою
Играют, пляшут и поют,

Пусть розы нежные гордятся
На лилиях груди твоей!
Ах, смею ль, милая, признаться?
Я розой умер бы на ней.

<1805>

ПОСЛАНИЕ К Н. И. ГНЕДИЧУ

Что делаешь, мой друг, в полтавских ты степях
И что в стихах
Украдкой от друзей на лире воспеваешь?
С Фингаловым певцом мечтаешь
Иль резвою рукой
Венок красавице сплетаешь?
Поешь мечты, любовь, покой,
Улыбку томныя Корины
Иль страстный поцелуй шалуньи Зефирины?
Все, словом, прелести Цитерских уз —
Они так дороги воспитаннику муз —
Поешь теперь, а твой на Севере приятель,
Веселий и любви своей летописатель,
Беспечность полюбя, забыл и Геликон.
Терпенье и труды ведь любит Аполлон —
А друг твой славой не прельщался,
За бабочкой, смеясь, гонялся,
Красавицам стихи любовные шептал
И, глядя на людей — на пестрых кукл — мечтал:
«Без скуки, без забот не лучше ль жить с друзьями,
Смеяться с ними и шутить,
Чем исполинскими шагами

За славой побежать и в яму поскользить?»
Охоты, право, не имею
Чрез то я сделаться смешным
И умным, и глупцам, и злым,
Иль, громку лиру взяв, пойти вослед Алкею,
Надувшись пузырем, родить один лишь дым,
Как Рифмин, закричать: «Ликуй, земля, со мною!
Воспряньте, камни, лес! Зрю муз перед собою!
Восторг! Лечу на Пинд!.. Простите, что упал:
Ведь я Пиндару подражал!»
Что в громких песнях мне? Доволен я мечтами,
В покойном уголке тихонько притаясь,
Но с светом вовсе не простясь:
Играя мыслями, я властвую духами.

Мы, право, не живем
На месте всё одном,
Но мыслями летаем;
То в Африку плывем,
То на развалинах Пальмиры побываем,
То трубку выкурим с султаном иль пашой,
Или, пленяся вдруг султановой женой,
Фатимой томной, молодой,
Тотчас дарим его рогами;
Смеемся муфтию, деремся с визирями,
И после, убежав (кто в мыслях не колдун?),
Увидим стройных нимф, услышим звуки струн,
И где ж очутимся? На бале и в Париже!
И так мечтанием бываем к счастью ближе,
А счастие лишь там живет,
Где нас, безумных, нет.
Мы сказки любим все, мы — дети, но большие.
Что в истине пустой? Она лишь ум сушит,
Мечта всё в мире золотит,
И от печали злыя
Мечта нам щит.
Ах, должно ль запретить и сердцу забываться,
Поэтов променя на скучных мудрецов!
Поэты не дают с фантазией расстаться,
Мы с ними посреди Армидиных садов,
В прохладе рощ тенистых,
Внимаем пению Орфеев голосистых.

При шуме ветерков на розах нежных спим
И возле нимф вздыхаем,
С богами даже говорим,
А с мудрецами лишь болтаем,
Браним несчастный мир да, рассердясь... зеваем.

. . . .

Так, сердце может лишь мечтою услаждаться!
Оно всё хочет оживить:
В лесу на утлом пне друидов находить,
Укрывшихся под ель, рукой времян согбенну;
Услышать барда песнь священну,
С Мальвиною вздохнуть на берегу морском
О ратнике младом.
Всё сердцу в мире сем вещает.
И гроб безмолвен не бывает,
И камень иногда пустынный говорит:
«Герой здесь спит!»

Так, сердцем рождена, поэзия любезна,
Как нектар сладостный, приятна и полезна.
Язык ее — язык богов;
Им дивный говорил Омир, отец стихов.
Язык сей у творца берет Протея виды.
Иной поет любовь: любимец Афродиты,
С свирелью тихою, с увенчанной главой,
Вкушает лишь покой,
Лишь радости одни встречает
И розами стезю сей жизни устилает.
Другой,
Как славный Тасс, волшебною рукой
Являет дивный храм природы
И всех чудес ее тьмочисленные роды:
Я зрю то мрачный ад,
То счастия чертог, Армидин дивный сад;
Когда же он дела героев прославляет
И битвы воспевает,
Я слышу треск и гром, я слышу стон и крик...
Таков поэзии язык!

Не много ли с тобой уж я заговорился?
Я чересчур болтлив: я с Фебом подружился,
А с ним ли бедному поэту сдобровать?

Но, чтоб к концу привесть начатое маранье,
Хочу тебе сказать,
Что пременить себя твой друг имел старанье,
Увы, и не успел! Прими мое признанье!
Никак я не могу *одним* доволен быть,
И лучше розы мне на терны пременить,
Чем розами всегда одними восхищаться.
Итак, не должно удивляться,
Что ветреный твой друг —
Поэт, любовник вдруг
И через день потом философ с грозным тоном,
А больше дружен с Аполлоном,
Хоть и нейдет за славы громом,
Но пишет всё стихи,
Которы за грехи,
Краснеяся, друзьям вполголоса читает
И первый сам от них зевает.

Первая половина 1805

‹НА СМЕРТЬ И. П. ПНИНА›

Que vois-je, c'en est fait;
je t'embrasse, et tu meurs.
Voltaire [1]

Где друг наш? Где певец? Где юности красы?
Увы, исчезло всё под острием косы!
Любимца нежных муз осиротела лира,
Замолк певец: он был, как мы, лишь странник
мира!
Нет друга нашего, его навеки нет!
Недолго мир им украшался:
Завял, увы, как майский цвет,
И жизни на заре с друзьями он расстался!

Пнин чувствам дружества с восторгом предавался;
Несчастным не одно он золото дарил...
Что в золоте одном? Он слезы с ними лил.

[1] Что вижу я, все кончено; я тебя обнимаю, и ты умираешь. *Вольтер* (франц.). — *Ред.*

Пнин был согражданам полезен,
Пером от злой судьбы невинность защищал,
В беседах дружеских любезен,
Друзей в родных он обращал.

И мы теперь, друзья, вокруг его могилы
Объемлем только хладный прах,
Твердим с тоской и во слезах:
Покойся в мире, друг наш милый,
Питомец граций, муз, ты жив у нас в сердцах!

Когда в последний раз его мы обнимали,
Казалось, с нами мир грустил,
И сам Амур в печали
Светильник погасил:
Не кипарисну ветвь унылу,
Но розу на его он положил могилу.

Сентябрь 1805

СОВЕТ ДРУЗЬЯМ

Faut-il être tant volage,
Ai-je dit au doux plaisir...[1]

Подайте мне свирель простую,
Друзья! и сядьте вкруг меня
Под эту вяза тень густую,
Где свежесть дышит среди дня;
Приближьтесь, сядьте и внемлите
Совету музы вы моей:
Когда счастливо жить хотите
Среди весенних кратких дней,
Друзья! оставьте призрак славы,
Любите в юности забавы
И сейте розы на пути.
О юность красная! цвети!

---

[1] Нужно ли быть столь мимолетным? — сказал я сладостному наслаждению (франц.). — *Ред.*

И, током чистым окропленна,
Цвети хотя немного дней,
Как роза, миртом осененна,
Среди смеющихся полей;
Но дай нам жизнью насладиться,
Цветы на тернах находить!
Жизнь — миг! не долго веселиться,
Не долго нам и в счастьи жить!
Не долго — но печаль забудем,
Мечтать во сладкой неге будем:
Мечта — прямая счастья мать!
Ах! должно ли всегда вздыхать
И в майский день не улыбаться?
Нет, станем лучше наслаждаться,
Плясать под тению густой
С прекрасной нимфой молодой,
Потом, обняв ее рукою,
Дыша любовию одною,
Тихонько будем воздыхать
И сердце к сердцу прижимать.

Какое счастье! Вакх веселый
Густое здесь вино нам льет,
А тут в одежде тонкой, белой
Эрата нежная поет:
Часы крылаты! не летите,
Ах! счастье мигом хоть продлите!

Но нет! бегут счастливы дни,
Бегут, летят стрелой они;
Ни лень, ни сердца наслажденья
Не могут их сдержать стремленья,
И время сильною рукой
Губит и радость, и покой!

Луга веселые, зелены!
Ручьи прозрачны, милый сад!
Ветвисты ивы, дубы, клены,
Под тенью вашею прохлад
Ужель вкушать не буду боле?
Ужели скоро в тихом поле
Под серым камнем стану спать?

И лира, и свирель простая
На гробе будут там лежать!
Покроет их трава густая,
Покроет, и ничьей слезой
Прах хладный мой не окропится!
Ах! должно ль мне о том крушиться?
Умру, друзья! — и всё со мной!
Но парки темною рукою
Прядут, прядут дней тонку нить. . .
Коринна и друзья со мною, —
О чем же мне теперь грустить?

Когда жизнь наша скоротечна,
Когда и радость здесь не вечна,
То лучше в жизни петь, плясать,
Искать веселья и забавы
И мудрость с шутками мешать,
Чем, бегая за дымом славы,
От скуки и забот зевать.

<1806>

К ГНЕДИЧУ

Только дружба обещает
Мне бессмертия венок;
Он приметно увядает,
Как от зноя василек.
Мне оставить ли для славы
Скромную стезю забавы?
Путь к забавам проложен,
К славе тесен и мудрен!
Мне ль за призраком гоняться,
Лавры с скукой собирать?
Я умею наслаждаться,
Как ребенок всем играть,
И счастлив! . . Досель цветами
Путь ко счастью устилал,
Пел, мечтал, подчас стихами
Горесть сердца услаждал.

Пел от лени и досуга;
Муза мне была подруга;
Не был ей порабощен.
А теперь — весна, как сон
Легкокрылый, исчезает
И с собою увлекает
Прелесть песней и мечты!
Нежны мирты и цветы,
Чем прелестницы венчали
Юного певца, — завяли!
Ах! ужели наградит
Слава счастия утрату
И ко дней моих закату
Как нарочно прилетит?

1806

‹Н. И. ГНЕДИЧУ›

По чести, мудрено в санях или верхом,
Когда кричат: «марш, марш, слушáй!» кругом,
Писать тебе, мой друг, посланья...
Нет! Музы, убоясь со мной свиданья,
Честненько в Петербург иль бог знает куда
Изволили сокрыться.
А мне без них беда!
Кто волком быть привык, тому не разучиться
По-волчьи и ходить, и лаять завсегда.
Частенько, погрузясь в священну думу,
Не слыша барабанов шуму
И крику резкого осанистых стрелков,
Я крылья придаю моей ужасной кляче
И прямо — на Парнас! — или иначе,
Не говоря красивых слов,
Очутится пред мной печальная картина:
Где ветр со всех сторон в разбиты окна дует
И где любовницу, нахмурясь, кот целует,
Там финна бедного сума
С усталых плеч валится,
Несчастный к уголку садится

И, слезы утерев раздранным рукавом,
Догладывает хлеб мякинный и голодный...
Несчастный сын страны холодной!
Он с голодом, войной и русскими знаком!

Март 1807

ПАСТУХ И СОЛОВЕЙ

Басня

Владиславу Александровичу Озерову

Любимец строгой Мельпомены,
Прости усердный стих безвестному певцу!
Не лавры к твоему венцу,
Рукою дерзкою сплетенны,
Я в дар тебе принес. К чему мой фимиам
Творцу «Димитрия», кому бессмертны музы,
Сложив признательности узы,
Открыли славы храм?
А храм сей затворен для всех зоилов строгих,
Богатых завистью, талантами убогих.
Ах, если и теперь они своей рукой
Посмеют к твоему творенью прикасаться,
А ты, наш Эврипид, чтоб позабыть их рой,
Захочешь с музами расстаться
И боле не писать,
Тогда прошу тебя рассказ мой прочитать.

Пастух, задумавшись в ночи безмолвной мая,
С высокого холма вокруг себя смотрел,
Как месяц в тишине великолепно шел,
Лучом серебряным долины освещая,
Как в рощах липовых чуть легким ветерком
Листы колеблемы шептали
И светлые ручьи, почив с природой сном,
Едва меж берегов струей своей мелькали.
Из рощи соловей
Долины оглашал гармонией своей,
И эхо песнь его холмам передавало.
Всё душу пастуха задумчиво пленяло,

Как вдруг певец любви на ветвях замолчал.
Напрасно наш пастух просил о песнях новых.
Печальный соловей, вздохнув, ему сказал:
«Недолго в рощах сих дубовых
Я радость воспевал!
Пройдет и петь охота,
Когда с соседнего болота
Лягушки кваканьем как бы назло глушат;
Пусть эта тварь поет, а соловьи молчат!»
«Пой, нежный соловей, — пастух сказал Орфею, —
Для них ушей я не имею.
Ты им молчаньем петь охоту придаешь:
Кто будет слушать их, когда ты запоешь?»

Весна 1807

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ

Как ландыш под серпом убийственным жнеца
Склоняет голову и вянет,
Так я в болезни ждал безвременно конца
И думал: парки час настанет.
Уж очи покрывал Эреба мрак густой,
Уж сердце медленнее билось:
Я вянул, исчезал, и жизни молодой,
Казалось, солнце закатилось.
Но ты приближилась, о жизнь души моей,
И алых уст твоих дыханье,
И слезы пламенем сверкающих очей,
И поцелуев сочетанье,
И вздохи страстные, и сила милых слов
Меня из области печали —
От Орковых полей, от Леты берегов —
Для сладострастия призвали.
Ты снова жизнь даешь; она твой дар благой,
Тобой дышать до гроба стану.
Мне сладок будет час и муки роковой:
Я от любви теперь увяну.

Июнь или июль 1807

СОН МОГОЛЬЦА

Басня

Могольцу снилися жилища Елисейски:
Визирь блаженный в них
За добрые дела житейски,
В числе угодников святых,
Покойно спал на лоне гурий.
Но сонный видит ад,
Где, пламенем объят,
Терзаемый бичами фурий,
Пустынник испускал ужасный вопль и стон.
Моголец в ужасе проснулся,
Не ведая, что значит сон.
Он думал, что пророк в сих мертвых обманулся
Иль тайну для него скрывал;
Тотчас гадателя призвал,
И тот ему в ответ: «Я не дивлюсь нимало,
Что в снах есть разум, цель и склад.
Нам небо и в мечтах премудрость завещало...
Сей праведник, визирь, оставя двор и град,
Жил честно и всегда любил уединенье, —
Пустынник на поклон таскался к визирям».

С гадателем сказав, что значит сновиденье,
Внушил бы я любовь к деревне и полям.
Обитель мирная! в тебе успокоенье
И все дары небес даются щедро нам.

Уединение, источник благ и счастья!
Места любимые! ужели никогда
Не скроюсь в вашу сень от бури и ненастья?
Блаженству моему настанет ли чреда?
Ах! кто остановит меня под мрачной тенью?
Когда перенесусь в священные леса?
О музы! сельских дней утеха и краса!
Научите ль меня небесных тел теченью?
Светил блистающих несчетны имена
Узнаю ли от вас? Иль, если мне дана
Способность малая и скудно дарованье,
Пускай пленит меня источников журчанье.

И я любовь и мир пустынный воспою!
Пусть парка не прядет из злата жизнь мою
И я не буду спать под бархатным наметом:
Ужели через то я потеряю сон?
И меньше ль по трудах мне будет сладок он,
Зимой — близ огонька, в тени древесной — летом?
Без страха двери сам для парки отопру,
Беспечно век прожив, спокойно и умру.

<1808>

‹Н. И. ГНЕДИЧУ›

Прерву теперь молчанья узы
Для друга сердца моего.
Давно ты от ленивой музы,
Давно не слышал ничего.
И можно ль петь моей цевнице
В пустыне дикой и пустой,
Куда никак нельзя царице
Поэзии прийти младой?
И мне ли петь под гнетом рока,
Когда меня судьба жестока
Лишила друга и родни?..

Пусть хладные сердца одни
Средь моря бедствий засыпают
И взор спокойно обращают
На гробы ближних и друзей,
На смерть, на клевету жестоку,
Ползущу низкою змией,
Чтоб рану нанести жестоку
И непорочности самой.
Но мне ль с чувствительной душой
Быть в мире зол спокойной жертвой
И клеветы, и разных бед?..
Увы! я знаю, что сей свет
Могилой создан нам отверстой,
Куда падет, сражен косой,
И царь с венчанною главой,
И пастырь, и монах, и воин!

Ужели я один достоин
И вечно жить, и быть блажен?

Увы! здесь всяк отягощен
Ярмом печали и цепями,
Которых нам по смерть руками,
Столь слабыми, нельзя сложить.
Но можно ль их, мой друг, влачить
Без слез, не сокрушась душевно?
Скорее морем льзя безбедно
На валкой ладие проплыть,
Когда Борей расширит крылы,
Без вéтрил, снастей и кормила,
И к небу взор не обратить...

Я плачу, друг мой, здесь с тобою,
А время молнией летит.
Уж месяц светлый надо мною
Спокойно в озеро глядит,
Всё спит под кровом майской нощи,
Едва ли водопад шумит,
Безмолвен дол, вздремали рощи,
В которых луч луны скользит
Сквозь ветки, на землю склоненны.
И я, Морфеем удрученный,
Прерву цевницы скорбный глас
И, может, в полуночный час
Тебя в мечте, мой друг, познаю
И раз еще облобызаю...

Между маем и 1 июля 1808

К ТАССУ [1]

Позволь, священна тень, безвестному певцу
Коснуться к твоему бессмертному венцу
И сладость пения твоей авзонской музы,
Достойной берегов прозрачной Аретузы,

---

[1] Сие послание предположено было напечатать в заглавии перевода «Освобожденного Иерусалима».

Рукою слабою на лире повторить
И новым языком с тобою говорить![1]

Среди Элизия близ древнего Омира
Почиет тень твоя, и Аполлона лира
Еще согласьем дух поэта веселит.
Река забвения и пламенный Коцит
Тебя с любовницей, о Тасс, не разлучили:[2]
В Элизии теперь вас музы съединили,
Печали нет для вас, и скорбь протекших дней,
Как сладостну мечту, объемлете душей...
Торквато, кто испил все горькие отравы
Печалей и любви и в храм бессмертной славы,
Ведомый музами, в дни юности проник, —
Тот преждевременно несчастлив и велик![3]
Ты пел, и весь Парнас в восторге пробудился,
В Феррару с музами Феб юный ниспустился,
Назонову тебе он лиру *сам* вручил,
И гений крыльями бессмертья осенил.
Воспел ты бурну брань, и бледны эвмениды
Всех ужасов войны открыли мрачны виды:
Бегут среди полей и топчут знамена,
Светильником вражды их ярость разжена,
Власы растрепанны и ризы обагренны,
Я сам среди смертей... и Марс со мною медный...
Но ужасы войны, мечей и копий звук
И гласы Марсовы как сон исчезли вдруг:
Я слышу вдалеке пастушечьи свирели,
И чувствия душой иные овладели..
Нет более вражды, и бог любви младой
Спокойно спит в цветах под миртою густой.
Он встал, и меч опять в руке твоей блистает!
Какой Протей тебя, Торквато, пременяет,
Какой чудесный бог чрез дивные мечты
Рассеял мрачные и нежны красоты?

---

[1] Кажется, до сих пор у нас нет перевода Тассовых творений в стихах.

[2] Торквато был жертвою любви и зависти. Всем любителям словесности известна жизнь его.

[3] Тасс десяти лет от роду писал стихи и, будучи принужден бежать из Неаполя с отцом своим, сравнивал себя с молодым Асканием. До тридцатилетнего возраста кончил он бессмертную поэму Иерусалима, написал «Аминту», много рассуждений о словесности и пр.

То скиптр в его руках или перун зажженный,
То розы юные, Киприде посвященны,
Иль факел эвменид, иль луч златой любви.
В глазах его — любовь, вражда — в его крови;
Летит, и я за ним лечу в пределы мира,
То в ад, то на Олимп! У древнего Омира
Так шаг один творил огромный бог морей
И досягал другим краев подлунной всей.
Армиды чарами, средь моря сотворенной,
Здесь тенью миртовой в долине осененной,
Ринальд, младой герой, забыв воинский глас,
Вкушает прелести любови и зараз...
А там что зрят мои обвороженны очи?
Близ стана воинска, под кровом черной ночи,
При зареве бойниц, пылающих огнем,
Два грозных воина, вооружась мечом,
Неистовой рукой струят потоки крови...
О, жертва ярости и плачущей любови!..
Постойте, воины!.. Увы!.. один падет...
Танкред в враге своем Клоринду узнает,
И морем слез теперь он платит, дерзновенный,
За каплю каждую сей крови драгоценной...[1]

Что ж было для тебя наградою, Торкват,
За песни стройные? Зоилов острый яд,
Притворная хвала и ласки царедворцев,
Отрава для души и самых стихотворцев.
Любовь жестокая, источник зол твоих,
Явилася тебе среди палат златых,
И ты из рук ее взял чашу ядовиту,
Цветами юными и розами увиту,
Испил и, упоен любовною мечтой,
И лиру, и себя поверг пред красотой.
Но радость наша — ложь, но счастие — крылато;
Завеса раздрана! Ты узник стал, Торквато!
В темницу мрачную ты брошен, как злодей,
Лишен и вольности, и Фебовых лучей.

---

[1] Gli occhi tuoi pagheran...
Di quel sangue ogni stilla un mar di pianto.
La Gierusalemme. Canto XII.
(За каждую каплю этой крови твои глаза заплатят морем слез. *«Иерусалим». Песнь XII)* (итал.). — *Ред.*

Печаль глубокая поэтов дух сразила,
Исчез талант его и творческая сила,
И разум весь погиб! О вы, которых яд
Торквату дал вкусить мучений лютых ад,
Придите зрелищем достойным веселиться
И гибелью его таланта насладиться!
Придите! Вот поэт превыше смертных хвал,
Который говорить героев заставлял,
Проникнул взорами в небесные чертоги, —
В железах стонет здесь... О милосерды боги!
Доколе жертвою, невинность, будешь ты
Бесчестной зависти и адской клеветы?

Имело ли конец несчастие поэта?
Железною рукой печаль и быстры лета
Уже безвременно белят его власы,
В единобразии бегут, бегут часы,
Что день, то прежня скорбь, что ночь — мечты ужасны...
Смягчился наконец завет судьбы злосчастной.
Свободен стал поэт, и солнца луч златой
Льет в хладну кровь его отраду и покой:
Он может опочить на лоне светлой славы.
Средь Капитолия, где стены обветшалы
И самый прах еще о римлянах твердит,
Там ждет его триумф... Увы!.. там смерть стоит!
Неумолимая берет венок лавровый,
Поэта увенчать из давних лет готовый.
Премена жалкая столь радостного дни!
Где знамя почестей, там смертны пелены,
Не увенчание, но лики погребальны...
Так кончились твои, бессмертный, дни печальны!

Нет более тебя, божественный поэт!
Но славы Тассовой исполнен ввеки свет!
Едва ли прах один остался древней Трои,
Не знаем и могил, где спят ее герои,
Скамандр божественный вертепами течет,
Но в памяти людей Омир еще живет,
Но человечество певцом еще гордится,
Но мир ему есть храм... И твой не сокрушится!

Между маем и началом августа 1808

‹ОТРЫВОК ИЗ I ПЕСНИ «ОСВОБОЖДЕННОГО ИЕРУСАЛИМА»›

Пустынник Петр говорил в верховном совете.
Он предложил Готфреда в вожди.

Скончал пустынник речь... Небесно вдохновенье!
Не скрыто от тебя сердечное движенье,
Ты в старцевы уста глагол вложило сей
И сладость оного влило в сердца князей,
Ты укротило в них бушующие страсти,
Дух буйной вольности, любовь врожденну к власти:
Вильгельм и мудрый Гелф, первейший из вождей,
Готфреда нарекли вождем самих царей.

И плески шумные избранье увенчали!
«Ему единому, — все ратники вещали, —
Ему единому вести ко славе нас!
Законы пусть дает его единый глас;
Доселе равные, его послушны воле,
Под знаменем святым пойдем на бранно поле,
Поганство буйное святыне покорим.
Награда небо нам: умрем иль победим!»

Узрели воины начальника избранна
И властию почли достойно увенчанна.
Он плески радостны от войска восприял,
Но вид величия спокойного являл.
Клялися все его повиноваться воле.
Наутро он велел полкам собраться в поле,
Чтоб рать под знамена священны притекла
И слава царское веленье разнесла.

Торжественней в сей день явилось над морями
Светило дня, лучи лиющее реками!
Христово воинство в порядке потекло
И дол обширнейший строями облегло.
Развились знамена, и копья заблистали,
Скользящие лучи сталь гладку зажигали;
Но войско двигнулось: перед вождем течет
Тяжела конница и ей пехота вслед.

О память светлая! тобою озаренны
Протекши времена и подвиги забвенны,

О память, мне свои хранилища открой!
Чьи ратники сии? Кто славный их герой?
Повеждь, да слава их, утраченна веками,
Твоими возблестит небренными лучами!
Увековечи песнь нетлением своим,
И время сокрушит железо перед ним!

Явились первые неустрашимы галлы:
Их грудь облечена в слиянные металлы,
Оружие звенит тяжелое в руках.
Гуг, царский брат, сперва был во́ждем в сих полках;
Он умер, и хоругвь трех лилий благородных
Не в длани перешла ее царей природных,
Но к мужу, славному по доблести своей:
Клотарий избран был в преемники царей.

Счастливый Иль-де-Франс, обильный, многоводный,
Вождя и ратников страною был природной.
Нормандцы грозные текут сим войскам вслед:
Роберт их кровный царь, ко брани днесь ведет.
На галлов сходствует оружье их и нравы;
Как галлы, не щадят себя для царской славы.
Вильгельм и Адемар их войски в брань ведут,
Народов пастыри за веру кровь лиют.

Кадильницу они с булатом сочетали
И длинные власы шеломами венчали.
Святое рвение! Их меткая рука
Умеет поражать врагов издалека.
Четыреста мужам, в Орангии рожденным,
Вильгельм предшествует со знаменем священным;
Но равное число идет из Пуйских стен,
И Адемар вождем той рати наречен.

Се идет Бодоин с болонцами своими:
Покрыты чела их шеломами златыми.
Готфреда воины за ними вслед идут,
Вождем своим теперь царева брата чтут.
Корнутский граф потом, вождь мудрости избранный,
Четыреста мужей ведет на подвиг бранный;
Но трижды всадников толикое число
Под Бодоиновы знамена притекло.

Гелф славный возле них покрыл полками поле,
Гелф славен счастием, но мудростию боле.
Из дома Эстского сей витязь родился,
Воспринят Гелфом был и Гелфом назвался;
Каринтией теперь богатой обладает
И власть на ближние долины простирает,
По коим катит Рейн свой сребряный кристалл:
Свев дикий искони там в детстве обитал.

Между маем и началом августа 1808

‹ОТРЫВОК ИЗ XVIII ПЕСНИ «ОСВОБОЖДЕННОГО ИЕРУСАЛИМА»›

Адские духи царствуют в очарованном лесе; Ринальд по повелению Готфреда шествует туда, дабы истребить чары Исменовы.

Се час божественный Авроры золотой:
Со светом утренним слиялся мрак ночной,
Восток румяными огнями весь пылает,
И утрення звезда во блесках потухает.
Оставя по траве, росой обмытой, след,
К горе Оливовой Ринальд уже течет.
Он в шествии своем светилы зрит небренны,
Руками вышнего на небесах возженны,
Зрит светлый свод небес, раскинут как шатер,
И в мыслях говорит: «Колико ты простер,
Царь вечный и благий, сияния над нами!
В день солнце, образ твой, течет под небесами,
В ночь тихую луна и сонм бессчетных звезд
Лиют утешный луч с лазури горних мест.
Но мы, несчастные, страстями упоенны,
Мы слепы для чудес: красавиц взор влюбленный,
Улыбка страстная и вредные мечты
Приятнее для нас нетленной красоты».
На твердые скалы в сих мыслях востекает
И там чело свое к лицу земли склоняет.
Но духом к вечному на небеса парит.
К востоку обратясь, в восторге говорит:
«Отец и царь благий, прости мне ослепленье,
Кипящей юности невольно заблужденье,
Прости и на меня излей своей рукой

Источник разума и благости святой!»
Скончал молитву он. Уж первый луч Авроры
Блистает сквозь туман на отдаленны горы;
От пурпурных лучей героев шлем горит.
Зефир, спорхнув с цветов, по воздуху парит
И грозное чело Ринальда лобызает;
Ниспадшею росой оружие блистает,
Щит крепкий, копие, железная броня
Как золото горят от солнечна огня.
Так роза блеклая, в час утра оживая,
Красуется, слезой Аврориной блистая;
Так, чешуей гордясь, весною лютый змей
Вьет кольца по песку излучистой струей.
Ринальд, блистанием оружья удивленный,
Стопами смелыми — и свыше вдохновенный —
Течет в сей мрачный лес, самих героев страх,
Но ужасов не зрит: в прохладе и тенях
Там нега с тишиной, обнявшись, засыпают,
Зефиры горлицей меж тростников вздыхают,
И с томной сладостью журчит в кустах ручей.
Там лебедь песнь поет, с ним стонет соловей,
И гласы сельских нимф и арфы тихострунной
Несутся по лесу как хор единошумный.
Не нимф и не сирен, не птиц небесных глас,
Не царство сладкое и неги, и зараз
Мечтал найти Ринальд, но ад и мрак ужасный,
Подземные огни и трески громогласны.
Восторжен, удивлен, он шаг умерил свой
И путь остановил над светлою рекой.
Она между лугов, казалось, засыпала
И в зеркальных водах брега образовала,
Как цепь чудесная, вкруг леса облегла.
Пространство всё ее текуща кристалла́
Древа, соплетшися ветвями, осеняли,
Питались влагою и берег украшали.
На водах мраморных мост дивный, весь златой,
Явил через реку герою путь прямой.
Ринальд течет по нем, конца уж достигает,
Но свод, обрушившись, мост с треском низвергает.
Кипящие валы несут его с собой.
Не тихая река, не ток сей, что весной,
Снегами наводнен, текущими с вершины,

Шумит и пенится в излучинах долины,
Представился тогда Ринальдовым очам.
Герой спешит оттоль к безмолвным сим лесам,
В вертепы мрачные, обильны чудесами,
Где всюду под его рождалися стопами
(О, призрак волшебства и дивные мечты!)
Ручьи прохладные и нежные цветы.
Влюбленный здесь нарцисс в прозрачный ток
глядится,
Там роза, цвет любви, на терниях гордится;
Повсюду древний лес красуется, цветет,
Вид юности кора столетних лип берет,
И зелень новая растения венчает.
Роса небесная на ветвиях блистает,
Из толстыя коры струится светлый мед.
Любовь живит весь лес, с пернатыми поет,
Вздыхает в тростниках, журчит в ручьях
кристальных,
Несется песнями, теряясь в рощах дальных,
И тихо с ветерком порхает по цветам.
Герой велик и мудр, не верит он очам
И адским призракам в лесу очарованном.
Вдруг видит на лугу душистом и пространном
Высокий мирт, как царь, между дерев других.
Красуется его чело в ветвях густых,
И тень прохладная далеко вкруг ложится.
Из дуба ближнего сирена вдруг родится,
Волшебством создана. Чудесные мечты
Прияли гибкий стан и образ красоты.
Одежда у нее, поднятая узлами,
Блестит, раскинута над белыми плечами.
Сто нимф из ста дерев внезапу родились
И все лилейными руками соплелись.
На мертвом полотне так — кистию чудесной
Изображенный — зрим под тению древесной
Лик сельских стройных дев, собрание красот:
Играют, резвые, сплетяся в хоровод,
Их ризы как туман, и перси обнаженны,
Котурны на ногах, власы переплетенны.
Так лик чудесных нимф наместо грозных стрел
Златыми цитрами и арфами владел.
Одежды легкие они с рамен сложили

И с пляской, с пением героя окружили.
«О ратник юноша, счастлив навеки ты,
Любим владычицей любви и красоты!
Давно, давно тебя супруга ожидала,
Отчаянна, одна, скиталась и стенала.
Явился — и с тобой расцвел сей дикий лес,
Чертог уныния, отчаянья и слез».
Еще нежнейший глас из мирта издается
И в душу ратника, как нектар сладкий, льется.
В древнейши, баснями обильные века,
Когда и низкий куст, и малая река
Дриаду юную иль нимфу заключали,
Столь дивных прелестей внезапу не рождали.
Но мирт раскрыл себя... О призрак, о мечты!
Ринальд Армиды зрит стан, образ и черты,
К нему любовница взор страстный обращает,
Улыбка на устах, в очах слеза блистает,
Все чувства борются в пылающей груди,
Вздыхая, говорит: «Друг верный мой, приди,
Отри рукой своей сих слез горячих реки,
Отри и сердце мне свое отдай навеки!
Вещай, зачем притек? Блаженство ль хочешь пить,
Утешить сирую и слезы осушить,
Или вражду принес? Ты взоры отвращаешь,
Меня, любовницу, оружием стращаешь...
И ты мне будешь враг!.. Ужели для вражды
Воздвигла дивный мост, посеяла цветы,
Ручьями скрасила вертеп и лес дремучий
И на пути твоем сокрыла терн колючий?
Ах, сбрось сей грозный шлем, чело дай зреть очам,
Прижмись к груди моей и к пламенным устам,
Умри на них, супруг!.. Сгораю вся тобою —
Хоть грозною меня не отклони рукою!»
Сказала. Слез ручей блестит в ее очах,
И розы нежные бледнеют на щеках.
Томится грудь ее и тягостно вздыхает;
Печаль красавице приятства умножает.
Из сердца каменна потек бы слез ручей —
Чувствителен, но тверд герой в душе своей.
Меч острый обнажил, чтоб мирт сразить ударом;
Тут, древо защитив, рекла Армида с жаром:
«Убежище мое, о варвар, ты разишь!

Нет, нет, скорее грудь несчастныя пронзишь,
Упьешься кровию твоей супруги страстной...»
Ринальд разит его... И призрак вдруг ужасный,
Гигант, чудовище явилося пред ним,
Армиды прелести исчезнули, как дым.
Сторукий исполин, покрытый чешуею,
Небес касается неистовой главою.
Горит оружие, звенит на нем броня,
Исполнена гортань и дыма, и огня.
Все нимфы вкруг его циклопов вид прияли,
Щитами, копьями ужасно застучали.
Бесстрашен и велик средь ужасов герой!
Стократ волшебный мирт разит своей рукой:
Он вздрогнул под мечом и стоны испускает.
Пылает мрачный лес, гром трижды ударяет,
Исчадья адские явились на земле,
И серны молнии взвились в ужасной мгле.
Ни ветр, ни огнь, ни гром не ужаснул героя...
Упал волшебный мирт, и бездны ад закроя,
Ветр бурный усмирил и бурю в облаках,
И прежняя лазурь явилась в небесах.

Между августом 1808 и первой половиной 1809

ВОСПОМИНАНИЕ

Мечты! — повсюду вы меня сопровождали
И мрачный жизни путь цветами устилали!
Как сладко я мечтал на Гейльсбергских полях,
Когда весь стан дремал в покое
И ратник, опершись на копие стальное,
Смотрел в туманну даль! Луна на небесах
Во всем величии блистала
И низкий мой шалаш сквозь ветви освещала;
Аль светлый чуть струю ленивую катил
И в зеркальных водах являл весь стан и рощи;
Едва дымился огнь в часы туманной нощи
Близ кущи ратника, который сном почил.
О Гейльсбергски поля! О холмы возвышенны!
Где столько раз в ночи, луною освещенный,
Я, в думу погружен, о родине мечтал;

О Гейльсбергски поля! В то время я не знал,
Что трупы ратников устелют ваши нивы,
Что медной челюстью гром грянет с сих холмов,
Что я, мечтатель ваш счастливый,
На смерть летя против врагов,
Рукой закрыв тяжелу рану,
Едва ли на заре сей жизни не увяну... —
И буря дней моих исчезла как мечта!..
Осталось мрачно вспоминанье...
Между протекшего есть вечная черта:
Нас сближит с ним одно мечтанье.
Да оживлю теперь я в памяти своей
Сию ужасную минуту,
Когда, болезнь вкушая люту
И видя сто смертей,
Боялся умереть не в родине моей!
Но небо, вняв моим молениям усердным,
Взглянуло оком милосердым:
Я, Неман переплыв, узрел желанный край,
И, землю лобызав с слезами,
Сказал: «Блажен стократ, кто с сельскими богами,
Спокойный домосед, земной вкушает рай
И, шага не ступя за хижину убогу,
К себе богиню быстроногу
В молитвах не зовет!
Не слеп ко славе он любовью,
Не жертвует своим спокойствием и кровью:
Могилу зрит свою и тихо смерти ждет».

Между июлем 1807 и ноябрем 1809

СТИХИ Г. СЕМЕНОВОЙ

E in si bel corpo più cara venia.[1]
Тасс. V песнь «Освобожденного Иерусалима»

Я видел красоту, достойную венца,
Дочь добродетельну, печальну Антигону,
Опору слабую несчастного слепца;

[1] В прекрасном теле прекраснейшая душа (итал.). — *Ред.*

Я видел, я внимал ее сердечну стону —
И в рубище простом почтенной нищеты
Узнал богиню красоты.

Я видел, я познал ее в Моине страстной,
Средь сонма древних бард, средь копий и мечей,
Ее глас сладостный достиг души моей,
Ее взор пламенный, всегда с душой согласный,
Я видел — и познал небесные черты
Богини красоты.

О дарование, одно другим венчанно! [1]
Я видел Ксению, стенящу предо мной:
Любовь и строгий долг владеют вдруг княжной;
Боренье всех страстей в ней к ужасу слиянно,
Я видел, чувствовал душевной полнотой
И счастлив сей мечтой!

Я видел и хвалить не смел в восторге страстном;
Но ныне, истиной священной вдохновен,
Скажу: красот собор в ней явно съединен:
Душа небесная во образе прекрасном
И сердца доброго все редкие черты,
Без коих ничего и прелесть красоты.

6 сентября 1809
Ярославль

ВИДЕНИЕ НА БЕРЕГАХ ЛЕТЫ

Вчера, Бобровым утомленный,
Я спал и видел странный сон!
Как будто светлый Аполлон,
За что, не знаю, прогневленный,
Поэтам нашим смерть изрек;
Изрек — и все упали мертвы,
Невинны Аполлона жертвы!
Иной из них окончил век,
Сидя на чердаке высоком
В издранном шлафроке широком,

[1] Дарование поэта и актрисы.

Наг, голоден и утомлен
Упрямой рифмой к *светлу небу.*
Другой, в Цитеру пренесен,
Красу, умильную как Гебу,
Хотел для нас насильно... петь
И пал без чувств в конце эклоги;
Везде, о милосерды боги!
Везде пирует алчна смерть,
Косою острой быстро машет,
Богату ниву аду пашет
И губит Фебовых детей,
Как ветр осенний злак полей!
Меж тем в Элизии священном,
Лавровым лесом осененном,
Под шумом Касталийских вод,
Певцов нечаянный приход
Узнал почтенный Ломоносов,
Херасков, честь и слава россов,
Самолюбивый Фебов сын,
Насмешник, грозный бич пороков,
Замысловатый Сумароков
И, Мельпомены друг, Княжнин.
И ты сидел в толпе избранной,
Стыдливой грацией венчанный,
Певец прелестныя мечты,
Между Психеи [1] легкокрылой
И бога нежной красоты;
И ты там был, наездник хилый
Строптива девственниц седла,
Трудолюбивый, как пчела,
Отец стихов «Тилемахиды»,
И ты, что сотворил обиды
Венере девственной, Барков!
И ты, о мой певец незлобный,
Хемницер, в баснях бесподобный! —
Все, словом, коих бог певцов
Венчал бессмертия лучами,
Сидели там олив в тени,
Обнявшись с прежними врагами;

---

[1] Психею — душу или мечту — древние изображали в виде бабочки или крылатой девы, обнявшейся с Купидоном.

Но спорили еще они
О том, о сем — и не без шума
(И в рае, думаю, у нас
У всякого своя есть дума,
Рассудок свой, и вкус, и глаз).
Садились все за пир богатый,
Как вдруг Майинин сын крылатый,
Нисcланный вышним божеством,
Сказал сидящим за столом:
«Сюда, на берег тихой Леты,
Бредут покойные поэты;
Они в реке сей погрузят
Себя и вместе юных чад.
Здесь опыт будет правосудный:
Стихи и проза безрассудны
Потонут вмиг: так Феб судил!» —
Сказал Эрмий — и силой крыл
От ада к небу воспарил.
«Ага! — Фонвизин молвил братьям, —
Здесь будет встреча не по платьям,
Но по заслугам и уму».
— «Да много ли, — в ответ ему
Кричал, смеяся, Сумароков, —
Певцов найдется без пороков?
Поглотит Леты всех струя,
Поглотит всех, иль я не я!»
— «Посмотрим, — продолжал вполгласа
Поэт, проклятый от Парнаса, —
Егда прийдут...» Но вот они,
Подобно как в осенни дни
Поблеклы листия древесны,
Что буря в долах разнесла, [1] —
Так теням сим не весть числа!
Идут толпой в ущелья тесны,
К реке забвения стихов,
Идут под бременем трудов;
Безгласны, бледны, приступают,
Любезных детищей купают...
И более не зрят в волнах!
Но тут Минос, певцам на страх,

[1] Смотри VI песнь «Энеиды».



К. Н. БАТЮШКОВ
С гравюры Матэ по автопортрету в зеркале
(Гос. Музей изобравительных искусств)

ОПЫТЫ
ВЪ СТИХАХЪ И ПРОЗѢ
К. Батюшкова.



ВЪ С. ПЕТЕРБУРГѢ
1817.

Старик угрюмый и курносый,
Чинит расправу и вопросы:
«Кто ты, вещай?» — «Я тот поэт,
По счастью очень плодовитый
(Был тени маленькой ответ),
Я тот, венками роз увитый
Поэт-философ-педагог,
Который задушил Вергилья,
Окоротил Алкею крылья.
Я здесь! *Сего бо хощет бог*
И долг священныя природы...» [1]
— «Кто ж ты, болтун?» — «Я... Верзляков!»
— «Ступай и окунися в воды!»
— «Иду... во мне вся мерзнет кровь...
Душа... всего... душа природы,
Спаси... спаси меня, любовь!
Авось...» — «Нет, нет, болтун несчастный,
Довольно я с тобою выл!» —
Сказал ему Эрот прекрасный,
Который тут с Психеей был.
«Ступай!» — Пошел, — и нет педанта.
«Кто ты?» — спросил допросчик тень,
Несущу связку фолианта?
«Увы, я целу ночь и день
Писал, пишу и вечно буду
Писать... всё прозой, *без еров*.
Невинен я. На эту груду
Смотри, здесь тысячи листов,
Священной пылию покрытых,
Печатью мелкою убитых
И нет *ера* ни одного.
Да, я! ..» — «Скорей купать его!»
Но тут явились лица новы
Из белокаменной Москвы.
Какие странные обновы!
От самых ног до головы
Обшиты платья их листами,
Где прозой детской и стихами
Иной кладбище, мавзолей,
Другой журнал души своей,

---

[1] Смотри «Тень Кука».

Другой Меланию, Зюльмису,
Луну, Веспера, голубков,
Глафиру, Хлою, Милитрису,
Баранов, кошек и котов[1]
Воспел в стихах своих унылых
На всякий лад для женщин *милых*
(О, век железный!..). А оне
Не только въяве, но во сне
Поэтов не видали бедных.
Из этих лиц уныло-бледных
Один, причесанный в тупей,
Поэт присяжный, князь вралей,
На суд явил творенья новы.
«Кто ты?» — «Увы, я пастушок,
Вздыхатель, завсегда готовый;
Вот мой венок и посошок,
Вот мой букет цветов тафтяных,
Вот список всех красот упрямых,
Которыми дышал и жил,
Которым я насильно мил.
Вот мой баран, моя Аглая», —
Сказал и, тягостно зевая,
Спросонья в Лету поскользнул!
«Уф! я устал, подайте стул,
Позвольте мне, я очень славен.
Бессмертен я, пока забавен».
— «Кто ж ты?» — «*Я Русский и поэт*.
Бегом бегу, лечу за славой,
Мне враг чужой рассудок здравый.
Для Русских прав мой толк кривой,
И в том клянусь моей сумой».
— «Да кто же ты? — «Жан-Жак я Русский,
Расин и Юнг, и Локк я Русский,
Три драмы Русских сочинил
Для Русских; нет уж боле сил
Писать для Русских драмы слезны;
Труды мои все бесполезны!
Вина тому — разврат умов», —
Сказал — в реку! и был таков!

---

[1] Это всё, даже и кошки, воспеты в Москве — ссылаюсь на журналы.

Тут Сафы русские печальны,
Как бабки наши повивальны,
Несли расплаканных детей.
Одна — прости бог эту даму! —
Несла уродливую драму,
Позор для ада и мужей,
У коих сочиняют жены.
«Вот мой Густав, герой влюбленный...»
— «Ага! — судья певице сей, —
Названья этого довольно:
Сударыня! мне очень больно,
Что вы, забыв последний стыд,
Убили драмою Густава.
В реку, в реку!» О, жалкий вид!
О, тщетная поэтов слава!
Исчезла Сафо наших дней
С печальной драмою своей;
Потом и две другие дамы,
На дам живые эпиграммы,
Нырнули в глубь туманных вод.
«Кто ты?» — «Я — виноносный гений.
Поэмы три да сотню од,
Где всюду ночь, где всюду тени,
Где роща ржуща ружий ржот,[1]
Писал с заказу Глазунова
Всегда на срок... Что вижу я?
Здесь реет между вод ладья,
А там, в разрывах черна крова,
Урания — душа сих сфер
И все титаны ледовиты,
Прозрачной мантией покрыты,
Слезят!» — Иссякнул изувер
От взора пламенной Эгиды.
Один отец «Тилемахиды»
Слова сии умел понять.
На том брегу реки забвенья
Стояли тени в изумленьи
От речи сей: «Изволь купать
Себя и всех своих уродов», —

---

[1] Этот стих взят из сочинений Боброва, я ничего не хочу присваивать.

Сказал, не слушая довóдов,
Угрюмый ада судия.
«Да всех поглотит вас струя!..»
Но вдруг на адский берег дикий
Призрáк чудесный и великий
В обширном дедовском возке
Тихонько тянется к реке.
Наместо клячей запряженны,
Там люди в хомуты вложенны
И тянут кое-как, гужом!
За ним, как в осень трутни праздны,
Крылатым в воздухе полком
Летят толпою тени разны
И там и сям. По слову: «Стой!»
Кивнула бледна тень главой
И вышла с кашлем из повозки.
«Кто ты? — спросил ее Минос, —
И кто сии?» — на сей вопрос:
«Мы все с Невы поэты росски», —
Сказала тень. — «Но кто сии
Несчастны, в клячей превращенны?»
— «Сочлены юные мои,
Любовью к славе вдохновенны,
Они Пожарского поют
И топят старца Гермогена;
Их мысль на небеса вперенна,
Слова ж из Библии берут;
Стихи их хоть немного жестки,
Но истинно варяго-росски».
— «Да кто ты сам?» — *«Я также член;*
Кургановым писать учен;
Известен стал не пустяками,
Терпеньем, потом и трудами;
Аз есмь зело *славенофил»,* —
Сказал и пролог растворил.
При слове сем в блаженной сени
Поэтов приподнялись тени;
Певец любовныя езды
Осклабил взор *усмешкой блудной*
И рек: «О муж, умом не скудный!
Обретший редки красоты
И смысл в моей «Деидамии»,

Се ты! се ты!..» — «Слова пустые», —
Угрюмый судия сказал
И в Лету путь им показал.
К реке подвинулись толпою,
Ныряли всячески в водах;
Тот книжку потопил в струях,
Тот целу книжищу с собою.
Один, один славенофил,
И то повыбившись из сил,
За всю трудов своих громаду,
За твердый ум и за дела
Вкусил бессмертия награду.
Тут тень к Миносу подошла
Неряхой и в наряде странном,
В широком шлафроке издранном,
В пуху, с косматой головой,
С салфеткой, с книгой под рукой.
«Меня врасплох, — она сказала, —
В обед нарочно смерть застала,
Но с вами я опять готов
Еще хоть сызнова отведать
Вина и адских пирогов:
Теперь же час, друзья, обедать,
Я — вам знакомый, я — Крылов!» [1]
«Крылов, Крылов», — в одно вскричало
Собранье шумное духо́в,
И эхо глухо повторяло
Под сводом адским: «Здесь Крылов!»
«Садись сюда, приятель милый!
Здоров ли ты?» — «И так и сяк».
— «Ну, что ж ты делал?» — «Всё пустяк —
Тянул тихонько век унылый,
Пил, сладко ел, а боле спал.
Ну, вот, Минос, мои творенья,
С собой я очень мало взял:
Комедии, стихотворенья
Да басни, — всё купай, купай!»
О, чудо! — всплыли все, и вскоре
Крылов, забыв житейско горе,
Пошел обедать прямо в рай.

[1] Крылов познакомился с духами через «Почту».

Еще продлилось сновиденье,
Но ваше длится ли терпенье
Дослушать до конца его?
Болтать, друзья, неосторожно —
Другого и обидеть можно.
А боже упаси того!

1809

⟨О БЕНИТЦКОМ⟩

Пусть мигом догорит
Его блестящая лампада;
В последний час его бессмертье озарит:
Бессмертье — пылких душ надежда и награда!

Конец октября 1809

ТИБУЛЛОВА ЭЛЕГИЯ III

Из III книги

Напрасно осыпал я жертвенник цветами,
Напрасно фимиам курил пред алтарями;
Напрасно: Делии еще с Тибуллом нет.
Бессмертны! Слышали вы скромный мой обет!
Молил ли вас когда о почестях и злате?
Желал ли обитать во мраморной палате?
К чему мне пажитей обширная земля,
Златыми класами венчанные поля
И стадо кобылиц, рабами охраненно?
О бедности молил, с тобою разделенной!
Молил, чтоб смерть меня застала при тебе,
Хоть нища, но с тобой!.. К чему желать себе
Богатства Азии или волов дебелых?
Ужели более мы дней сочтем веселых
В садах и в храминах, где дивный ряд столбов
Иссечен хитростью наемных пришлецов;
Где всё один порфир Тенера и Кариста,
Помосты мраморны и урны злата чиста;
Луга пространные, где силою трудов

Легла священна тень от кедровых лесов?
К чему эритрские жемчужины бесценны
И руны тирские, багрянцем напоенны?
В богатстве ль счастие? В нем призрак, тщетный
вид!
Мудрец от лар своих за златом не бежит,
Колен пред случаем вовек не преклоняет,
И в хижине своей с фортуной обитает!
И бедность, Делия, мне радостна с тобой!
Тот кров соломенный Тибуллу золотой,
Под коим, сопряжен любовию с тобою,
Стократ благословен!.. Но если предо мною
Бессмертные весов судьбы не преклонят,
Утешит ли тогда сей Рим, сей пышный град?
Ах! нет! И золото блестящего Пактола,
И громкой славы шум, и самый блеск престола
Без Делии ничто, а с ней и куща — храм,
Безвестность, нищета завидны небесам!
О дочь Сатурнова! услышь мое моленье!
И ты, любови мать! Когда же парк сужденье,
Когда суровых сестр противно веретено
И Делией владеть Тибуллу не дано, —
Пускай теперь сойду во области Плутона,
Где блата топкие и воды Ахерона
Широкой цепию вкруг ада облежат,
Где беспробудным сном печальны тени спят.

Между сентябрем и декабрем 1809

ПОСЛАНИЕ ГРАФУ ВИЕЛЬГОРСКОМУ

О ты, владеющий гитарой трубадура,
Эраты голосом и прелестью Амура,
Воспомни, милый граф, счастливы времена,
Когда нас юношей увидела Двина!
Когда, отвоевав под знаменем Беллоны,
Под знаменем Любви я начал воевать
И новый регламе́нт и новые законы
В глазах прелестницы читать!
Заря весны моей, тебя как не бывало!
Но сердце в той стране с любовью отдыхало,

Где я узнал тебя, мой нежный трубадур!
Обетованный край! где ветреный Амур
Прелестным личиком любезный пол дарует,
Под дымкой на груди лилеи образует
(Какими б и у нас гордилась красота!),
Вливает томный огнь и в очи, и в уста,
А в сердце юное любви прямое чувство.
Счастливые места, где нравиться искусство
Не нужно для мужей,
Сидящих с трубками вкруг угольных огней
За сыром выписным, за гамбургским журналом,
Меж тем как жены их, смеясь под опахалом,
«Люблю, люблю тебя!» — пришельцу говорят
И руку жмут ему коварными перстами!

О мой любезный друг! Отдай, отдай назад
Зарю прошедших дней и с прежними бедами,
С любовью и войной!
Или, волшебник мой,
Одушеви мое музыкой песнопенье;
Вдохни огонь любви в холодные слова,
Еще отдай стихам потерянны права
И камни приводить в движенье,
И горы, и леса!
Тогда я с сильфами взлечу на небеса
И тихо, как призра́к, как луч от неба ясный,
Спущусь на берега пологие Двины
С твоей гитарой сладкогласной:
Коснусь волшебныя струны,
Коснусь... и нимфы гор при месячном сияньи,
Как тени легкие, в прозрачном одеяньи,
С сильванами сойдут услышать голос мой.
Наяды робкие, всплывая над водой,
Восплещут белыми руками,
И майский ветерок, проснувшись на цветах,
В прохладных рощах и садах,
Повеет тихими крылами;
С очей прелестных дев он свеет тонкий сон,
Отгонит легки сновиденья
И тихим шепотом им скажет: «Это он!
Вы слышите его знакомы песнопенья!»

Конец декабря 1809

* * *

Пафоса бог, Эрот прекрасный
На розе бабочку поймал
И, улыбаясь, у несчастной
Златые крылья оборвал.
«К чему ты мучишь так, жестокий?» —
Спросил я мальчика сквозь слез.
«Даю красавицам уроки», —
Сказал — и в облаках исчез.

1809

ВЕСЕЛЫЙ ЧАС

Вы, други, вы опять со мною
Под тенью тополей густою,
С златыми чашами в руках,
С любовью, с дружбой на устах!

Други! сядьте и внемлите
Музы ласковой совет.
Вы счастливо жить хотите
На заре весенних лет?
Отгоните призрак славы!
Для веселья и забавы
Сейте розы на пути;
Скажем юности: лети!
Жизнью дай лишь насладиться,
Полной чашей радость пить:
Ах! не долго веселиться
И не веки в счастьи жить!

Но вы, о други, вы со мною
Под тенью тополей густою,
С златыми чашами в руках,
С любовью, с дружбой на устах.

Станем, други, наслаждаться,
Станем розами венчаться;
Лиза! сладко пить с тобой,
С нимфой резвой и живой!

Ах! обнимемся руками,
Съединим уста с устами,
Души в пламени сольем,
То воскреснем, то умрем!..

Вы ль, други милые, со мною,
Под тенью тополей густою,
С златыми чашами в руках,
С любовью, с дружбой на устах?

Я, любовью упоенный,
Вас забыл, мои друзья,
Как сквозь облак вижу темный
Чаши золотой края!..
Лиза розою пылает,
Грудь любовию полна,
Улыбаясь, наливает
Чашу светлого вина.
Мы потопим горесть нашу,
Други! в эту полну чашу,
Выпьем разом и до дна
Море светлого вина!

Друзья! уж месяц над рекою,
Почили рощи сладким сном;
Но нам ли здесь искать покою
С любовью, с дружбой и вином?
О радость! радость! Вакх веселый
Толпу утех сзывает к нам;
А тут в одежде легкой, белой
Эрато гимн поет друзьям:
«Часы крылаты! не летите,
И счастье мигом хоть продлите!»
Увы! бегут счастливы дни,
Бегут, летят стрелой они!
Ни лень, ни счастья наслажденья
Не могут их сдержать стремленья,
И время сильною рукой
Погубит радость и покой,
Луга веселые зелены,
Ручьи кристальные и сад,
Где мшисты дубы, древни клены

Сплетают вечну тень прохлад, —
Ужель вас зреть не буду боле?
Ужели там, на ратном поле,
Судил мне рок сном вечным спать?
Свирель и чаша золотая
Там будут в прахе истлевать;
Покроет их трава густая,
Покроет, и ничьей слезой
Забвенный прах не окропится...
Заране должно ли крушиться?
Умру, и всё умрет со мной!..

Но вы еще, друзья, со мною
Под тенью тополей густою,
С златыми чашами в руках,
С любовью, с дружбой на устах.

Между началом 1806 и февралем 1810

ОТВЕТ ГНЕДИЧУ

Твой друг тебе навек отныне
С рукою сердце отдает;
Он отслужил слепой богине,
Бесплодных матери сует.
Увы, мой друг! я в дни младые
Цирцеям также отслужил,
В карманы заглянул пустые,
Покинул мирт и меч сложил.
Пускай, кто честолюбьем болен,
Бросает с Марсом огнь и гром;
Но я — безвестностью доволен
В *Сабинском* домике моем!
Там глиняны свои пенаты
Под сенью дружней съединим,
Поставим брашны небогаты,
А дни мечтой позолотим.
И если к нам любовь заглянет
В приют, где дружбы храм святой...
Увы! твой друг не перестанет
Еще ей жертвовать собой! —

Как гость, весельем пресыщенный,
Роскошный покидает пир,
Так я, любовью упоенный,
Покину равнодушно мир!

Между концом июля 1809 и февралем 1810

ТИБУЛЛОВА ЭЛЕГИЯ X

Из I книги

Вольный перевод

Кто первый изострил железный меч и стрелы?
Жестокий! он изгнал в безвестные пределы
Мир сладостный и в ад открыл обширный путь!
Но он виновен ли, что мы на ближних грудь
За золото, за прах железо устремляем,
А не чудовищей им диких поражаем?
Когда на пиршествах стоял сосуд святой
Из буковой коры меж утвари простой
И стол был отягчен избытком сельских брашен, —
Тогда не знали мы щитов и твердых башен,
И пастырь близ овец спокойно засыпал;
Тогда бы дни мои я радостьми считал!
Тогда б не чувствовал невольно трепетанье
При гласе бранных труб! О, тщетное мечтанье!
Я с Марсом на войне: быть может, лук тугой
Натянут на меня пернатою стрелой...

О боги! сей удар вы мимо пронесите,
Вы, лары отчески, от гибели спасите!
О вы, хранившие меня в тени своей,
В беспечности златой от колыбельных дней,
Не постыдитеся, что лик богов священный,
Иссеченный из пня и пылью покровенный,
В жилище праотцев уединен стоит!
Не знали смертные ни злобы, ни обид,
Ни клятв нарушенных, ни почестей, ни злата,
Когда священный лик домашнего пената
Еще скудельный был на пепелище их!
Он благодатен нам, когда из чаш простых
Мы учиним пред ним обильны возлиянья

Иль на чело его, в знак мирного венчанья,
Возложим мы венки из миртов и лилей;
Он благодатен нам, сей мирный бог полей,
Когда на празднествах, в дни майские веселы,
С толпою чад своих, оратай престарелый
Опресноки ему священны принесет,
А девы красные из улья чистый мед.
Спасите ж вы меня, отеческие боги,
От копий, от мечей! Вам дар несу убогий:
Кошницу полную Церериных даров,
А в жертву — сей овен, краса моих лугов.
Я сам, увенчанный и в ризы облеченный,
Явлюсь наутрие пред ваш алтарь священный.
Пускай, скажу, в полях неистовый герой,
Обрызган кровию, выигрывает бой;
А мне — пусть благости сей буду я достоин —
О подвигах своих расскажет древний воин,
Товарищ юности; и, сидя за столом,
Мне лагерь начертит веселых чаш вином.
Почто же вызывать нам смерть из царства тени,
Когда в подземный дом везде равны ступени?
Она, как тать в ночи, невидимой стопой,
Но быстро гонится, и всюду за тобой!
И низведет тебя в те мрачные вертепы,
Где лает адский пес, где фурии свирепы
И кормчий в челноке на Стиксовых водах.
Там теней бледный полк толпится на брегах,
Власы обожжены, и впалы их ланиты!..
Хвала, хвала тебе, оратай домовитый!
Твой вечереет век средь сча́стливой семьи;
Ты сам, в тени дубрав, пасешь стада свои;
Супруга между тем трапезу учреждает,
Для омовенья ног сосуды нагревает
С кристальною водой. О боги! если б я
Узрел еще мои родительски поля!
У светлого огня, с подругою младою,
Я б юность вспомянул за чашей круговою,
И были, и дела давно протекших дней!

Сын неба! светлый Мир! ты сам среди полей
Вола дебелого ярмом отягощаешь!
Ты благодать свою на нивы проливаешь,

И в отческий сосуд, наследие сынов,
Лиешь багряный сок из Вакховых даров.
В дни мира острый плуг и заступ нам священны,
А меч, кровавый меч и шлемы оперенны
Снедает ржавчина безмолвно на стенах.
Оратай из лесу там едет на волах
С женою и с детьми, вином развеселенный!
Дни мира, вы любви игривой драгоценны!
Под знаменем ее воюем с красотой.
Ты плачешь, Ливия? Но победитель твой,
Смотри! — у ног твоих колена преклоняет.
Любовь коварная украдкой подступает,
И вот уж среди вас, размолвивших, сидит!
Пусть молния богов бесщадно поразит
Того, кто красоту обидел на сраженьи!
Но счастлив, если мог в минутном исступленьи
Венок на волосах каштановых измять
И пояс невзначай у девы развязать!
Счастлив, трикрат счастлив, когда твои угрозы
Исторгли из очей любви бесценны слезы!
А ты, взлелеянный средь копий и мечей,
Беги, кровавый Марс, от наших алтарей!

Между концом 1809 и мартом 1810

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ N.

О ты, которая была
Утех и радостей душою!
Как роза некогда цвела
Небесной красотою;
Теперь оставлена, печальна и одна,
Сидя смиренно у окна,
Без песней, без похвал встречаешь день рожденья —
Прими от дружества сердечны сожаленья,
Прими и сердце успокой.
Что потеряла ты? Льстецов бездушных рой,
Пугалищей ума, достоинства и нравов,
Судей безжалостных, докучливых нахалов.
Один был нежный друг... и он еще с тобой!

<1810>

ЛОЖНЫЙ СТРАХ

Подражание Парни

Помнишь ли, мой друг бесценный!
Как с амурами тишком,
Мраком ночи окруженный,
Я к тебе прокрался в дом?
Помнишь ли, о друг мой нежный!
Как дрожащая рука
От победы неизбежной
Защищалась — но слегка?
Слышен шум! — ты испугалась!
Свет блеснул и вмиг погас;
Ты к груди моей прижалась,
Чуть дыша... блаженный час!
Ты пугалась — я смеялся.
«Нам ли ведать, Хлоя, страх!
Гименей за всё ручался,
И амуры на часах.
Всё в безмолвии глубоком,
Всё почило сладким сном!
Дремлет Аргус томным оком
Под Морфеевым крылом!»
Рано утренние розы
Запылали в небесах...
Но любви бесценны слезы,
Но улыбка на устах,
Томно персей волнованье
Под прозрачным полотном —
Молча новое свиданье
Обещали вечерком.
Если б Зевсова десница
Мне вручила ночь и день, —
Поздно б юная денница
Прогоняла черну тень!
Поздно б солнце выходило
На восточное крыльцо:
Чуть блеснуло б и сокрыло
За лес рдяное лицо;
Долго б тени пролежали
Влажной ночи на полях;
Долго б смертные вкушали

Сладострастие в мечтах.
Дружбе дам я час единой,
Вакху час и сну другой.
Остальною ж половиной
Поделюсь, мой друг, с тобой!

<1810>

НАДПИСЬ НА ГРОБЕ ПАСТУШКИ

Подруги милые! в беспечности игривой
Под плясовой напев вы резвитесь в лугах.
И я, как вы, жила в Аркадии счастливой,
И я, на утре дней, в сих рощах и лугах
Минутны радости вкусила:
Любовь в мечтах златых мне счастие сулила:
Но что ж досталось мне в сих радостных местах? —
Могила!

<1810>

СЧАСТЛИВЕЦ

Слышишь! мчится колесница
Там по звонкой мостовой!
Правит сильная десница
Коней сребряной браздой!

Их копыта бьют о камень;
Искры сыплются струей;
Пышет дым, и черный пламень
Излетает из ноздрей!

Резьбой дивною и златом
Колесница вся горит.
На ковре ее богатом
Кто ж, Лизета, кто сидит?

Временщик, вельмож любимец,
Что на откуп город взял...

Ах! давно ли он у крылец
Пыль смиренно обметал?

Вот он с нами поравнялся
И едва кивнул главой;
Вот уж молнией промчался,
Пыль оставя за собой!

Добрый путь! Пока лелеет
В колыбели счастье вас!
Поздно ль? рано ль? но приспеет
И невзгоды страшный час.

Ах, Лизета! льзя ль прельщаться
И теперь его судьбой?
Не ему счастливым зваться
С развращенною душой!

Там, где хитростью искусства
Розы в зиму расцвели;
Там, где всё пленяет чувства —
Дань морей и дань земли:

Мрамор дивный из Пароса
И кораллы на стенах;
Там, где в роскоши Пафоса
На узорчатых коврах

Счастья шаткого любимец
С нимфами забвенье пьет, —
Там же слезы сей счастливец
От людей украдкой льет.

Бледен, ночью Крез несчастный
Шепчет тихо, чтоб жена
Не вняла сей глас ужасный:
«Мне погибель суждена!»

Сердце наше — кладезь мрачный:
Тих, покоен сверху вид,
Но спустись ко дну... ужасно!
Крокодил на нем лежит!

Душ великих сладострастье,
Совесть! зоркий страж сердец!
Без тебя ничтожно счастье,
Гибель — злато и венец!

<1810>

НА СМЕРТЬ ЛАУРЫ

Из Петрарки [1]

Колонна гордая! о лавр вечнозеленый!
Ты пал! — и я навек лишен твоих прохлад!
Ни там, где Инд живет, лучами опаленный,
Ни в хладном Севере для сердца нет отрад!

Всё смерть похитила, всё алчная пожрала —
Сокровище души, покой и радость с ним!
А ты, земля, вовек корысть не возвращала,
И мертвый нем лежит под камнем гробовым!

Всё тщетно пред тобой — и власть, и волхованья...
Таков судьбы завет!.. Почто ж мне доле жить?
Увы, чтоб повторять в час полночи рыданья
И слезы вечные на хладный камень лить!

Как сладко, жизнь, твое для смертных обольщенье!
Я в будущем мое блаженство основал,
Там пристань видел я, покой и утешенье —
И всё с Лаурою в минуту потерял!

<1810>

ВЕЧЕР

Подражание Петрарке

В тот час, как солнца луч потухнет за горою,
Склонясь на посох свой дрожащею рукою,
Пастушка, дряхлая от бремени годов,

---

[1] Сонет «Rotta è l'alta colonna é l verde lauro»

Спешит, спешит с полей под отдаленный кров
И там, пришед к огню, среди лачуги дымной
Вкушает трапезу с семьей гостеприимной,
Вкушает сладкий сон, взамену горьких слез!
А я, как солнца луч потухнет средь небес,
Один в изгнании, один с моей тоскою,
Беседую в ночи с задумчивой луною!

Когда светило дня потонет средь морей
И ночь, угрюмая владычица теней,
Сойдет с высоких гор с отрадной тишиною,
Оратай острый плуг увозит за собою
И, медленной стопой идя под отчий кров,
Поет простую песнь в забвенье всех трудов;
Супруга, рой детей оратая встречают
И брашна сельские поспешно предлагают.
Он счастлив — я один с безмолвною тоской
Беседую в ночи с задумчивой луной.

Лишь месяц сквозь туман багряный лик уставит
В недвижные моря, пастух поля оставит,
Простится с нивами, с дубравой и ручьем
И гибкою лозой стада погонит в дом.
Игралище стихий среди пучины пенной,
И ты, рыбарь, спешишь на брег уединенный!
Там, сети приклонив ко утлой ладие
(Вот всё от грозных бурь убежище твое!),
При блеске молнии, при шуме непогоды
Заснул... И счастлив ты, угрюмый сын природы!

Но се бледнеет там багряный небосклон,
И медленной стопой идут волы в загон
С холмов и пажитей, туманом орошенных.
О песнопений мать, в вертепах отдаленных,
В изгнаньи горестном утеха дней моих,
О лира, возбуди бряцаньем струн златых
И холмы спящие, и кипарисны рощи,
Где я, печали сын, среди глубокой нощи,
Объятый трепетом, склонился на гранит...
И надо мною тень Лауры пролетит!

<1810>

* * *

Рыдайте, амуры и нежные грации,
У нимфы моей на личике нежном
Розы поблекли и вянут все прелести.
Венера всемощная! Дочерь Юпитера!
Услышь моления и жертвы усердные:
Не погуби на тебя столь похожую!

<1810>

ЭЛИЗИЙ

О, пока бесценна младость
Не умчалася стрелой,
Пей из чаши полной радость
И, сливая голос свой
В час вечерний с тихой лютней,
Славь беспечность и любовь!
А когда в сени приютной
Мы услышим смерти зов,
То, как лозы винограда
Обвивают тонкий вяз,
Так меня, моя отрада,
Обними в последний раз!
Так лилейными руками
Цепью нежною обвей,
Съедини уста с устами,
Душу в пламени излей!
И тогда тропой безвестной,
Долу, к тихим берегам,
Сам он, бог любви прелестной,
Проведет нас по цветам
В тот Элизий, где всё тает
Чувством неги и любви,
Где любовник воскресает
С новым пламенем в крови,
Где, любуясь пляской граций,
Нимф, сплетенных в хоровод,
С Делией своей Гораций
Гимны радости поет.

Там, под тенью миртов зыбкой,
Нам любовь сплетет венцы
И приветливой улыбкой
Встретят нежные певцы.

<1810>

МАДАГАСКАРСКАЯ ПЕСНЯ

Как сладко спать в прохладной тени,
Пока долину зной палит
И ветер чуть в древесной сени
Дыханьем листья шевелит!

Приближьтесь, жены, и, руками
Сплетяся дружно в легкий круг,
Протяжно, тихими словами
Царя возвеселите слух!

Воспойте песни мне девицы,
Плетущей сети для кошниц,
Или как, сидя у пшеницы,
Она пугает жадных птиц.

Как ваше пенье сердцу внятно,
Как негой утомляет дух!
Как, жены, издали приятно
Смотреть на ваш сплетенный круг!

Да тихи, медленны и страстны
Телодвиженья будут вновь,
Да всюду, с чувствами согласны,
Являют негу и любовь!

Но ветр вечерний повевает,
Уж светлый месяц над рекой,
И нас у кущи ожидает
Постель из листьев и покой.

<1810>

ЛЮБОВЬ В ЧЕЛНОКЕ

Месяц плавал над рекою,
Всё спокойно! Ветерок
Вдруг повеял, и волною
Принесло ко мне челнок.

Мальчик в нем сидел прекрасный;
Тяжким правил он веслом.
«Ах, малютка мой несчастный!
Ты потонешь с челноком!»

— «Добрый путник, дай помóгу;
Я не справлю, сидя в нем.
На — весло! и понемногу
Мы к ночлегу доплывем».

Жалко мне малютки стало;
Сел в челнок — и за весло!
Парус ветром надувало,
Нас стрелою понесло.

И вдоль берега помчались,
По теченью быстрых вод;
А на берег собирались
Стаей нимфы в хоровод.

Резвые смеялись, пели
И цветы кидали в нас;
Мы неслись, стрелой летели..
О беда! О страшный час!..

Я заслушался, забылся,
Ветер с моря заревел —
Мой челнок о мель разбился,
А малютка... улетел!

Кое-как на голый камень
Вышел, с горем пополам;

Я обмок — а в сердце пламень:
Из беды опять к бедам!

Всюду нимф ищу прекрасных,
Всюду в горести брожу,
Лишь в мечтаньях сладострастных
Тени милых нахожу.

Добрый путник! в час погоды
Не садися ты в челнок!
Знать, сии опасны воды;
Знать, малютка... страшный бог!

<1810>

ПРИВИДЕНИЕ

Из Парни

Посмотрите! в двадцать лет
Бледность щеки покрывает;
С утром вянет жизни цвет:
Парка дни мои считает
И отсрочки не дает.
Что же медлить! Ведь Зевеса
Плач и стон не укротит.
Смерти мрачной занавеса
Упадет — и я забыт!
Я забыт... но из могилы,
Если можно воскресать,
Я не стану, друг мой милый,
Как мертвец тебя пугать.
В час полуночных явлений
Я не стану в виде тени,
То внезапу, то тишком,
С воплем в твой являться дом.
Нет, по смерти невидимкой
Буду вкруг тебя летать;
На груди твоей под дымкой
Тайны прелести лобзать;

Стану всюду развевать
Легким уст прикосновеньем,
Как зефира дуновеньем,
От каштановых волос
Тонкий запах свежих роз.
Если лилия листами
Ко груди твоей прильнет,
Если яркими лучами
В камельке огонь блеснет,
Если пламень потаенный
По ланитам пробежал,
Если пояс сокровенный
Развязался и упал, —
Улыбнися, друг бесценный,
Это я! — Когда же ты,
Сном закрыв прелестны очи,
Обнажишь во мраке ночи
Роз и лилий красоты,
Я вздохну... и глас мой томный,
Арфы голосу подобный,
Тихо в воздухе умрет.
Если ж легкими крылами
Сон глаза твои сомкнет,
Я невидимо с мечтами
Стану плавать над тобой.
Сон твой, Хлоя, будет долог...
Но когда блеснет сквозь полог
Луч денницы золотой,
Ты проснешься... о, блаженство!
Я увижу совершенство...
Тайны прелести красот,
Где сам пламенный Эрот
Оттенил рукой своею
Розой девственну лилею.
Всё опять в моих глазах!
Все покровы исчезают;
Час блаженнейший!.. Но, ах!
Мертвые не воскресают.

Февраль 1810

СТИХИ НА СМЕРТЬ ДАНИЛОВОЙ, ТАНЦОВЩИЦЫ С.-ПЕТЕРБУРГСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ТЕАТРА[1]

Вторую Душеньку или еще прекрасней,
Еще, еще опасней,
Меж Терпсихориных любимиц усмотрев,
Венера не могла сокрыть жестокий гнев:
С мольбою к паркам приступила
И нас Даниловой лишила.

Между 8 января и апрелем 1810
С.-Петербург

К ПЕТИНУ

О любимец бога брани,
Мой товарищ на войне!
Я платил с тобою дани
Богу славы не одне:
Ты на кивере почтенном
Лавры с миртом сочетал;
Я в углу уединенном
Незабудки собирал.
Помнишь ли, питомец славы,
Индесальми? Страшну ночь?
«Не люблю такой забавы», —
Молвил я, — и с музой прочь!
Между тем как ты штыками
Шведов за лес провожал,
Я геройскими руками...
Ужин вам приготовлял.
Счастлив ты, шалун любезный,
И в Цитерской стороне;
Я же — всюду бесполезный,
И в любви, и на войне,
Время жизни в скуке трачу
(За крылатый счастья миг!) —
Ночь зеваю... утром плачу
Об утрате снов моих.

[1] Она представляла Психею в славном балете «Амур и Психея».

Тщетны слезы! Мне готова
Цепь, сотканна из сует;
От родительского крова
Я опять на море бед.
Мой челнок Любовь слепая
Правит детскою рукой;
Между тем как Лень, зевая,
На корме сидит со мной.
Может быть, как быстра младость
Убежит от нас бегом,
Я возьмусь за ум... да радость
Уживется ли с умом?
Ах, почто же мне заране,
Друг любезный, унывать? —
Вся судьба моя в стакане!
Станем пить и воспевать:
«Счастлив! счастлив, кто цветами
Дни любови украшал,
Пел с беспечными друзьями,
А о счастии... мечтал!
Счастлив он, и втрое боле,
Всех вельможей и царей!
Так давай в безвестной доле,
Чужды рабства и цепей,
Кое-как тянуть жизнь нашу,
Часто с горем пополам,
Наливать полнее чашу
И смеяться дуракам!»

Первая половина 1810

ИСТОЧНИК

Буря умолкла, и в ясной лазури
Солнце явилось на западе нам;
Мутный источник, след яростной бури,
С ревом и с шумом бежит по полям!
Зафна! Приближься: для девы невинной
Пальмы под тенью здесь роза цветет;

Падая с камня, источник пустынный
С ревом и с пеной сквозь дебри течет!

Дебри ты, Зафна, собой озарила!
Сладко с тобою в пустынных краях!
Песни любови ты мне повторила;
Ветер унес их на тихих крылах!
Голос твой, Зафна, как утра дыханье,
Сладостно шепчет, несясь по цветам.
Тише, источник! Прерви волнованье,
С ревом и с пеной стремясь по полям!

Голос твой, Зафна, в душе отозвался;
Вижу улыбку и радость в очах!..
Дева любви! — я к тебе прикасался,
С медом пил розы на влажных устах!
Зафна краснеет?.. О друг мой невинный,
Тихо прижмися устами к устам!..
Будь же ты скромен, источник пустынный,
С ревом и с шумом стремясь по полям!

Чувствую персей твоих волнованье,
Сердца биенье и слезы в очах;
Сладостно девы стыдливой роптанье!
Зафна, о Зафна!.. Смотри... там, в водах,
Быстро несется цветок розмаринный;
Воды умчались — цветочка уж нет!
Время быстрее, чем ток сей пустынный,
С ревом который сквозь дебри течет!

Время погубит и прелесть и младость!..
Ты улыбнулась, о дева любви!
Чувствуешь в сердце томленье и сладость,
Сильны восторги и пламень в крови!..
Зафна, о Зафна! — там голубь невинный
С страстной подругой завидуют нам...
Вздохи любови — источник пустынный
С ревом и с шумом умчит по полям!

Первая половина 1810

ОТЪЕЗД

Ты хочешь, горсткой фимиама
Чтоб жертвенник я твой почтил?
Для граций муза не упряма,
И я им лиру посвятил.

Я вижу, вкруг тебя толпятся
Вздыхатели — шумливый рой!
Как пчелы на цветок стремятся
Иль легки бабочки весной.

И Марс высокий, в битвах смелый,
И Селадон плаксивый тут,
И юноша еще незрелый
Тебе сердечну дань несут.

Один — я видел — всё вздыхает,
Другой как мраморный стоит,
Болтун сорокой не болтает,
Нахал краснеет и молчит.

Труды затейливой Арахны,
Сотканные в углу тайком,
Не столь для мух игривых страшны,
Как твой для нас волшебный дом.

Но я один, прелестна Хлоя,
Платить сей дани не хочу
И, осторожности удвоя,
На тройке в Питер улечу.

Первая половина 1810 (?)

РАДОСТЬ

Любимца Кипридина
И миртом, и розою
Венчайте, о юноши
И девы стыдливые!
Толпами сбирайтеся,

Руками сплетайтеся
И, радостно топая,
Скачите и прыгайте!
Мне лиру тиискую
Камены и грации
Вручили с улыбкою:
И песни веселию,
Приятнее не́ктара
И слаще амврозии,
Что пьют небожители,
В блаженстве беспечные,
Польются со струн ее!
Сегодня — день радости:
Филлида суровая
Сквозь слезы стыдливости
«Люблю!» мне промолвила.
Как роза, кропимая
В час утра Авророю,
С главой, отягченною
Бесценными каплями,
Румяней становится, —
Так ты, о прекрасная!
С главою поникшею,
Сквозь слезы стыдливости,
Краснея, промолвила:
«Люблю!» тихим шепотом.
Всё мне улыбнулося;
Тоска и мучения,
И страхи и горести
Исчезли — как не было!
Киприда, влекомая
По воздуху синему
Меж бисерных облаков
Цитерскими птицами
К Цитере иль Пафосу,
Цветами осыпала
Меня и красавицу.
Всё мне улыбнулося! —
И солнце весеннее,
И рощи кудрявые,
И воды прозрачные,
И холмы парнасские!

Любимца Кипридина,
В любви победителя,
И миртом, и розою
Венчайте, о юноши
И девы стыдливые!

Около 1810 (?)

СОН ВОИНОВ

Из поэмы «Иснель и Аслега»

Битва кончилась, ратники пируют вокруг зажженных дубов...

...Но вскоре пламень потухает,
И гаснет пепел черных пней,
И томный сон отягощает
Лежащих воев средь полей.
Сомкнулись очи; но призра́ки
Тревожат краткий их покой:
Иный лесов проходит мраки,
Зверей голодных слышит вой;
Иный на лодке легкой реет
Среди кипящих в море волн;
Веслом десница не владеет,
И гибнет в бездне бренный челн;
Иный места узрел знакомы,
Места отчизны, милый край!
Уж слышит псов домашних лай
И зрит отцов поля и домы
И нежных чад своих... Мечты!
Проснулся в бездне темноты!
Иный чудовище сражает —
Бесплодно меч его сверкает;
Махнул еще, его рука,
Подъята вверх... окостенела;
Бежать хотел — его нога
Дрожит, недвижима, замлела;
Встает — и пал! Иный плывет
Поверх прозрачных тихих вод
И пенит волны под рукою;
Волна, усиленна волною,

Клубится, пенится горой
И вдруг обрушилась, клокочет;
Несчастный борется с рекой,
Воззвать к дружине верной хочет, —
И голос замер на устах!
Другой бежит на поле ратном,
Бежит, глотая пыль и прах;
Трикрат сверкнул мечом булатным,
И в воздухе недвижим меч!
Звеня упали латы с плеч...
Копье рамена прободает,
И хлещет кровь из них рекой;
Несчастный раны зажимает
Холодной, трепетной рукой!
Проснулся он... и тщетно ищет
И ран, и вражьего копья.
Но ветр шумит и в роще свищет;
И волны мутного ручья
Подошвы скал угрюмых роют,
Клубятся, пенятся и воют
Средь дебрей снежных и холмов...

Между 1808 и февралем 1811

СКАЛЬД

«Воспой нам песнь любви и брани,
О скальд, свидетель древних лет,
Твой меч тяжел для слабой длани,
Но глас века переживет!»
— «Отцов великих славны чада! —
Егил героям отвечал, —
Священных скальдов песнь — награда
Тому, кто в битвах славно пал:
И щит его, и метки стрелы —
Они спасут от алчной Гелы.
Ах, мне ли петь? Мой глас исчез,
Как бури усыпленный ропот,
Который, чуть колебля лес,
Несет в долины томный шепот.

Но славны подвиги отцов
Живут в моем воспоминаньи;
При тусклом зарева мерцаньи
Прострите взор на ряд холмов,
На ветхи стены и могилы,
Покры<ты> мхом, — там ветр унылый
С усопших прахом говорит;
Там меч, копье и звонкий щит
Покрыты пылью и забвенны...
Остатки храброго священны!
Я их принес на гроб друзей,
На гроб Аскара и Елои!..
А вы, о юноши-герои,
Внемлите повести моей».

Между 1809 и 1811

НА СМЕРТЬ СУПРУГИ Ф. Ф. КОКОШКИНА

Nell'età sua più bella e più fiorita...
...E viva, e bella al ciel salita.

Petrarca[1]

Нет подруги нежной, нет прелестной Лилы!
Всё осиротело!
Плачь, любовь и дружба, плачь, Гимен унылый!
Счастье улетело!

Дружба! ты всечасно радости цветами
Жизнь ее дарила;
Ты свою богиню с воплем и слезами
В землю положила.

Ты печальны тисы, кипарисны лóзы
Насади вкруг урны!
Пусть приносит юность в дар чистейший слезы
И цветы лазурны!

---

[1] В самом прекрасном, самом цветущем возрасте... Живая, прекрасная взошла на небо. *Петрарка* (итал.). — *Ред.*

Скальдъ.

"Воспой намъ пѣснь любви и брани. –
О скальдъ, свидѣтель древнихъ лѣтъ,
Твой мечь тяжелъ для слабой длани
Но гласъ вѣка переживетъ! –
Отцовъ великихъ, славны чада,
(Егилъ Героямъ отвѣчалъ)
Священная скальдовъ пѣснь, награда
Тому кто въ битвахъ славно палъ;
И щитъ его и мѣткіи стрѣлы
Они спасутъ отъ алчной Гелы:
Ахъ мнѣ ли пѣть?.. мой гласъ исчезъ!
Какъ бури утихающій ропотъ.
Который чуть колебля лѣсъ
Несетъ въ долины томный шопотъ;
Но славны подвиги отцовъ
Живутъ въ моемъ воспоминаньи:
При тускломъ Варева мерцаньи
Прострите взоръ на рядъ холмовъ
На верхи, стѣны, и могилы
Покрылъ мохомъ, гдѣ вѣтръ унылый
Съ усопшихъ прахомъ говоритъ;
Тамъ мечь копье и звонкій щитъ
Покрыты пылью, и забвенны...
~~Доспехи~~ остатки храбраго священны!,
Я ~~васъ~~ ихъ принесъ на гробъ друзей
На гробъ Аскара и Елои!..
А вы, о юноши – Герои,
Внемлите пѣсни моей:

Всё вокруг уныло! Чуть зефир весенний
Памятник лобзает;
Здесь, в жилище плача, тихий смерти гений
Розу обрывает.

Здесь Гимен, прикован, бледный и безгласный,
Вечною тоскою,
Гасит у гробницы свой светильник ясный
Трепетной рукою!

Апрель или май 1811

‹Н. И. ГНЕДИЧУ›

Сей старец, что всегда летает,
Всегда приходит, отъезжает,
Везде живет — и здесь и там,
С собою водит дни и веки,
Съедает горы, сушит реки
И нову жизнь дает мирам,
Сей старец, смертных злое бремя,
Желанный всеми, страшный всем,
Крылатый, легкий, словом — *время,*
Да будет в дружестве твоем
Всегда порукой неизменной
И, пробегая глупый свет,
На дружбы жертвенник священный
Любовь и счастье занесет!

5 декабря 1811

‹ОТРЫВОК ИЗ XXXIV ПЕСНИ «НЕИСТОВОГО ОРЛАНДА»›

Увы, мы носим все дурачества оковы,
И все терять готовы
Рассудок, бренный дар небесного отца!
Тот губит ум в любви, средь неги и забавы,
Тот, рыская в полях за дымом ратной славы,
Тот, ползая в пыли пред сильным богачом,
Тот, по морю летя за тирским багрецом,

Тот, золота искав в алхимии чудесной,
Тот, плавая умом во области небесной,
Тот с кистию в руках, тот с млатом иль с резцом.
Астрономы в звездах, софисты за словами,
А жалкие певцы за жалкими стихами:
Дурачься, смертных род, в луне рассудок твой!

Декабрь 1811

ФИЛОМЕЛА И ПРОГНА[1]

Из Лафонтена

Когда-то Прогна залетела
От башен городских, обители своей,
В леса пустынные, где пела
Сиротка Филомела,
И так сказала ей
Болтливая певица:
«Здорово, душенька-сестрица!
Ни видом не видать тебя уж много лет!
Зачем забыла свет?
Зачем наш край не посещала?
Где пела, где жила? Куда и с кем летала?
Пора, пора и к нам
Залетом по веснам;
Здесь скучно: все леса унылы,
И колоколен нет».
— «Ах, мне леса и милы!» —
Печальный был ответ.
«Кому ж ты здесь поешь, — касатка возразила, —
В такой дали от жила,
От ласточек и от людей?
Кто слушает тебя? Стада глухих зверей
Иль хищных птиц собранье?
Сестра! грешно терять небесно дарованье
В безлюдной стороне.
Признаться... здесь и страшно мне!

[1] Филомела и Прогна — дочери Пандиона. Терей, супруг последней, влюбился в Филомелу, заключил ее в замок, во Фракии находящийся, обесчестил и отрезал язык. Боги, сжалившись над участию несчастных сестер, превратили Филомелу в соловья, а Прогну в ласточку.

Смотри: песчаный бор, река, пустынны виды,
Гора, висяща над горой,
Как словно в Фракии глухой,
На мысль приводят нам Тереевы обиды.
И где же тут покой?»
— «Затем-то и живу средь скучного изгнанья,
Боясь воспоминанья,
Лютейшего сто раз:
Людей боюсь у вас», —
Вздохнув, сказала Филомела,
Потом: «Прости, прости!» — взвилась и улетела
Из ласточкиных глаз.

1811
Череповец

ДРУЖЕСТВО

Блажен, кто друга здесь по сердцу обретает,
Кто любит и любим чувствительной душой!
Тезей на берегах Коцита не страдает, —
С ним друг его души, с ним верный Пирифой.
Атридов сын в цепях, но зависти достоин!
С ним друг его, Пилад... под лезвеем мечей.
А ты, младый Ахилл, великодушный воин,
Бессмертный образец героев и друзей!
Ты дружбою велик, ты ей дышал одною!
И, друга смерть отмстив бестрепетной рукою,
Счастлив! ты мертв упал на гибельный трофей!

1811 или начало 1812

ХОР ДЛЯ ВЫПУСКА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ СМОЛЬНОГО МОНАСТЫРЯ

Один голос

Прости, гостеприимный кров,
Жилище юности беспечной!
Где время средь забав, веселий и трудов
Как сон промчалось скоротечный.

Хор

Прости, гостеприимный кров,
Жилище юности беспечной!

Подруги! сердце в первый раз
Здесь чувства сладкие познало;
Здесь дружество навек златою цепью нас,
Подруги милые, связало...
Так! сердце наше в первый раз
Здесь чувства сладкие познало.

Виновница счастливых дней!
Прими сердец благодаренья:
К тебе летят сердца усердные детей
И тайные благословенья.
Виновница счастливых дней!
Прими сердец благодаренья!

Наш царь, подруги, посещал
Сие жилище безмятежно:
Он сам в глазах детей признательность читал
К его родительнице нежной.
Монарх великий посещал
Жилище наше безмятежно!

Простой, усердный глас детей
Прими, о боже, покровитель!
Источник новый благ и радости пролей
На мирную сию обитель.
И ты, о боже, глас детей
Прими, всесильный покровитель!

Мы чтили здесь от юных лет
Закон твой, благости зерцало;
Под сенью алтарей, тобой хранимый цвет,
Здесь юность наша расцветала.
Мы чтили здесь от юных лет
Закон твой, благости зерцало.

Финал

Прости же ты, священный кров,
Обитель юности беспечной,

Где время средь забав, веселий и трудов
Как сон промчалось скоротечный!
Где сердце в жизни в первый раз
От чувств веселья трепетало
И дружество навек златою цепью нас,
Подруги милые, связало!

Январь или февраль 1812

МОИ ПЕНАТЫ

Послание к Жуковскому и Вяземскому

Отечески пенаты,
О пестуны мои!
Вы златом не богаты,
Но любите свои
Норы и темны кельи,
Где вас на новосельи
Смиренно здесь и там
Расставил по углам;
Где странник я бездомный,
Всегда в желаньях скромный,
Сыскал себе приют.
О боги! будьте тут
Доступны, благосклонны!
Не вина благовонны,
Не тучный фимиам
Поэт приносит вам,
Но слезы умиленья,
Но сердца тихий жар
И сладки песнопенья,
Богинь пермесских дар!
О лары! уживитесь
В обители моей,
Поэту улыбнитесь —
И будет счастлив в ней!..
В сей хижине убогой
Стоит перед окном
Стол ветхий и треногий
С изорванным сукном.
В углу, свидетель славы

И суеты мирской,
Висит полузаржавый
Меч прадедов тупой;
Здесь книги выписные,
Там жесткая постель —
Всё утвари простые,
Всё рухлая скудель!
Скудель!.. Но мне дороже,
Чем бархатное ложе
И вазы богачей!..

Отеческие боги!
Да к хижине моей
Не сыщет ввек дороги
Богатство с суетой,
С наемною душой
Развратные счастливцы,
Придворные друзья
И бледны горделивцы,
Надутые князья!
Но ты, о мой убогой
Калека и слепой,
Идя путем-дорогой
С смиренною клюкой,
Ты смело постучися,
О воин, у меня,
Войди и обсушися
У яркого огня.
О старец, убеленный
Годами и трудом,
Трикраты уязвленный
На приступе штыком!
Двуструнной балалайкой
Походы прозвени
Про витязя с нагайкой,
Что в жупел и в огни
Летал перед полками
Как вихорь на полях,
И вкруг его рядами
Враги ложились в прах!..
И ты, моя Лилета,
В смиренный уголок

Приди под вечерок,
Тайком переодета!
Под шляпою мужской
И кудри золотые,
И очи голубые,
Прелестница, сокрой!
Накинь мой плащ широкой,
Мечом вооружись
И в полночи глубокой
Внезапно постучись...
Вошла — наряд военный
Упал к ее ногам,
И кудри распущенны
Взвевают по плечам,
И грудь ее открылась
С лилейной белизной:
Волшебница явилась
Пастушкой предо мной!
И вот с улыбкой нежной
Садится у огня,
Рукою белоснежной
Склонившись на меня,
И алыми устами,
Как ветер меж листами,
Мне шепчет: «Я твоя,
Твоя, мой друг сердечный!..»
Блажен в сени беспечной,
Кто милою своей,
Под кровом от ненастья,
На ложе сладострастья,
До утренних лучей
Спокойно обладает,
Спокойно засыпает
Близ друга сладким сном!..

Уже потухли звезды
В сиянии дневном,
И пташки теплы гнезды,
Что свиты над окном,
Щебеча покидают
И негу отрясают
Со крылышек своих;

Зефир листы колышет,
И всё любовью дышит
Среди полей моих;
Всё с утром оживает,
А Лила почивает
На ложе из цветов...
И ветер тиховейный
С груди ее лилейной
Сдул дымчатый покров...
И в локоны златые
Две розы молодые
С нарциссами вплелись;
Сквозь тонкие преграды
Нога, ища прохлады,
Скользит по ложу вниз...
Я Лилы пью дыханье
На пламенных устах,
Как роз благоуханье,
Как нéктар на пирах!..
Покойся, друг прелестный,
В объятиях моих!
Пускай в стране безвестной,
В тени лесов густых,
Богинею слепою
Забыт я от пелен,
Но дружбой и тобою
С избытком награжден!
Мой век спокоен, ясен;
В убожестве с тобой
Мне мил шалаш простой,
Без злата мил и красен
Лишь прелестью твоей!

Без злата и честей
Доступен добрый гений
Поэзии святой,
И часто в мирной сени
Беседует со мной.
Небесно вдохновенье,
Порыв крылатых дум!
(Когда страстей волненье
Уснет... и светлый ум,

Летая в поднебесной,
Земных свободен уз,
В Аонии прелестной
Сретает хоры муз!)
Небесно вдохновенье,
Зачем летишь стрелой
И сердца упоенье
Уносишь за собой?
До розовой денницы
В отрадной тишине,
Парнасские царицы,
Подруги будьте мне!
Пускай веселы тени
Любимых мне певцов,
Оставя тайны сени
Стигийских берегов
Иль области эфирны,
Воздушною толпой
Слетят на голос лирный
Беседовать со мной!..
И мертвые с живыми
Вступили в хор един!..
Что вижу? ты пред ними,
Парнасский исполин,
Певец героев, славы,
Вслед вихрям и громам,
Наш лебедь величавый,
Плывешь по небесам.
В толпе и муз, и граций,
То с лирой, то с трубой,
Наш Пиндар, наш Гораций
Сливает голос свой.
Он громок, быстр и силен,
Как Суна средь степей,
И нежен, тих, умилен,
Как вешний соловей.
Фантазии небесной
Давно любимый сын,
То повестью прелестной
Пленяет Карамзин,
То мудрого Платона
Описывает нам

И ужин Агатона
И наслажденья храм,
То древню Русь и нравы
Владимира времян
И в колыбели славы
Рождение славян.
За ними сильф прекрасный,
Воспитанник харит,
На цитре сладкогласной
О Душеньке бренчит;
Мелецкого с собою
Улыбкою зовет
И с ним, рука с рукою,
Гимн радости поет!..
С эротами играя,
Философ и пиит,
Близ Федра и Пильпая
Там Дмитриев сидит;
Беседуя с зверями,
Как счастливый дитя,
Парнасскими цветами
Скрыл истину шутя.
За ним в часы свободы
Поют среди певцов
Два баловня природы,
Хемницер и Крылов.
Наставники-пииты,
О Фебовы жрецы!
Вам, вам плетут хариты
Бессмертные венцы!
Я вами здесь вкушаю
Восторги пиерид,
И в радости взываю:
О музы! я пиит!

А вы, смиренной хаты
О лары и пенаты!
От зависти людской
Мое сокройте счастье,
Сердечно сладострастье
И негу и покой!
Фортуна, прочь с дарами

Блистательных сует!
Спокойными очами
Смотрю на твой полет:
Я в пристань от ненастья
Челнок мой проводил
И вас, любимцы счастья,
Навеки позабыл...
Но вы, любимцы славы,
Наперсники забавы,
Любви и важных муз,
Беспечные счастливцы,
Философы-ленивцы,
Враги придворных уз,
Друзья мои сердечны!
Придите в час беспечный
Мой домик навестить —
Поспорить и попить!
Сложи печалей бремя,
Жуковский добрый мой!
Стрелою мчится время,
Веселие стрелой!
Позволь же дружбе слезы
И горесть усладить
И счастья блеклы розы
Эротам оживить.
О Вяземский! цветами
Друзей твоих венчай.
Дар Вакха перед нами:
Вот кубок — наливай!
Питомец муз надежный,
О Аристиппов внук!
Ты любишь песни нежны
И рюмок звон и стук!
В час неги и прохлады
На ужинах твоих
Ты любишь томны взгляды
Прелестниц записных.
И все заботы славы,
Сует и шум, и блажь
За быстрый миг забавы
С поклонами отдашь.
О! дай же ты мне руку,

Товарищ в лени мой,
И мы... потопим скуку
В сей чаше золотой!
Пока бежит за нами
Бог времени седой
И губит луг с цветами
Безжалостной косой,
Мой друг! скорей за счастьем
В путь жизни полетим;
Упьемся сладострастьем
И смерть опередим;
Сорвем цветы украдкой
Под лезвеем косы
И ленью жизни краткой
Продлим, продлим часы!
Когда же парки тощи
Нить жизни допрядут
И нас в обитель нощи
Ко прадедам снесут, —
Товарищи любезны!
Не сетуйте о нас,
К чему рыданья слезны,
Наемных ликов глас?
К чему сии куренья,
И колокола вой,
И томны псалмопенья
Над хладною доской?
К чему?.. Но вы толпами
При месячных лучах
Сберитесь и цветами
Усейте мирный прах;
Иль бросьте на гробницы
Богов домашних лик,
Две чаши, две цевницы
С листами повилик;
И путник угадает
Без надписей златых,
Что прах тут почивает
Счастливцев молодых!

Вторая половина 1811
и первая половина 1812

К ЖУКОВСКОМУ

Прости, балладник мой,
Белёва мирный житель!
Да будет Феб с тобой,
Наш давний покровитель!
Ты счастлив средь полей
И в хижине укромной.
Как юный соловей
В прохладе рощи темной
С любовью дни ведет,
Гнезда не покидая,
Невидимый поет,
Невидимо пленяя
Веселых пастухов
И жителей пустынных, —
Так ты, краса певцов,
Среди забав невинных,
В отчизне золотой
Прелестны гимны пой!
О! пой, любимец счастья,
Пока веселы дни
И розы сладострастья
Кипридою даны,
И роскошь золотая,
Все блага рассыпая
Обильною рукой,
Тебе подносит вины
И портер выписной,
И сочны апельсины,
И с трюфлями пирог —
Весь Амальтеи рог,
Вовек неистощимый,
На жирный твой обед!
А мне... покоя нет!
Смотри! неумолимый
Домашний Гиппократ,
Наперсник парки бледной,
Попов слуга усердный,
Чуме и смерти брат,
Поклявшися латынью
И практикой своей,

Поит меня полынью
И супом из костей;
Без дальнего старанья
До смерти запоит
И к вам писать посланья
Отправит за Коцит!
Всё в жизни изменило,
Что сердцу сладко льстило,
Всё, всё прошло, как сон:
Здоровье легкокрыло,
Любовь и Аполлон!
Я стал подобен тени,
К смирению сердец,
Сух, бледен, как мертвец;
Дрожат мои колени,
Спина дугой к земле,
Глаза потухли, впали,
И скорби начертали
Морщины на челе;
Навек исчезла сила
И доблесть прежних лет.
Увы! мой друг, и Лила
Меня не узнает.
Вчера с улыбкой злою
Мне молвила она
(Как древле Громобою
Коварный Сатана):
«Усопший! мир с тобою!
Усопший, мир с тобою!» —
Ах! это ли одно
Мне роком суждено
За древни прегрешенья?..
Нет, новые мученья,
Достойные бесов!
Свои стихотворенья
Читает мне Свистов;
И с ним певец досужий,
Его покорный бес,
Как он, на рифмы дюжий,
Как он, головорез!
Поют и напевают
С ночи до бела дня;

Читают и читают,
И до смерти меня
Убийцы зачитают!

Июнь 1812

ОТВЕТ ТУРГЕНЕВУ

Ты прав! Поэт не лжец,
Красавиц воспевая.
Но часто наш певец,
В восторге утопая,
Рассудка строгий глас
Забудет для Армиды,
Для двух коварных глаз;
Под знаменем Киприды
Сей новый Дон-Кишот
Проводит век с мечтами:
С химерами живет,
Беседует с духами,
С задумчивой луной,
И мир смешит собой!
Для света равнодушен,
Для славы и честей,
Одной любви послушен,
Он дышит только ей.
Везде с своей мечтою,
В столице и в полях,
С поникшей головою,
С унынием в очах,
Как призрак бледный бродит;
Одно твердит, поет:
Любовь, любовь зовет..:
И рифмы лишь находит!
Так! верно, Аполлон
Давно с любовью в ссоре,
И мститель Купидон
Судил поэтам горе.
Все нимфы строги к нам
За наши псалмопенья,
Как Дафна к богу пенья;

Мы лавр находим там
Иль кипарис печали,
Где счастья роз искали,
Цветущих не для нас.
Взгляните на Парнас:
Любовник строгой Лоры
Там в горести погас;
Скалы и дики горы
Его лишь знали глас
На берегах Воклюзы.
Там Душеньки певец,
Любимец нежный музы
И пламенных сердец,
Любил, вздыхал всечасно,
Везде искал мечты,
Но лирой сладкогласной
Не тронул красоты.
Лесбосская певица,
Прекрасная в жена́х,
Любви и Феба жрица,
Дни кончила в волнах...
И я — клянусь глазами,
Которые стихами
Мы взапуски поем,
Клянуся Хлоей в том,
Что русские поэты
Давно б на берег Леты
Толпами перешли,
Когда б скалу Левкада
В болота Петрограда
Судьбы перенесли!

Первая половина 1812 (?)

РАЗЛУКА

Гусар, на саблю опираясь,
В глубокой горести стоял;
Надолго с милой разлучаясь,
Вздыхая, он сказал:

«Не плачь, красавица! Слезами
Кручине злой не пособить!
Клянуся честью и усами
Любви не изменить!

Любви непобедима сила!
Она мой верный щит в войне;
Булат в руке, а в сердце Лила, —
Чего страшиться мне?

Не плачь, красавица! Слезами
Кручине злой не пособить!
А если изменю... усами
Клянусь, наказан быть!

Тогда мой верный конь споткнися,
Летя во вражий стан стрелой,
Уздечка бранная порвися
И стремя под ногой!

Пускай булат в руке с размаха
Изломится, как прут гнилой,
И я, бледнея весь от страха,
Явлюсь перед тобой!»

Но верный конь не спотыкался
Под нашим всадником лихим;
Булат в боях не изломался, —
И честь гусара с ним!

А он забыл любовь и слезы
Своей пастушки дорогой
И рвал в чужбине счастья розы
С красавицей другой.

Но что же сделала пастушка?
Другому сердце отдала.
Любовь красавицам — игрушка,
А клятвы их — слова!

Всё здесь, друзья! изменой дышит,
Теперь нет верности нигде!
Амур, смеясь, все клятвы пишет
Стрелою на воде.

Между сентябрем 1812 и январем 1813 (?)

ПЕВЕЦ В БЕСЕДЕ ЛЮБИТЕЛЕЙ РУССКОГО СЛОВА

Певец

Друзья! все гости по домам!
От чтенья охмелели!
Конец и прозе, и стихам
До будущей недели!
Мы здесь одни!.. Что делать? Пить
Вино из полной чаши!
Давайте взапуски хвалить
Славянски оды наши.

Сотрудники

Мы здесь одни!.. Что делать? Пить *(и проч.)*.

Певец

Сей кубок чадам древних лет!
Вам слава, наши деды!
Друзья! Почто покойных нет
Певцов среди «Беседы»!
Их вирши сгнили в кладовых
Иль съедены мышами,
Иль продают на рынке в них
Салакушку с сельдями.
Но дух отцов воскрес в сынах,
Мы все для славы дышим,
Давно здесь в прозе и стихах,
Как Тредьяковский, пишем.

Сотрудники

Но дух отцов воскрес в сынах *(и проч.)*.

Певец

Чья тень парит под потолком
Над нашими главами?
За ней, пред ней... о страх! — кругом
Поэты со стихами!
Се Тредьяковский в парике
Засаленном, с кудрями,
С «Тилемахидою» в руке,
С Ролленем за плечами!
Почто на нас, о муж седой!
Вперил ты грозны очи?
Мы все клялись, клялись тобой
С утра до полуночи
Писать, как ты, тебе служить;
Мы все с рассудком в споре,
Для славы будем жить и пить,
Нам по колено море!
Напьемся пьяны музе в дань,
Так пили наши деды!
Рассудку — гибель, вкусу — брань,
Хвала — сынам «Беседы»!
Пусть Ломоносов был умен,
И нас еще умнее;
За пьянство стал бессмертен он,
А мы его пьянее.

Сотрудники

Для славы будем жить и пить.
Врагу беда и горе!
Почто рассудок нам щадить?
Нам по колено море.

Певец

Друзья! большой бокал отцов
За лавку Глазунова!
Там царство вечное стихов
Шихматова лихова.
Родного крова милый свет,
Знакомые подвалы,
Златые игры прежних лет —
Невинны мадригалы!

Что вашу прелесть заменит?
  О лавка дорогая!
Какое сердце не дрожит,
  Тебя благословляя?

Сотрудники

Что вашу прелесть заменит *(и проч.)*.

Певец

Там всё знакомо для певцов,
  Там наши дети милы,
Кладбище мирное стихов,
  Бумажные могилы,
Там царство тленья и мышей,
  Там Николев почтенный,
И древний прах календарей,
  И прах газет священный.
Да здравствует «Беседы» царь!
  Цвети твоя держава!
Бумажный трон твой — наш алтарь,
  Пред ним обет наш — слава!
Не изменим: мы от отцов
  Прияли глупость с кровью;
Сумбур! здесь сонм твоих сынов,
  К тебе горим любовью!
Наш каждый писарь — славянин,
  Галиматьею дышит,
Бежит, предатель сих дружин,
  И галлицизмы пишет!

Сотрудники

Наш каждый писарь — славянин *(и проч.)*.

Певец

Тот наш, кто каждый день кадит
  И нам молебны служит;
Пусть публика его бранит,
  Но он о том не тужит!
За нас стоит гора горой,
  В «Беседе» не зевает.
Прямой сотрудник, брат прямой
  И в брани помогает!

Хвала тебе, Славенофил,
О муж неукротимый!
Ты здесь рассудок победил
Рукой неутомимой.
О, сколь с наморщенным челом
В «Беседе» он прекрасен
И сколь он хладен пред столом
И критикам ужасен!
Упрямство в нем старинных лет,
Хвала седому деду!
Друзья! он, он родил на свет
Славянскую «Беседу»!

Сотрудники

Он нас, сироток, воскормил!

Потемкин

Меня читать он учит.

Жихарев

Моих он «Бардов» похвалил.

Шихматов

Меня в Пиндары крючит.

Певец

Хвала тебе, о дед седой!
Хвала и многи лета!
Ошую пусть сидит с тобой
Осьмое чудо света,
Твой сын, наперсник и клеврет —
Шихматов безглагольный,
Как ты, славян краса и цвет,
Как ты, собой довольный!
Хвала тебе, о Шаховской,
Холодных шуб родитель!
Отец талантов, муж прямой,
Ежовой покровитель!
Телец, упитанный у нас,
О ты, болван болванов!

Хвала тебе, хвала сто раз,
Раздутый Карабанов!
Хвала, читателей тиран,
Хвостов неистощимый!
Стихи твои — наш барабан,
Для слуха нестерпимый;
Везде с стихами ты готов,
Везде ты волком рыщешь,
Пускаешь притчу в тыл вратов,
Стихами в уши свищешь;
Лишь за поэму — прочь идут,
За оду — засыпают,
Ты за посланье — все бегут
И уши затыкают.
Хвала, псаломщик наш, старик,
Захаров-преложитель!
Ревет он так, как волк иль бык,
Лугов пустынных житель;
Хвала тебе, протяжный Львов,
Ковач речений смелый!
И Палицын, гроза певцов,
В Поповке поседелый!
Хвала, наш пасмурный Гервей,
Обруганный Станевич,
И с польской музыкой своей,
Холуй Анастасевич!
Друзья, сей полный ковш пивной
За здравье Соколова!
Он, право, чтец у нас лихой
И создан для Хвостова.
В его устах стихи ревут,
Как волны в уши плещут;
От грома их невольно тут
Все барыни трепещут;
Хвала, беседы сей дьячок,
Бездушный Политковский!
Жует, гнусит и вдруг стишок
Родит славянорусский.
. . . .
. . . .
Их груди каменной хвала!
Хвала скуле железной!

Сотрудники

. . . .
. . . .
Их груди каменной хвала!
    Хвала скуле железной!
Но месть тому, кто нас бранит
    И пишет эпиграммы,
Кто пишет так, как говорит,
    Кого читают дамы.

Певец

Сей кубок мщенью! Други! в строй!
    И мигом — перья в длани!
Сразить иль пасть — наш роковой
    Обет в чернильной брани.
Вотще свои, о Карамзин,
    Ты издал сочиненья:
Я, я на Пинде властелин
    И жажду лишь отмщенья!
Нет логики у нас в домах,
    Грамматик не бывало;
Мы пр́олог в руки — гибни, враг,
    С твоей дружиной вялой!
Отведай, дерзкий, что сильней —
    Рассудок или мщенье;
Пришлец! мы в родине своей,
    За глупых — провиденье!
Друзья! прощанью сей стакан,
    Уж свечи погасили,
Пробили зорю в барабан,
    К заутрени звонили;
Пора домой, пора ко сну;
    От хмеля я шатаюсь.

Хвостов

Дай, басню я прочту одну
    И после распрощаюсь.

Все

Ах! нет, друзья, домой, домой!
    Чу... петухи пропели.

Прощай, Шишков, наш дед седой,
Прощай, мы охмелели —
И ты нас в путь благослови.
А вы, друзья, — лобзанья!
В завет — и новыя любви,
И нового свиданья.

Первая половина марта 1813

К ДАШКОВУ

Мой друг! я видел море зла
И неба мстительного кары:
Врагов неистовых дела,
Войну и гибельны пожары.
Я видел сонмы богачей,
Бегущих в рубищах издранных,
Я видел бледных матерей,
Из милой родины изгнанных!
Я на распутье видел их,
Как, к персям чад прижав грудных,
Они в отчаяньи рыдали
И с новым трепетом взирали
На небо рдяное кругом.
Трикраты с ужасом потом
Бродил в Москве опустошенной,
Среди развалин и могил;
Трикраты прах ее священный
Слезами скорби омочил.
И там, где зданья величавы
И башни древние царей,
Свидетели протекшей славы
И новой славы наших дней;
И там, где с миром почивали
Останки иноков святых
И мимо веки протекали,
Святыни не касаясь их;
И там, где роскоши рукою,
Дней мира и трудов плоды,
Пред златоглавою Москвою
Воздвиглись храмы и сады, —

Лишь угли, прах и камней горы,
Лишь груды тел кругом реки,
Лишь нищих бледные полки
Везде мои встречали взоры!..
А ты, мой друг, товарищ мой,
Велишь мне петь любовь и радость,
Беспечность, счастье и покой
И шумную за чашей младость!
Среди военных непогод,
При страшном зареве столицы,
На голос мирныя цевницы
Сзывать пастушек в хоровод!
Мне петь коварные забавы
Армид и ветреных цирцей
Среди могил моих друзей,
Утраченных на поле славы!..
Нет, нет! талант погибни мой
И лира, дружбе драгоценна,
Когда ты будешь мной забвенна,
Москва, отчизны край златой!
Нет, нет! пока на поле чести
За древний град моих отцов
Не понесу я в жертву мести
И жизнь, и к родине любовь;
Пока с израненным героем,
Кому известен к славе путь,
Три раза не поставлю грудь
Перед врагов сомкнутым строем, —
Мой друг, дотоле будут мне
Все чужды музы и хариты,
Венки, рукой любови свиты,
И радость шумная в вине!

Март 1813

ПЕРЕХОД РУССКИХ ВОЙСК ЧЕРЕЗ НЕМАН 1 ЯНВАРЯ 1813 ГОДА

(Отрывок из большого стихотворения)

Снегами погребен, угрюмый Неман спал.
Равнину льдистых вод и берег опустелый

И на брегу покинутые села
Туманный месяц озарял.
Всё пусто... Кое-где на снеге труп чернеет,
И брошенных костров огонь, дымяся, тлеет,
И хладный, как мертвец,
Один среди дороги,
Сидит задумчивый беглец
Недвижим, смутный взор вперив на мертвы ноги.

И всюду тишина... И се, в пустой дали
Сгущенных копий лес возникнул из земли!
Он движется. Гремят щиты, мечи и брони,
И грозно в сумраке ночном
Чернеют знамена́, и ратники, и кони:
Несут полки славян погибель за врагом,
Достигли Немана — и копья водрузили.
Из снега возросли бесчисленны шатры,
И на брегу зажженные костры
Всё небо заревом багровым обло́жили.
И в стане царь младой
Сидел между вождями,
И старец-вождь пред ним, блестящий сединами
И бранной в старости красой.

1813 (?)

<ОТРЫВОК ИЗ ШИЛЛЕРОВОЙ ТРАГЕДИИ «DIE BRAUT VON MESSINA» («МЕССИНСКАЯ НЕВЕСТА»)>

Донна Изабелла, дон Эммануил и дон Цезарь
(ее дети)

Д. Изабелла
(выступая с сынами)

Приникни с горней высоты,
Заступница печальных смертных,
И сердце удержи мое
В границах должного смиренья!
Я матерь: в радости могу,
Взирая на сынов, забыться
И жертвой гордости упасть.

Ах, в первый жизни раз
Их совокупно обнимаю;
До сей минуты вожделенной
Таила в сердце глубоко
Горячность верную к сынам,
Равно для матери бесценным!
В объятьях одного другой
Мне должен был казаться мертвым;
Два сына мне дала судьба,
Но сердце, их любить, одно...
Ах, дети, молвите: могу ли
Вас обоих равно обнять
В восторгах радости безмерной?

(К д. Эммануилу)

Не раню ль ревность я твою,
Сжимая Цезареву руку?

(К д. Цезарю)

Скажи, обидели ль тебя
Любви моей ко брату знаки?
Я трепещу: моя любовь
В вас злобы пламень раздувает!
Чего мне ждать? Вещайте, дети!
С какою мыслию стеклись?
Иль древняя вражда воспрянет,
Непримиримая и здесь,
В дому родителей священном?
Или за прагом меч и нож,
И гнев, скрежещущий зубами,
Вас ожидают, несчастливцы?
Что шаг от матери, то смерть,
Что шаг, то новы преступленья!

Хор

Мир или злоба? Жребий не вынут;
Скрыто глубоко, что будет, от нас:
Меч иль оливу братья отринут —
Мы не трепещем и станем за вас!

Д. Изабелла

Какие злобны восклицанья!
Что мужи бранные хотят?

Или войну готовят здесь
У алтарей гостеприимных?
К чему мечи, когда с любовью
Здесь матерь обняла детей?
Или в объятиях ее
Страшитесь адския измены
И змий-предателей?.. Враги —
Так, не друзья — толпы наемных,
Слепые слуги мести вашей,
Раздор несущи по следам!
Нет, не друзья, не верьте им:
Не молвят доброго совета!
Одна боязнь и вечный страх
Куют им раболепны руки,
Всегда готовые на зло.
Вы научитесь, дети, знать
Сей род и низкий, и строптивый:
Он кровожадный власти червь,
Он силы тайный поядатель!
О дети, сколь опасен мир:
Он полон лести и лукавства.
Какие узы прочны здесь?
Где постоянны человеки,
Поклонники корысти бренной?
Природа лишь одна верна
На якоре своем нетленном,
И счастлив тот, кому дает
Сопутником в сей жизни брата!

Хор

Други, вещала вам правду она!
Ей вся открыта сердец глубина,
Мы же, как снасти лишенные челны,
Летим на погибель в житейские волны!

Д. Изабелла
(К д. Цезарю)

О ты, прижавший меч во длани,
Склонивший ниц ревнивый взор,
Воззри окрест и будь судья:
Кто брату красотой подобен?

(К д. Эммануилу)

Ответствуй мне: из сей толпы
Кто Цезаря затмит красою?
Вы оба, юноши, равно
Наделены рукой природы.
Молю, воззрите на себя,
Уверьтесь в истине очами!
Из тысячи твоя рука
Его, как друга бы, прижала
И братом сердце нарекло!
О, ослепление страстей,
Плод ревности и злости адской!
Когда судьбина в колыбели
Друг другом наделила вас,
Забыв родства и крови узы
В кипящих, как волкан, страстях,
К ногам повергнув дар природы,
Клевретов нарекли друзьями,
Врагам любовью поклялись!

Д. Эммануил

О, выслушай меня!

Д. Цезарь

(вступая в речь)

Дай слово
Мне молвить, матерь...

Д. Изабелла

Нет!
Слова не укротят вражды:
Здесь месть с обидою взаимны,
Здесь ненависть таится глубоко.
Кто знает, где огонь сей адский,
Объявший пламенем сердца,
Огонь ужасный, сокровенный,
Одетый лавой древних дней?
Обида с юной жизни здесь
Растет, мужает беспрестанно,
И муж за юношу — нам враг!
Увы, от младости безумной
Вы, братья, дышите на зло!

Лета б должны обезоружить
Враждующих. Воззрите вспять:
Где ненависти первой семя?
Среди гремушек, детских игр
И лепетания младенцев,
Там зла виновное начало,
Там горести источник вечный!
Но устыдитеся, вы — мужи!

(Берет обоих за руки)

Желанный мною час настал!
Сойдитесь, милые! Решитесь
Вины взаимные забыть!
В душе великой, благородной
Прощенье выше всех побед.
В могилу древнего отца
Повергните вражды ехидну,
Готовую известь безумных;
Любви и миру дайте жизнь
И обновитеся сердцами!

(Отступает шаг назад, как будто желая дать место братьям приближиться взаимно; но они оба неподвижны, взоры их устремлены в землю.)

Хор

Братья, почтите матери волю!
Слово святое вам зарекла:
Кончить годину мести и зла.
Братья, иль снова к ратному полю?
Слепо мы делим ваши судьбы:
Вы — властелины, мы же — рабы.

Д. Изабелла

(в молчании, несколько минут напрасно ожидая примирения братьев, говорит с чувством глубокой горести)

Довольно! силу слов
И заклинаний истощила!
В могиле тот, кто мог владеть
Строптивыми сынов сердцами.
Что я? Увы, печальная вдова!
Мой глас — бессильный глас молитвы!
Довольно! Полная свобода:

Отдайтесь демону вражды
На гнев, на новые обиды!
Чего стыдиться вам? Жены,
Сих стен, сих алтарей безмолвных?
Под сенью их, где ваши колыбели
На радость некогда стояли,
Братоубийством оскверните́сь,
Облейтесь кровию своей
И грудь на грудь, в неистовом пылу,
Как Полиник, как Этеокл проклятый,
Друг друга задушите вы
В объятиях, достойных ада...[1]

Хор

О, ужас, что матерь вам здесь зарекла!
Годину печали, тревоги и зла,
А в жизни грядущей и скрежет, и муки!
Да будут же чисты от гибели руки,
Да с миром вас примет родителей дом!
Смиритесь, о братья, есть на небе гром!

Д. Цезарь

(не смотря на брата)

Ты — старший брат, начни же речь,
Я отвечать тебе готов!

Д. Эммануил

(в подобном положении)

Сам молви ласковое слово,
Ты — младший, дай любви пример!

Д. Цезарь

Не потому, что я виновен
Иль брата старшего слабей?

Д. Эммануил

Всем доблесть рыцаря известна:
Ты скромен, следственно, не слаб.

---

[1] Здесь нескольких стихов недостает. — *Прим. П. А. Вяземского.*

Д. Цезарь

Или так мыслишь ты о брате
Воистину?

Д. Эммануил

Не знаю лжи;
Как ты, душою выше чванства.

Д. Цезарь

Презренья не могу снести;
Но ты в пылу жестокой распри
О брате низко не вещал!

Д. Эммануил

Моей ты смерти не алкал.
Я знаю: ты казнил монаха,
Что мне готовил тайно яд.

Д. Цезарь

О, если б брата прежде знал!
Что было... верно б не случилось!

Д. Эммануил

Не зная сердца твоего,
Я матерь горестно обидел.

Д. Цезарь

Ты мне жестоким был описан.

Д. Эммануил

Несчастие: князей клевреты
Владеют тайно их душой!

Д. Цезарь

(быстро)

Всему виновники они...

Д. Эммануил

Два сердца разлучивши злобой...

Д. Цезарь

Наветом, хитрой клеветой...

Д. Эммануил

И ядом лести и коварства...

Д. Цезарь

Питая яростную рану...

Д. Эммануил

Нас сделали рабами их...

Д. Цезарь

Игралищем страстей чужих.

Д. Эммануил

Так, правда! чуждый друг неверен!

Д. Цезарь

Опасный: матерь нам вещала.

Д. Эммануил

Так дай же руку, милый брат!

Д. Цезарь

Она твоя навеки, брат!

Д. Эммануил

Чем боле на тебя смотрю,
Тем боле, с сладким удивленьем,
Сретаю матери черты...

Д. Цезарь

Вглядись, как сходен ты со мной:
Бесценное для брата сходство!

Д. Эммануил

Ты ль это, брат? Твои ли речи
И ласки к младшему, скажи?

Д. Цезарь

Ты ль это, юноша прелестный,
Столь злобный некогда мне враг?

Д. Эммануил

Как права, требуя коней
Из славного отца наследства,
Ты рыцаря прислал за ними,
И я дал рыцарю отказ.

Д. Цезарь

Они твои, не мыслю боле...

Д. Эммануил

Нет! нет! твои — и колесница...
Прими как брата первый дар!

Д. Цезарь

Приму, но ты сей твердый замок,
Воздвигнутый над морем шумным,
Вражды источник обоюдный,
Прими как дань любви моей!

Д. Эммануил

Я не приму, но вместе там
Как братья станем жить отныне!

Д. Цезарь

Ты прав, к чему добром делиться,
Когда два сердца заодно?

Д. Эммануил

Союзом будем мы сильнее;
Против врагов, против судьбины
Нам дружба неизменный щит!

Д. Цезарь

Отныне мой ты стал навеки!

Хор

Но что мы, клевреты, стоим в неприязни?
Примеры благие дают нам князья:
Сомкнем же десницы без низкой боязни
И будем отныне навеки друзья!

1813 (?)

ЭЛЕГИЯ ИЗ ТИБУЛЛА

Вольный перевод

Мессала! Без меня ты мчишься по волнам
С орлами римскими к восточным берегам;
А я, в Феакии оставленный друзьями,
Их заклинаю всем, и дружбой, и богами,
Тибулла не забыть в далекой стороне!
Здесь Парка бледная конец готовит мне,
Здесь жизнь мою прервет безжалостной рукою...
Неумолимая! Нет матери со мною!
Кто будет принимать мой пепел от костра?
Кто будет без тебя, о милая сестра,
За гробом следовать в одежде погребальной
И миро изливать над урною печальной?
Нет друга моего, нет Делии со мной, —
Она и в самый час разлуки роковой
Обряды тайные и чары совершала:
В священном ужасе бессмертных вопрошала —
И жребий счáстливый нам отрок вынимал.
Что пользы от того? Час гибельный настал,
И снова Делия, печальна и уныла,
Слезами полный взор невольно обратила
На дальный путь. Я сам, лишенный скорбью сил,
«Утешься» — Делии сквозь слезы говорил;
«Утешься!» — и еще с невольным трепетаньем
Печальную лобзал последним лобызаньем.
Казалось, некий бог меня остановлял:
То ворон мне беду внезапно предвещал,
То в день, отцу богов Сатурну посвященный,
Я слышал гром глухой за рощей отдаленной.
О вы, которые умеете любить,

Страшитеся любовь разлукой прогневить!
Но, Делия, к чему Изиде приношенья,
Сии в ночи глухой протяжны песнопенья
И волхованье жриц, и меди звучный стон?
К чему, о Делия, в безбрачном ложе сон
И очищения священною водою?
Всё тщетно, милая, Тибулла нет с тобою.
Богиня грозная! Спаси его от бед,
И снова Делия мастики принесет,
Украсит дивный храм весенними цветами
И с распущенными по ветру волосами,
Как дева чистая, во ткань облечена,
Воссядет на помост: и звезды, и луна,
До восхождения румяныя Авроры,
Услышат глас ее и жриц фарийских хоры.
Отдай, богиня, мне родимые поля,
Отдай знакомый шум домашнего ручья,
Отдай мне Делию: и вам дары богаты
Я в жертву принесу, о лары и пенаты!
Зачем мы не живем в златые времена?
Тогда беспечные народов племена
Путей среди лесов и гор не пролагали
И ралом никогда полей не раздирали;
Тогда не мчалась ель на легких парусах,
Несома ветрами в лазоревых морях,
И кормчий не дерзал по хлябям разъяренным
С сидонским багрецом и с золотом бесценным
На утлом корабле скитаться здесь и там.
Дебелый вол бродил свободно по лугам,
Топтал душистый злак и спал в тени зеленой;
Конь борзый не кропил узды кровавой пеной;
Не зрели на полях столпов и рубежей,
И кущи сельские стояли без дверей;
Мед капал из дубов янтарною слезою;
В сосуды молоко обильною струею
Лилося из сосцов питающих овец... —
О мирны пастыри, в невинности сердец
Беспечно жившие среди пустынь безмолвных!
При вас, на пагубу друзей единокровных,
На наковальне млат не исковал мечей,
И ратник не гремел оружьем средь полей.
О век Юпитеров! О времена несчастны!

Война, везде война, и глад, и мор ужасный,
Повсюду рыщет смерть, на суше, на водах...
Но ты, державший гром и молнию в руках!
Будь мирному певцу Тибуллу благосклонен.
Ни словом, ни душой я не был вероломен;
Я с трепетом богов отчизны обожал,
И если мой конец безвременный настал, —
Пусть камень обо мне прохожим возвещает:
«Тибулл, Мессалы друг, здесь с миром почивает».
Единственный мой бог и сердца властелин,
Я был твоим жрецом, Киприды милый сын!
До гроба я носил твои оковы нежны,
И ты, Амур, меня в жилища безмятежны,
В Элизий приведешь таинственной стезей,
Туда, где вечный май меж рощей и полей,
Где расцветает нард и киннамона лозы,
И воздух напоен благоуханьем розы;
Там слышно пенье птиц и шум биющих вод;
Там девы юные, сплетяся в хоровод,
Мелькают меж древес, как легки привиденья;
И тот, кого постиг, в минуту упоенья,
В объятиях любви, неумолимый рок,
Тот носит на челе из свежих мирт венок.
А там, внутри земли, во пропастях ужасных
Жилище вечное преступников несчастных,
Там реки пламенны сверкают по пескам,
Мегера страшная и Тизифона там
С челом, опутанным шипящими змиями,
Бегут на дикий брег за бледными тенями.
Где скрыться? Адский пес лежит у медных врат,
Рыкает зев его... и рой теней назад!..
Богами вержены во пропасти бездонны,
Ужасный Энкелад и Тифий преогромный
Питает жадных птиц утробою своей.
Там хищный Иксион, окованный змией,
На быстром колесе вертится бесконечно;
Там в жажде пламенной Тантал бесчеловечный
Над хладною рекой сгорает и дрожит...
Всё тщетно! вспять вода коварная бежит,
И черпают ее напрасно Данаиды,
Все жертвы вечные карающей Киприды.
Пусть там страдает тот, кто рушил наш покой

И разлучил меня, о Делия, с тобой!
Но ты, мне верная, друг милый и бесценный,
И в мирной хижине, от взоров сокровенной,
С наперсницей любви, с подругою твоей,
На миг не покидай домашних алтарей.
При шуме зимних вьюг, под сенью безопасной,
Подруга в темну ночь зажжет светильник ясный
И, тихо веретено кружа в руке своей,
Расскажет повести и были старых дней.
А ты, склоняя слух на сладки небылицы,
Забудешься, мой друг, и томные зеницы
Закроет тихий сон, и пряслица из рук
Падет... и у дверей предстанет твой супруг,
Как небом посланный внезапно добрый гений.
Беги навстречу мне, беги из мирной сени,
В прелестной наготе явись моим очам:
Власы развеянны небрежно по плечам,
Вся грудь лилейная и ноги обнаженны...
Когда ж Аврора нам, когда сей день блаженный
На розовых конях, в блистаньи принесет
И Делию Тибулл в восторге обоймет?

<1814>

ПЛЕННЫЙ

В местах, где Рона протекает
По бархатным лугам,
Где мирт душистый расцветает,
Склонясь к ее водам,
Где на горах роскошно зреет
Янтарный виноград,
Златый лимон на солнце рдеет
И яворы шумят, —

В часы вечерния прохлады
Любуяся рекой,
Стоял, склоня на Рону взгляды
С глубокою тоской,
Добыча брани, русский пленный,
Придонских честь сынов,

С полей победы похищенный
Один — толпой врагов.

«Шуми, — он пел, — волнами, Рона,
И жатвы орошай,
Но плеском волн — родного Дона
Мне шум напоминай!
Я в праздности теряю время,
Душою в людстве сир;
Мне жизнь — не жизнь, без славы — бремя,
И пуст прекрасный мир!

Весна вокруг живит природу,
Яснеет солнца свет,
Всё славит счастье и свободу,
Но мне свободы нет!
Шуми, шуми волнами, Рона,
И мне воспоминай
На берегах родного Дона
Отчизны милый край!

Здесь прелесть — сельские девицы!
Их взор огнем горит
И сквозь потупленны ресницы
Мне радости сулит.
Какие радости в чужбине?
Они в родных краях;
Они цветут в моей пустыне,
И в дебрях, и в снегах.

Отдайте ж мне мою свободу!
Отдайте край отцов,
Отчизны вьюги, непогоду,
На родине мой кров,
Покрытый в зиму ярким снегом!
Ах! дайте мне коня;
Туда помчит он быстрым бегом
И день и ночь меня!

На родину, в сей терем древний,
Где ждет меня краса

И под окном в часы вечерни
Глядит на небеса;
О друге тайно помышляет...
Иль робкою рукой
Коня ретивого ласкает,
Тебя, соратник мой!

Шуми, шуми волнами, Рона,
И жатвы орошай;
Но плеском волн — родного Дона
Мне шум напоминай!
О ветры, с полночи летите
От родины моей,
Вы, звезды севера, горите
Изгнаннику светлей!»

Так пел наш пленник одинокой
В виду лионских стен,
Где юноше судьбой жестокой
Назначен долгий плен.
Он пел — у ног сверкала Рона,
В ней месяц трепетал,
И на златых верхах Лиона
Луч солнца догорал.

<1814>

<О ПАРИЖСКИХ ЖЕНЩИНАХ>

Пред ними истощает
Любовь златой колчан.
Всё в них обворожает:
Походка, легкий стан,
Полунагие руки
И полный неги взор,
И уст волшебны звуки,
И страстный разговор, —
Всё в них очарованье!
А ножка... милый друг,
Она — харит созданье,
Кипридиных подруг.

Для ножки сей, о вечны боги,
Усейте розами дороги
Иль пухом лебедей!
Сам Фидий перед ней
В восторге утопает,
Поэт — на небесах,
И труженик в слезах
Молитву забывает!

25 апреля 1814

ТЕНЬ ДРУГА

Sunt aliquid manes: letum non omnia finit;
Luridaque evictos effugit umbra rogos.

Propertius [1]

Я берег покидал туманный Альбиона:
Казалось, он в волнах свинцовых утопал.
За кораблем вилася Гальциона,
И тихий глас ее пловцов увеселял.
Вечерний ветр, валов плесканье,
Однообразный шум, и трепет парусов,
И кормчего на палубе взыванье
Ко страже, дремлющей под говором валов, —
Всё сладкую задумчивость питало.
Как очарованный, у мачты я стоял
И сквозь туман и ночи покрывало
Светила Севера любезного искал.
Вся мысль моя была в воспоминанье
Под небом сладостным отеческой земли,
Но ветров шум и моря колыханье
На вежды томное забвенье навели.
Мечты сменялися мечтами,
И вдруг... то был ли сон?.. предстал товарищ мне,
Погибший в роковом огне
Завидной смертию, над плейсскими струями.
Но вид не страшен был; чело
Глубоких ран не сохраняло,
Как утро майское, веселием цвело

[1] Души усопших — не призрак: смертью не все оканчивается; бледная тень ускользает, победив костер. *Проперций* (лат.). — *Ред.*

И всё небесное душе напоминало.
«Ты ль это, милый друг, товарищ лучших дней!
Ты ль это? — я вскричал, — о воин вечно милый!
Не я ли над твоей безвременной могилой,
При страшном зареве Беллониных огней,
Не я ли с верными друзьями
Мечом на дереве твой подвиг начертал
И тень в небесную отчизну провождал
С мольбой, рыданьем и слезами?
Тень незабвенного! ответствуй, милый брат!
Или протекшее всё было сон, мечтанье;
Всё, всё — и бледный труп, могила и обряд,
Свершенный дружбою в твое воспоминанье?
О! молви слово мне! пускай знакомый звук
Еще мой жадный слух ласкает,
Пускай рука моя, о незабвенный друг!
Твою с любовию сжимает. . .»
И я летел к нему. . . Но горний дух исчез
В бездонной синеве безоблачных небес,
Как дым, как метеор, как призрак полуночи,
И сон покинул очи.

Всё спало вкруг меня под кровом тишины.
Стихии грозные катилися безмолвны.
При свете облаком подернутой луны
Чуть веял ветерок, едва сверкали волны,
Но сладостный покой бежал моих очей,
И всё душа за призраком летела,
Всё гостя горнего остановить хотела:
Тебя, о милый брат! о лучший из друзей!

Июнь 1814

НА РАЗВАЛИНАХ ЗАМКА В ШВЕЦИИ

Уже светило дня на западе горит
И тихо погрузилось в волны! . .
Задумчиво луна сквозь тонкий пар глядит
На хляби и брега безмолвны.
И всё в глубоком сне поморие кругом.
Лишь изредка рыбарь к товарищам взывает,

Лишь эхо глас его протяжно повторяет
В безмолвии ночном.

Я здесь, на сих скалах, висящих над водой,
В священном сумраке дубравы
Задумчиво брожу и вижу пред собой
Следы протекших лет и славы:
Обломки, грозный вал, поросший злаком ров,
Столбы и ветхий мост с чугунными цепями,
Твердыни мшистые с гранитными зубцами
И длинный ряд гробов.

Всё тихо: мертвый сон в обители глухой.
Но здесь живет воспоминанье:
И путник, опершись на камень гробовой,
Вкушает сладкое мечтанье.
Там, там, где вьется плющ по лестнице крутой,
И ветр колышет стебль иссохшия полыни,
Где месяц осребрил угрюмые твердыни
Над спящею водой, —

Там воин некогда, Одена храбрый внук,
В боях приморских поседелый,
Готовил сына в брань, и стрел пернатых пук,
Броню заветну, меч тяжелый
Он юноше вручил израненной рукой,
И громко восклицал, подъяв дрожащи длани:
«Тебе он обречен, о бог, властитель брани,
Всегда и всюду твой!

А ты, мой сын, клянись мечом своих отцов
И Гелы клятвою кровавой
На западных струях быть ужасом врагов
Иль пасть, как предки пали, с славой!»
И пылкий юноша меч прадедов лобзал
И к персям прижимал родительские длани,
И в радости, как конь при звуке новой брани,
Кипел и трепетал.

Война, война врагам отеческой земли! —
Суда наутро восшумели.

Запенились моря, и быстры корабли
    На крыльях бури полетели!
В долинах Нейстрии раздался браней гром,
Туманный Альбион из края в край пылает,
И Гела день и ночь в Валкалу провождает
    Погибших бледный сонм.

Ах, юноша! спеши к отеческим брегам,
    Назад лети с добычей бранной;
Уж веет кроткий ветр вослед твоим судам,
    Герой, победою избранный!
Уж скальды пиршество готовят на холмах.
Зри: дубы в пламени, в сосудах мед сверкает,
И вестник радости отцам провозглашает
    Победы на морях.

Здесь, в мирной пристани, с денницей золотой
    Тебя невеста ожидает,
К тебе, о юноша, слезами и мольбой
    Богов на милость преклоняет...
Но вот в тумане там, как стая лебедей,
Белеют корабли, несомые волнами;
О, вей, попутный ветр, вей тихими устами
    В ветрила кораблей!

Суда у берегов, на них уже герой
    С добычей жен иноплеменных;
К нему спешит отец с невестою младой
    И лики скальдов вдохновенных.
Красавица стоит, безмолвствуя, в слезах,
Едва на жениха взглянуть украдкой смеет,
Потупя ясный взор, краснеет и бледнеет,
    Как месяц в небесах...

И там, где камней ряд, седым одетый мхом,
    Помост обрушенный являет,
Повременно сова в безмолвии ночном
    Пустыню криком оглашает, —
Там чаши радости стучали по столам,
Там храбрые кругом с друзьями ликовали,

Там скальды пели брань, и персты их летали
По пламенным струнам.

Там пели звук мечей и свист пернатых стрел,
И треск щитов, и гром ударов,
Кипящу брань среди опустошенных сел
И грады в зареве пожаров;
Там старцы жадный слух склоняли к песне сей,
Сосуды полные в десницах их дрожали,
И гордые сердца с восторгом вспоминали
О славе юных дней.

Но всё покрыто здесь угрюмой ночи мглой,
Всё время в прах преобратило!
Где прежде скальд гремел на арфе золотой,
Там ветер свищет лишь уныло!
Где храбрый ликовал с дружиною своей,
Где жертвовал вином отцу и богу брани,
Там дремлют, притаясь, две трепетные лани
До утренних лучей.

Где ж вы, о сильные, вы, галлов бич и страх,
Земель полнощных исполины,
Роальда спутники, на бренных челноках
Протекши дальные пучины?
Где вы, отважные толпы богатырей,
Вы, дикие сыны и брани и свободы,
Возникшие в снегах, средь ужасов природы,
Средь копий, средь мечей?

Погибли сильные! Но странник в сих местах
Не тщетно камни вопрошает
И руны тайные, преданья на скалах
Угрюмой древности, читает.
Оратай ближних сел, склонясь на посох свой,
Гласит ему: «Смотри, о сын иноплеменный,
Здесь тлеют праотцов останки драгоценны:
Почти их гроб святой!»

Июнь или июль 1814

‹ХОР ЖЕН ВОИНОВ ИЗ «СЦЕН ЧЕТЫРЕХ ВОЗРАСТОВ»›

О верные подруги!
Свиданья близок час.
Спешат, спешат супруги
Обнять с любовью нас.
Уже, веселья полны,
Летят чрез сини волны...
Свиданья близок час!
По суше рьяны кони
Полки героев мчат.
Звенят златые брони,
В руке блестит булат;
Шеломы их блистают,
Знамена развевают...
Свиданья близок час!

Июль 1814

СУДЬБА ОДИССЕЯ

Средь ужасов земли и ужасов морей
Блуждая, бедствуя, искал своей Итаки
Богобоязненный страдалец Одиссей;
Стопой бестрепетной сходил Аида в мраки;
Харибды яростной, подводной Сциллы стон
Не потрясли души высокой.
Казалось, победил терпеньем рок жестокой
И чашу горести до капли выпил он;
Казалось, небеса карать его устали
И тихо сонного домчали
До милых родины давно желанных скал.
Проснулся он: и что ж? Отчизны не познал.

Вторая половина 1814

СТРАНСТВОВАТЕЛЬ И ДОМОСЕД

Объехав свет кругом,
Спокойный домосед, перед моим камином
Сижу и думаю о том,
Как трудно быть своих привычек властелином;
Как трудно век дожить на родине своей
Тому, кто в юности из края в край носился,
Всё видел, всё узнал — и что ж? из-за морей
Ни лучше, ни умней
Под кров домашний воротился:
Поклонник суетным мечтам,
Он осужден искать... чего — не знает сам!
О страннике таком скажу я повесть вам.

Два брата, Филалет и Клит, смиренно жили
В предместии Афин под кровлею одной;
В довольстве? — не скажу, но с бодрою душой
Встречали день и ночь спокойно проводили,
Затем что по трудах всегда приятен сон.
Вдруг умер дядя их, афинский Гарпагон,
И братья-бедняки — о радость! — получили
Не помню сколько мин монеты золотой
Да кучу серебра: сосуды и амфоры
Отделки мастерской.
Наследственным добром свои насытя взоры,
Такие завели друг с другом разговоры:
«Как думаешь своей казной расположить? —
Клит спрашивал у брата, —
А я так дом хочу купить
И в нем тихохонько с женою век прожить
Под сенью отчего пената.
Землицы уголок не будет лишний нам:
От детства я люблю ходить за виноградом,
Водиться знаю с стадом
И детям я мой плуг в наследство передам;
А ты как думаешь?» — «О! я с тобой несходен;
Я пресмыкаться не способен
В толпе граждан простых,
И с помощью наследства
Для дальних замыслов моих,
Благодаря богам, теперь имею средства!»

— «Чего же хочешь ты?» — «Я?.. славен быть
хочу».
— «Но чем?» — «Как чем? — умом, делами,
И красноречьем, и стихами,
И мало ль чем еще? Я в Мемфис полечу
Делиться мудростью с жрецами:
Зачем сей создан мир? Кто правит им и как?
Где кончится земля? Где гордый Нил родится?
Зачем под пеленой сокрыт Изиды зрак,
Зачем горящий Феб всё к западу стремится?
Какое счастье, милый брат!
Я буду в мудрости соперник Пифагора! —
В Афинах обо мне тогда заговорят.
В Афинах? — что сказал! — от Нила до Босфора
Прославится твой брат, твой верный Филалет!
Какое счастье! десять лет
Я стану есть траву и нем как рыба буду;
Но красноречья дар, конечно, не забуду.
Ты знаешь, я всегда красноречив бывал
И площадь нашу посещал
Недаром.
Не стану я моим превозноситься даром,
Как наш Алкивиад, оратор слабых жен,
Или надутый Демосфен,
Кичася в пурпуре пред царскими послами.
Нет! нет! я каждого полезными речами
На площади градской намерен просвещать.
Ты сам, оставя плуг, придешь меня внимать.
С народом шумные восторги разделяя,
И, слезы радости под мантией скрывая,
Красноречивейшим из греков называть,
Ты обоймешь меня дрожащею рукою,
Когда... поверишь ли? Гликерия сама
На площади с толпою
Меня провозгласит оракулом ума,
Ума и, может быть, любезности... Конечно,
Любезностью сердечной
Я буду нравиться и в сорок лет еще.
Тогда афиняне забудут Демосфена
И Кратеса в плаще,
И бочку шу́та Диогена,
Которую, смотри... он катит мимо нас!»

— «Прощай же, братец, в добрый час!
Счастливого пути к премудрости желаю, —
Клит молвил краснобаю. —
Я вижу нам тебя ничем не удержать!»
Вздохнул, пожал плечьми и к городу опять
Пошел — домашний быт и домик снаряжать.
А Филалет? — К Пирею,
Чтоб судно тирское застать
И в Мемфис полететь с румяною зарею.
Признаться, он вздохнул, начавши одиссею...
Но кто не пожалел об отческой земле,
Надолго расставаясь с нею?
Семь дней на корабле,
Зевая,
Проказник наш сидел
И на море глядел,
От скуки сам с собой вполголос рассуждая:
«Да где ж тритоны все? Где стаи нереид?
Где скрылися они с толпой океанид?
Я ни одной не вижу в море!»
И не увидел их. Но ветер свежий вскоре
В Египет странника принес;
Уже он в Мемфисе, в обители чудес;
Уже в святилище премудрости вступает,
Как мумия сидит среди бород седых
И десять дней зевает
За поученьем их
О жертвах каменной Изиде,
Об Аписе-быке иль грозном Озириде,
О псах Анубиса, о чесноке святом,
Усердно славимом на Ниле,
О кровожадном крокодиле
И... о коте большом!..
«Какие глупости! какое заблужденье!
Клянуся По́ллуксом! нет слушать боле сил!» —
Грек молвил, потеряв и важность, и терпенье,
С скамьи как бешеный вскочил
И псу священному — о, ужас! — наступил
На божескую лапу...
Скорее в руки посох, шляпу,
Скорей из Мемфиса бежать
От гнева старцев разъяренных,

От крокодилов, псов и луковиц священных,
И между греков просвещенных
Любезной мудрости искать.
На первом корабле он полетел в Кротону.
В Кротоне бьет челом смиренно Агатону,
Мудрейшему из мудрецов,
Жестокому врагу и мяса, и бобов
(Их в гневе Пифагор, его учитель славный,
Проклятьем страшным поразил,
Затем что у него желудок неисправный
Бобов и мяса не варил).
«Ты мудрости ко мне, мой сын, пришел учиться? —
У грека старец вопросил
С усмешкой хитрою. — Итак, прошу садиться
И слушать пенье сфер: ты слышишь?» — «Ничего!»
— «А видишь ли в девятом мире
Духов, летающих в эфире?»
— «И менее того!»
— «Увидишь, попостись ты года три, четыре,
Да лет с десяток помолчи;
Тогда, мой сын, тогда обнимешь бренным взором
Все тайной мудрости лучи;
Обнимешь, я тебе клянуся Пифагором...»
— «Согласен, так и быть!»
Но греку шутка ли и день не говорить?
А десять лет молчать, молчать да всё поститься —
Зачем? чтоб мудрецом,
С морщинным от поста и мудрости челом,
В Афины возвратиться?
О нет!
Чрез сутки возопил голодный Филалет:
«Юпитер дал мне ум с рассудком
Не для того, чтоб я ходил с пустым желудком;
Я мудрости такой покорнейший слуга;
Прощайте ж навсегда Кротонски берега!»
Сказал и к Этне путь направил;
За делом! чтоб на ней узнать, зачем и как
Изношенный башмак
Философ Эмпедокл пред смертью там оставил?
Узнал — и с вестью сей
Он в Грецию скорей
С усталой от забот и праздности душою.

Повсюду гость среди людей,
Везде за трапезой чужою,
Наш странник обходил
Поля, селения и грады,
Но счастия не находил
Под небом счастливым Эллады.
Спеша из края в край, он игры посещал,
Забавы, зрелища, ристанья,
И даже прорицанья
Без веры вопрошал;
Но хижину отцов нередко вспоминал,
В ненастье по лесам бродя с своей клюкою,
Как червем, тайною снедаемый тоскою.
Притом же кошелек
У грека стал легок;
А ночью, как он шел через Лаконски горы,
Отбили у него
И остальное воры.
Счастлив еще, что жизнь не отняли его!
«Но жизнь без денег что? — мученье нестерпимо!» —
Так думал Филалет,
Тащась полунагой в степи необозримой.
Три раза солнца свет
Сменялся мраком ночи,
Но странника не зрели очи
Ни жила, ни стези: повсюду степь и степь
Да гор в дали туманной цепь,
Илотов и воров ужасные жилища.
Что делать в горе! что начать!
Придется умирать
В пустыне, одному, без помощи, без пищи.
«Нет, боги, нет! —
Терзая грудь, вопил несчастный Филалет, —
Я знаю, как покинуть свет!
Не стану голодом томиться!»
И меж кустов реку завидя вдалеке,
Он бросился к реке —
Топиться!
«Что, что ты делаешь, слепец?» —
Несчастному вскричал скептический мудрец,
Памфил седобородый,
Который над водой, любуяся природой,

Один с клюкой тихонько брел
И, к счастью, странника нашел
На крае гибельной напасти.
«Топиться хочешь ты? Согласен; но сперва
Поведай мне, твоя спокойна ль голова?
Рассудок ли тебя влечет в реку иль страсти?
Рассудок: но его что нам вещает глас?
Что жизнь и смерть равны для нас.
Равны — так незачем топиться.
Дай руку мне, мой сын, и не стыдись учиться
У старца, чем мудрец здесь может быть счастлив».
Кто жить советует — всегда красноречив:
И наш герой остался жив.
В расселинах скалы, висящей над водою,
В тени приветливой смоковниц и олив,
Построен был шалаш Памфиловой рукою,
Где старец десять лет
Провел в молчании глубоком
И в вечность проницал своим орлиным оком,
Забыв людей и свет.
Вот там-то ужин иль обед
Простой, но очень здравый,
Находит Филалет:
Орехи, желуди и травы,
Большой сосуд воды — и только. Боже мой!
Как сладостно искать для трапезы такой
В утехах мудрости приправы!
Итак, в том дива нет, что с путником Памфил
Об атараксии[1] тотчас заговорил.
«Всё призрак! — под конец хозяин заключил: —
Богатство, честь и власти,
Болезнь и нищета, несчастия и страсти,
И я, и ты, и целый свет, —
Всё призрак!» — «Сновиденье!» —
Со вздохом повторял унылый Филалет;
Но, глядя на сухой обед,
Вскричал: «Я голоден!» — «И это заблужденье,
Всё грубых чувств обман; не сомневайся в том».
Неделю попостясь с брадатым мудрецом,
Наш *призрак*-Филалет решился из пустыни

[1] Душевное спокойствие.

Отправиться в Афины.
Пора, пора блеснуть на площади умом!
Пора с философом расстаться,
Который нас недаром научил,
Как жить и в жизни сомневаться.
Услужливый Памфил
Монет с десяток сам бродяге предложил,
Котомкой с желудьми сушеными ссудил
И в час румяного рассвета
Сам вывел по тропам излучистым Тайгета
На путь афинский Филалета.
Вот странник наш идет и день и ночь один;
Проходит Арголиду,
Коринф и Мегариду;
Вот — Аттика, и вот — дым сладостный Афин,
Керамик с рощами... предместия начало...
Там... воды Иллиса!.. В нем сердце задрожало:
Он грек, то мудрено ль, что родину любил,
Что землю целовал с горячими слезами,
В восторге, вне себя, с деревьями, с домами
Заговорил!..
Я сам, друзья мои, дань сердца заплатил,
Когда, волненьями судьбины
В отчизну брошенный из дальных стран чужбины,
Увидел наконец Адмиралтейский шпиц,
Фонтанку, этот дом... и столько милых лиц,
Для сердца моего единственных на свете!
Я сам... Но дело всё теперь о Филалете,
Который, оперщись на кафедру, стоит
И ждет опять денницы
На милой площади аттической столицы.
Заметьте, милые друзья,
Что греки снаряжать тогда войну хотели,
С каким царем, не помню я,
Но знаю только то, что риторы гремели,
Предвестники народных бед.
Так речью их сразить желая, Филалет
Всех раньше на помост погибельный взмостился.
И вот блеснул Авроры свет,
А с ним и шум дневной родился.
Народ зашевелился.
В Афинах, как везде, час утра — час сует.

На площадь побежал ремесленник, поэт,
Поденщик, говорун, с товарами купчина,
Софист, архонт и Фрина
С толпой невольниц и сирен,
И бочку прикатил насмешник Диоген;
На площадь всяк идет для дела и без дела;
Нахлынули, — вся площадь закипела.
Вы помните, бульвар кипел в Париже так
Народа праздными толпами,
Когда по нем летал с нагайкою козак
Иль северный Амур с колчаном и стрелами.
Так точно весь народ толпился и жужжал
Перед ораторским амвоном.
Знак подан. Начинай! Рой шумный замолчал.
И ритор возвестил высокопарным тоном,
Что Аттике война
Погибельна, вредна;
Потом велеречиво, ясно
По пальцам доказал, что в мире быть... опасно.
«Что ж делать?» — закричал с досадою народ.
«Что делать? .. — сомневаться.
Сомненье мудрости есть самый зрелый плод.
Я вам советую, гражда́не, колебаться —
И не мириться, и не драться! ..»
Народ всегда нетерпелив.
Сперва наш краснобай услышал легкий ропот,
Шушуканье, а там поближе громкий хохот,
А там... Но он стоит уже ни мертв, ни жив,
Разинув рот, потупив взгляды,
Мертвее во сто раз, чем мертвецы баллады.
Еще проходит миг —
«Ну что же? *продолжай!*» — Оратор всё ни слова:
От страха — где язык!
Зато какой в толпе поднялся страшный крик!
Какая туча там готова!
На кафедру летит град яблоков и фиг,
И камни уж свистят над жертвой...
И жалкий Филалет, избитый, полумертвый,
С ступени на ступень в отчаяньи летит
И падает без чувств под верную защиту
В объятия отверсты... к Клиту!
Итак, тщеславного спасает бедный Клит,

Простяк, неграмотный, презренный,
В Афинах дни влачить без славы осужденный!
Он, он, прижав его к груди,
Нахальных крикунов толкает на пути,
Одним грозит, у тех пощады просит
И брата своего, как старика Эней,
К порогу хижины своей
На раменах доносит.
Как брата в хижине лелеет добрый Клит!
Не сводит глаз с него, с ним сладко говорит
С простым, но сильным чувством.
Пред дружбой ничего и Гиппократ с искусством!
В три дни страдалец наш оправился и встал,
И брату кинулся на шею со слезами;
А брат гостей назвал
И жертву воскурил пред отчими богами.
Весь домик в суетах! Жена и рой детей
Веселых, резвых и пригожих,
Во всем на мать свою похожих,
На пиршество несут для радостных гостей
Простой, но щедрый дар наследственных полей,
Румяное вино, янтарный мед Гимета, —
И чаша поднялась за здравье Филалета!
«Пей, ешь и веселись, нежданный сердца гость!» —
Все гости заодно с хозяином вскричали.
И что же? Филалет, забыв народа злость,
Беды, проказы и печали,
За чашей круговой опять заговорил
В восторге о тебе, великолепный Нил!
А дней через пяток, не боле,
Наскуча видеть всё одно и то же поле,
Всё те же лица всякий день,
Наш грек, — поверите ль? — как в клетке стосковался.
Он начал по лесам прогуливать уж лень,
На горы ближние взбирался,
Бродил всю ночь, весь день шатался;
Потом Афины стал тихонько посещать,
На милой площади опять
Зевать,
С софистами о том, об этом толковать;
Потом... проведав он от старых грамотеев,

Что в мире есть страна,
Где вечно царствует весна,
За розами побрел — в снега гипербореев.
Напрасно Клит с женой ему кричали вслед
С домашнего порога:
«Брат, милый, воротись, мы просим, ради бога!
Чего тебе искать в чужбине? новых бед?
Откройся, что тебе в отечестве немило?
Иль дружество тебя, жестокий, огорчило?
Останься, милый брат, останься, Филалет!»
Напрасные слова — чудак не воротился —
Рукой махнул... и скрылся.

Между июлем 1814 и 10 января 1815

ПОСЛАНИЕ И. М. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ

Ты прав, любимец муз! От первых впечатлений,
От первых, свежих чувств заемлет силу гений
И им в теченьи дней своих не изменит!
Кто б ни был: пламенный оратор иль пиит,
Светильник мудрости, науки обладатель,
Иль кистью естества немого подражатель,
Наперсник муз, — познал от колыбельных дней,
Что должен быть жрецом парнасских алтарей.
Младенец счастливый, уже любимец Феба,
Он с жадностью взирал на свет лазурный неба,
На зелень, на цветы, на зыбку сень древес,
На воды быстрые и полный мрака лес.
Он, к лону матери приникнув, улыбался,
Когда веселый май цветами убирался
И жаворонок вился над зеленью полей.
Златая ль радуга, пророчица дождей,
Весь свод лазоревый подернет облистаньем —
Ее приветствовал невнятным лепетаньем,
Ее манил к себе младенческой рукой.
Что видел в юности, пред хижиной родной,
Что видел, чувствовал, как новый мира житель,
Того в душе своей до поздних дней хранитель
Желает в песнях муз потомству передать.
Мы видим первых чувств волшебную печать

В твореньях гения, испытанных веками:
Из мест, где Мантуа красуется лугами,
И Минций в камышах недвижимый стоит,
От милых лар своих отторженный пиит,
В чертоги Августа судьбой перенесенный,
Жалел о вас, ручьи отчизны незабвенной,
О древней хижине, где юность провождал
И Титира свирель потомству передал.
Но там ли, где всегда роскошная природа
И раскаленный Феб с безоблачного свода
Обилием поля счастливые дарит,
Таланта колыбель и область пиерид?
Нет! Нет! И в Севере любимец их не дремлет,
Но гласу громкому самой природы внемлет,
Свершая славный путь, предписанный судьбой.
Природы ужасы, стихий враждебных бой,
Ревущие со скал угрюмых водопады,
Пустыни снежные, льдов вечные громады
Иль моря шумного необозримый вид —
Всё, всё возносит ум, всё сердцу говорит
Красноречивыми, но тайными словами
И огнь поэзии питает между нами.
Близ Колы пасмурной, средь диких рыбарей
В трудах воспитанный, уже от юных дней
Наш Пиндар чувствовал сей пламень потаенный,
Сей огнь зиждительный, дар бога драгоценный,
От юности в душе небесного залог,
Которым Фебов жрец исполнен, как пророк.
Он сладко трепетал, когда сквозь мрак тумана
Стремился по зыбям холодным океана
К необитаемым, бесплодным островам
И мрежи расстилал по новым берегам.
Я вижу мысленно, как отрок вдохновенный
Стоит в безмолвии над бездной разъяренной
Среди мечтания и первых сладких дум,
Прислушивая волн однообразный шум...
Лицо горит его, грудь тягостно вздыхает,
И сладкая слеза ланиту орошает,
Слеза, известная таланту одному!
В красе божественной любимцу своему,
Природа! ты не раз на Севере являлась
И в пламенной душе навеки начерталась.

Исполненный всегда виденьем первых лет,
Как часто воспевал восторженный поэт:
«Дрожащий, хладный блеск полунощной Авроры
И льдяные, в морях носимы ветром, горы,
И Упу, спящую средь звонких камышей,
И день, чудесный день, без ночи, без зарей! . .»
В Пальмире Севера, в жилище шумной славы,
Державин камские воспоминал дубравы,
Отчизны сладкий дым и древний град отцов.
На тучны пажити приволжских берегов
Как часто Дмитриев, расторгнув светски узы,
Водил нас по следам своей счастливой музы,
Столь чистой, как струи царицы светлых вод,
На коих в первый раз зрел солнечный восход
Певец сибирского Пизарра вдохновенный! . .
Так, свыше нежною душою одаренный,
Пиит, от юности до сребряных власов,
Лелеет в памяти страну своих отцов.
На жизненном пути ему дарует гений
Неиссякаемый источник наслаждений
В замену счастия и скудных мира благ:
С ним муза тайная живет во всех местах
И в мире дивный мир любимцу созидает.
Пускай свирепый рок по воле им играет:
Пускай незнаемый, без злата и честей,
С главой поникшею он бродит меж людей;
Пускай фортуною от детства удостоен
Он будет судия, министр иль в поле воин, —
Но музам и себе нигде не изменит.
В самом молчании он будет всё пиит.
В самом бездействии он с деятельным духом,
Всё сильно чувствует, всё ловит взором, слухом,
Всем наслаждается, и всюду, наконец,
Готовит Фебу дань его грядущий жрец.

Между июлем 1814 и 24 мая 1815

МЩЕНИЕ

Из Парни

Неверный друг и вечно милый!
Зарю моих счастливых дней
И слезы радости и клятвы легкокрылы —
Всё время унесло с любовию твоей!
И всё погибло невозвратно,
Как сладкая мечта, как утром сон приятный!
Но всё любовью здесь исполнено моей
И клятвы страшные твои напоминает.
Их помнят и леса, их помнит и ручей,
И эхо томное их часто повторяет.
Взгляни: здесь в первый раз я встретился с тобой,
Ты здесь, подобная лилее белоснежной,
Взлелеянной в садах Авророй и весной,
Под сенью безмятежной,
Цвела невинностью близ матери твоей.
Вот здесь я в первый раз вкусил надежды сладость;
Здесь жертвы приносил у мирных алтарей.
Когда твою грозила младость
Болезнь жестокая во цвете погубить,
Здесь клялся, милый друг, тебя не пережить!
Но с новой прелестью ты к жизни воскресала
И в первый раз «люблю», краснеяся, сказала
(Тому сей дикий бор немой свидетель был).
Твоя рука в моей то млела, то пылала,
И первый поцелуй с душою душу слил.
Там взор потупленный назначил мне свиданье
В зеленом сумраке развесистых древес,
Где льется в воздухе сирен благоуханье
И облако цветов скрывает свод небес;
Там ночь ненастная спустила покрывало,
И страшно загремел над нами ярый гром;
Всё небо в пламени зарделося кругом,
И в роще сумрачной сверкало.
Напрасно! ты была в объятиях моих,
И к новым радостям ты воскресала в них!
О пламенный восторг! О страсти упоенье!
О сладострастие... себя, всего забвенье!
С ее любовию утраченны навек!

Вы будете всегда изменнице упрек.
Воспоминанье ваше,
От времени еще прелестнее и краше,
Ее преступное блаженство помрачит
И сердцу за меня коварному отмстит
Неизлечимою, жестокою тоскою.
Так! всюду образ мой увидишь пред собою,
Не в виде прежнего любовника в цепях,
Который с нежностью сквозь слезы упрекает
И жребий с трепетом читает
В твоих потупленных очах.
Нет, в лютой ревности карая преступленье,
Явлюсь как бледное в полуночь привиденье,
И всюду следовать я буду за тобой:
В безмолвии лесов, в полях уединенных,
В веселых пиршествах, тобой одушевленных,
Где юность пылкая и взор считает твой.
В глазах соперника, на ложе Гименея —
Ты будешь с ужасом о клятвах вспоминать;
При имени моем, бледнея,
Невольно трепетать.
Когда ж безвременно, с полей кровавой битвы,
К Коциту позовет меня судьбины глас,
Скажу: «Будь счастлива» в последний жизни час, —
И тщетны будут все любовника молитвы!

<1815>

ВАКХАНКА

Все на праздник Эригоны
Жрицы Вакховы текли;
Ветры с шумом разнесли
Громкий вой их, плеск и стоны.
В чаще дикой и глухой
Нимфа юная отстала;
Я за ней — она бежала
Легче серны молодой.
Эвры волосы взвивали,
Перевитые плющом;

Нагло ризы поднимали
И свивали их клубком.
Стройный стан, кругом обвитый
Хмеля желтого венцом,
И пылающи ланиты
Розы ярким багрецом,
И уста, в которых тает
Пурпуровый виноград, —
Всё в неистовой прельщает!
В сердце льет огонь и яд!
Я за ней... она бежала
Легче серны молодой;
Я настиг — она упала!
И тимпан под головой!
Жрицы Вакховы промчались
С громким воплем мимо нас;
И по роще раздавались
Эвоэ! и неги глас!

<1815>

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕСНА

В полях блистает май веселый!
Ручей свободно зажурчал,
И яркий голос филомелы
Угрюмый бор очаровал:
Всё новой жизни пьет дыханье!
Певец любви, лишь ты уныл!
Ты смерти верной предвещанье
В печальном сердце заключил;
Ты бродишь слабыми стопами
В последний раз среди полей,
Прощаясь с ними и с лесами
Пустынной родины твоей.
«Простите, рощи и долины,
Родные реки и поля!
Весна пришла, и час кончины
Неотразимый вижу я!
Так! Эпидавра прорицанье
Вещало мне: в последний раз

Услышишь горлиц воркованье
И гальционы тихий глас;
Зазеленеют гибки лозы,
Поля оденутся в цветы,
Там первые увидишь розы
И с ними вдруг увянешь ты.
Уж близок час. . . Цветочки милы,
К чему так рано увядать?
Закройте памятник унылый,
Где прах мой будет истлевать;
Закройтс путь к нему собою
От взоров дружбы навсегда.
Но если Делия с тоскою
К нему приблизится, тогда
Исполните благоуханьем
Вокруг пустынный небосклон
И томным листьев трепетаньем
Мой сладко очаруйте сон!»
В полях цветы не увядали,
И гальционы в тихий час
Стенанья рощи повторяли;
А бедный юноша. . . погас!
И дружба слез не уронила
На прах любимца своего:
И Делия не посетила
Пустынный памятник его.
Лишь пастырь в тихий час денницы,
Как в поле стадо выгонял,
Унылой песнью возмущал
Молчанье мертвое гробницы.

<1815>

К ДРУЗЬЯМ

Вот список мой стихов,
Который дружеству быть может драгоценен.
Я добрым гением уверен,
Что в сем дедале рифм и слов
Недостает искусства:
Но дружество найдет мои в замену чувства —
Историю моих страстей,

Ума и сердца заблужденья,
Заботы, суеты, печали прежних дней
И легкокрылы наслажденья;
Как в жизни падал, как вставал,
Как вовсе умирал для света,
Как снова мой челнок фортуне поверял...
И словом, весь журнал
Здесь дружество найдет беспечного поэта,
Найдет и молвит так:
«Наш друг был часто легковерен;
Был ветрен в Пафосе; на Пинде был чудак;
Но дружбе он зато всегда остался верен;
Стихами никому из нас не докучал
(А на Парнасе это чудо!),
И жил так точно, как писал...
Ни хорошо, ни худо!»

Февраль 1815

МОЙ ГЕНИЙ

О, память сердца! Ты сильней
Рассудка памяти печальной
И часто сладостью своей
Меня в стране пленяешь дальной.
Я помню голос милых слов,
Я помню очи голубые,
Я помню локоны златые
Небрежно вьющихся власов.
Моей пастушки несравненной
Я помню весь наряд простой,
И образ милый, незабвенный
Повсюду странствует со мной.
Хранитель гений мой — любовью
В утеху дан разлуке он:
Засну ль? приникнет к изголовью
И усладит печальный сон.

Июль или август 1815

РАЗЛУКА

Напрасно покидал страну моих отцов,
  Друзей души, блестящие искусства
И в шуме грозных битв, под тению шатров
Старался усыпить встревоженные чувства.
Ах! небо чуждое не лечит сердца ран!
      Напрасно я скитался
  Из края в край и грозный океан
      За мной роптал и волновался;
Напрасно от брегов пленительных Невы
      Отторженный судьбою,
Я снова посещал развалины Москвы,
Москвы, где я дышал свободою прямою!
Напрасно я спешил от северных степей,
      Холодным солнцем освещенных,
В страну, где Тирас бьет излучистой струей,
Сверкая между гор, Церерой позлащенных,
И древние поит народов племена.
Напрасно: всюду мысль преследует одна
      О милой, сердцу незабвенной,
      Которой имя мне священно,
Которой взор один лазоревых очей
Все — неба на земле — блаженства отверзает,
И слово, звук один, прелестный звук речей
      Меня мертвит и оживляет.

Июль или август 1815

НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ ГРАФА ЭММАНУИЛА СЕН-ПРИ

От родины его отторгнула судьбина;
Но лилиям отцов он всюду верен был:
  И в нашем стане воскресил
Баярда древний дух и доблесть Дюгесклина.

Декабрь 1815

ТАВРИДА

Друг милый, ангел мой! сокроемся туда,
Где волны кроткие Тавриду омывают,
И Фебовы лучи с любовью озаряют
Им древней Греции священные места.
Мы там, отверженные роком,
Равны несчастием, любовию равны,
Под небом сладостным полуденной страны
Забудем слезы лить о жребии жестоком;
Забудем имена фортуны и честей.
В прохладе ясеней, шумящих над лугами,
Где кони дикие стремятся табунами
На шум студеных струй, кипящих под землей,
Где путник с радостью от зноя отдыхает
Под говором древес, пустынных птиц и вод,—
Там, там нас хижина простая ожидает,
Домашний ключ, цветы и сельский огород.
Последние дары фортуны благосклонной,
Вас пламенны сердца приветствуют стократ!
Вы краше для любви и мраморных палат
Пальмиры Севера огромной!
Весна ли красная блистает средь полей,
Иль лето знойное палит иссохши злаки,
Иль, урну хладную вращая, Водолей
Валит шумящий дождь, седой туман и мраки,—
О радость! Ты со мной встречаешь солнца свет
И, ложе счастия с денницей покидая,
Румяна и свежа, как роза полевая,
Со мною делишь труд, заботы и обед.
Со мной в час вечера, под кровом тихой ночи
Со мной, всегда со мной; твои прелестны очи
Я вижу, голос твой я слышу, и рука
В твоей покоится всечасно.
Я с жаждою ловлю дыханье сладострастно
Румяных уст, и если хоть слегка
Летающий Зефир власы твои развеет
И взору обнажит снегам подобну грудь,
Твой друг не смеет и вздохнуть:
Потупя взор, дивится и немеет.

Вторая половина 1815

НАДЕЖДА

Мой дух! доверенность к творцу!
Мужайся; будь в терпеньи камень.
Не он ли к лучшему концу
Меня провел сквозь бранный пламень?
На поле смерти чья рука
Меня таинственно спасала
И жадный крови меч врага
И град свинцовый отражала?
Кто, кто мне силу дал сносить
Труды, и глад, и непогоду,
И силу — в бедстве сохранить
Души возвышенной свободу?
Кто вел меня от юных дней
К добру стезею потаенной
И в буре пламенных страстей
Мой был вожатый неизменный?

Он! он! Его всё дар благой!
Он нам источник чувств высоких,
Любви к изящному прямой
И мыслей чистых и глубоких!
Всё дар его, и краше всех
Даров — надежда лучшей жизни!
Когда ж узрю спокойный брег,
Страну желанную отчизны?
Когда струей небесных благ
Я утолю любви желанье,
Земную ризу брошу в прах
И обновлю существованье?

1815

К ДРУГУ

Скажи, мудрец младой, что прочно на земли?
Где постоянно жизни счастье?
Мы область призраков обманчивых прошли,
Мы пили чашу сладострастья.

Но где минутный шум веселья и пиров?
В вине потопленные чаши?
Где мудрость светская сияющих умов?
Где твой фалерн и розы наши?

Где дом твой, счастья дом?.. Он в буре бед исчез,
И место поросло крапивой;
Но я узнал его; я сердца дань принес
На прах его красноречивый.

На нем, когда окрест замолкнет шум градской
И яркий Веспер засияет
На темном севере, твой друг в тиши ночной
В душе задумчивость питает.

От самой юности служитель алтарей
Богини неги и прохлады,
От пресыщения, от пламенных страстей
Я сердцу в ней ищу отрады.

Поверишь ли? Я здесь, на пепле храмин сих,
Венок веселия слагаю
И часто в горести, в волненьи чувств моих,
Потупя взоры, восклицаю:

Минутны странники, мы ходим по гробам,
Все дни утратами считаем,
На крыльях радости летим к своим друзьям —
И что ж?.. их урны обнимаем.

Скажи, давно ли здесь, в кругу твоих друзей,
Сияла Лила красотою?
Благие небеса, казалось, дали ей
Всё счастье смертной под луною:

Нрав тихий ангела, дар слова, тонкий вкус,
Любви и очи, и ланиты,
Чело открытое одной из важных муз
И прелесть девственной хариты.

Ты сам, забыв и свет, и тщетный шум пиров,
Ее беседой наслаждался

И в тихой радости, как путник средь песков,
Прелестным цветом любовался.

Цветок, увы! исчез, как сладкая мечта!
Она в страданиях почила
И, с миром в страшный час прощаясь навсегда,
На друге взор остановила.

Но, дружба, может быть, ее забыла ты!..
Веселье слезы осушило,
И тень чистейшую дыханье клеветы
На лоне мира возмутило.

Так всё здесь суетно в обители сует!
Приязнь и дружество непрочно!
Но где, скажи, мой друг, прямой сияет свет?
Что вечно чисто, непорочно?

Напрасно вопрошал я опытность веков
И Клии мрачные скрижали,
Напрасно вопрошал всех мира мудрецов:
Они безмолвьем отвечали.

Как в воздухе перо кружится здесь и там,
Как в вихре тонкий прах летает,
Как судно без руля стремится по волнам
И вечно пристани не знает, —

Так ум мой посреди сомнений погибал.
Все жизни прелести затмились:
Мой гений в горести светильник погашал,
И музы светлые сокрылись.

Я с страхом вопросил глас совести моей...
И мрак исчез, прозрели вежды:
И вера пролила спасительный елей
В лампаду чистую надежды.

Ко гробу путь мой весь как солнцем озарен:
Ногой надежною ступаю
И, с ризы странника свергая прах и тлен,
В мир лучший духом возлетаю.

1815

ПРОБУЖДЕНИЕ

Зефир последний свеял сон
С ресниц, окованных мечтами,
Но я — не к счастью пробужден
Зефира тихими крылами.
Ни сладость розовых лучей
Предтечи утреннего Феба,
Ни кроткий блеск лазури неба,
Ни запах, веющий с полей,
Ни быстрый лет коня ретива
По скату бархатных лугов
И гончих лай и звон рогов
Вокруг пустынного залива —
Ничто души не веселит,
Души, встревоженной мечтами,
И гордый ум не победит
Любви — холодными словами.

Вторая половина 1815 (?)

ЭЛЕГИЯ

Я чувствую, мой дар в поэзии погас,
И муза пламенник небесный потушила;
Печальна опытность открыла
Пустыню новую для глаз.
Туда влечет меня осиротелый гений,
В поля бесплодные, в непроходимы сени,
Где счастья нет следов,
Ни тайных радостей, неизъяснимых снов,
Любимцам Фебовым от юности известных,
Ни дружбы, ни любви, ни песней муз прелестных,
Которые всегда душевну скорбь мою,
Как лотос, силою волшебной врачевали.
Нет, нет! себя не узнаю
Под новым бременем печали!
Как странник, брошенный из недра ярых волн,
На берег дикий и кремнистый
Встает и с ужасом разбитый видит челн,
Валы ревущие и молнии змиисты,

Объявшие кругом свинцовый небосклон;
Рукою трепетной он мраки вопрошает,
Ногой скользит над пропастями он,
И ветер буйный развевает
Молений глас его, рыдания и стон...—
На крае гибели так я зову в спасенье
Тебя, последний сердца друг!
Опора сладкая, надежда, утешенье
Средь вечных скорбей и недуг!
Хранитель ангел мой, оставленный мне богом!..
Твой образ я таил в душе моей залогом
Всего прекрасного... и благости творца.
Я с именем твоим летел под знамя брани
Искать иль гибели, иль славного венца.
В минуты страшные чистейши сердца дани
Тебе я приносил на Марсовых полях:
И в мире, и в войне, во всех земных краях
Твой образ следовал с любовию за мною;
С печальным странником он неразлучен стал.
Как часто в тишине, весь занятый тобою,
В лесах, где Жувизи гордится над рекою,
И Сейна по цветам льет сребряный кристалл,
Как часто средь толпы и шумной, и беспечной,
В столице роскоши, среди прелестных жен,
Я пенье забывал волшебное сирен
И мыслил о тебе лишь в горести сердечной.
Я имя милое твердил
В прохладных рощах Альбиона
И эхо называть прекрасную учил
В цветущих пажитях Ричмона.
Места прелестные и в дикости своей,
О камни Швеции, пустыни скандинавов,
Обитель древняя и доблестей и нравов!
Ты слышала обет и глас любви моей,
Ты часто странника задумчивость питала,
Когда румяная денница отражала
И дальные скалы гранитных берегов,
И села пахарей, и кущи рыбаков
Сквозь тонки, утренни туманы
На зёркальных водах пустынной Троллетаны.
Исполненный всегда единственно тобой,
С какою радостью ступил на брег отчизны!

«Здесь будет, — я сказал, — душе моей покой,
Конец трудам, конец и страннической жизни».
Ах, как обманут я в мечтании моем!
Как снова счастье мне коварно изменило
В любви и дружестве... во всем,
Что сердцу сладко льстило,
Что было тайною надеждою всегда!
Есть странствиям конец — печалям никогда!
В твоем присутствии страдания и муки
Я сердцем новые познал.
Они ужаснее разлуки,
Всего ужаснее! Я видел, я читал
В твоем молчании, в прерывном разговоре,
В твоем унылом взоре,
В сей тайной горести потупленных очей,
В улыбке и в самой веселости твоей
Следы сердечного терзанья...

Нет, нет! Мне бремя жизнь! Что в ней без упованья?
Украсить жребий твой
Любви и дружества прочнейшими цветами,
Всем жертвовать тебе, гордиться лишь тобой,
Блаженством дней твоих и милыми очами,
Признательность твою и счастье находить
В речах, в улыбке, в каждом взоре,
Мир, славу, суеты протекшие и горе,
Всё, всё у ног твоих, как тяжкий сон, забыть!
Что в жизни без тебя? Что в ней без упованья,
Без дружбы, без любви — без идолов моих?..
И муза, сетуя, без них
Светильник гасит дарованья.

Вторая половина 1815 (?)

ПЕСНЬ ГАРАЛЬДА СМЕЛОГО

Мы, други, летали по бурным морям,
От родины милой летали далеко!
На суше, на море мы бились жестоко;
И море, и суша покорствуют нам!

О други! как сердце у смелых кипело,
Когда мы, содвинув стеной корабли,
Как птицы неслися станицей веселой
Вкруг пажитей тучных Сиканской земли!..
А дева русская Гаральда презирает.

О други! я младость не праздно провел!
С сынами Дронтгейма вы помните сечу?
Как вихорь пред вами я мчался навстречу
Под камни и тучи свистящие стрел.
Напрасно сдвигались народы; мечами
Напрасно о наши стучали щиты:
Как бледные класы под ливнем, упали
И всадник, и пеший... владыка, и ты!..
А дева русская Гаральда презирает.

Нас было лишь трое на легком челне;
А море вздымалось, я помню, горами;
Ночь черная в полдень нависла с громами,
И Гела зияла в соленой волне.
Но волны напрасно, яряся, хлестали:
Я черпал их шлемом, работал веслом:
С Гаральдом, о други, вы страха не знали
И в мирную пристань влетели с челном!
А дева русская Гаральда презирает.

Вы, други, видали меня на коне?
Вы зрели, как рушил секирой твердыни,
Летая на бурном питомце пустыни
Сквозь пепел и вьюгу в пожарном огне?
Железом я ноги мои окрыляя,
И лань упреждаю по звонкому льду;
Я, хладную влагу рукой рассекая,
Как лебедь отважный по морю иду...
А дева русская Гаральда презирает.

Я в мирных родился полно́чи снегах;
Но рано отбросил доспехи ловитвы —
Лук грозный и лыжи — и в шумные битвы
Вас, други, с собою умчал на судах.
Не тщетно за славой летали далеко
От милой отчизны по диким морям;

Не тщетно мы бились мечами жестоко:
И море, и суша покорствуют нам!
А дева русская Гаральда презирает.

Между февралем и 17 июля 1816

ПОСЛАНИЕ К ТУРГЕНЕВУ

О ты, который средь обедов,
Среди веселий и забав
Сберег для дружбы кроткий нрав,
Для дел — характер честный дедов!
О ты, который при дворе,
В чаду успехов или счастья,
Найти умел в одном добре
Души прямое сладострастье!
О ты, который с похорон
На свадьбы часто поспеваешь,
Но, бедного услыша стон,
    Ушей не затыкаешь!
Услышь, мой верный доброхот,
Певца смиренного моленье,
Доставь крупицу от щедрот
Сироткам двум на прокормленье!
Замолви слова два за них
Красноречивыми устами:
Лишь «Дайте им!» промолви — вмиг
Они очутятся с сергами.
Но кто *они*? — Скажу точь-в-точь
Всю повесть их перед тобою.
    Они — вдова и дочь,
Чета, забытая судьбою.
Жил некто в мире сем Попов,
    Царя усердный воин.
Был беден. Умер. От долгов
    Он, следственно, спокоен.
Но в мире он забыл жену
С грудным ребенком; и одну
Суму оставил им в наследство...
Но здесь не всё для бедных бедство!
Им добры люди помогли,
    Согрели, накормили

И, словом, как могли,
Сироток приютили.
Прекрасно! славно! — спору нет!
Но... здешний свет
Не рай — мне сказывал мой дед.
Враги нахлынули рекою,
С землей сравнялася Москва...
И бедная вдова
Опять пошла с клюкою...
А между тем всё дочь растет,
И нужды с нею подрастают.
День за день всё идет, идет,
Недели, месяцы мелькают;
Старушка клонится, а дочь
Пышнее розы расцветает,
И стала... Грация точь-в-точь!
Прелестный взор, глаза большие,
Румянец Флоры на щеках,
И кудри льняно-золотые
На алебастровых плечах.
Что слово молвит — то приятство,
Что ни наденет — всё к лицу!
Краса — увы! — ее богатство
И всё приданое к венцу,
А крохи нет насущной хлеба!
Тургенев, друг наш! Ради неба —
Приди на помощь красоте,
Несчастию и нищете!
Они пред образом, конечно,
Затеплят чистую свечу, —
За чье здоровье — умолчу:
Ты угадаешь, друг сердечный!

14 октября 1816

К ЦВЕТАМ НАШЕГО ГОРАЦИЯ

Ни вьюги, ни морозы
Цветов твоих не истребят.
Бог лиры, бог любви и музы мне твердят:
В саду Горация не увядают розы.

1816 (?)

* * *

У Волги-реченьки сидел
В кручинушке, унылый,
Солдат израненный и хилый.
Вздохнул, на волны поглядел
И песенку запел:

— Там, там в далекой стороне
Ты, родина святая!
Отец и мать моя родная,
Вас не увидеть боле мне
В родимой стороне.

О, смерть в боях не так страшна,
Как страннику в чужбине,
Там пуля смерть, а здесь в кручине
Томись без хлеба и без сна,
Пока при<дет> она.

Куда летите, паруса? —
На родину святую.
Зачем вы, пташки, в цепь густую,
Зачем взвились под небеса? —
В родимые леса.

Всё в родину летит свою,
А я бреду насилу,
Сквозь слезы песенку унылу
Путем-дорогою пою
Про родину мою.

Несу котомку на плечах,
На саблю подпираюсь,
Как сиро<тино>чка <?> скитаюсь
В лесах дремучих и песках,
На волжских берегах.

Жена останется вдовой,
А дети сиротами,
Вам сердце молвит: за горами,

В стране далекой и чужой,
Знать, умер наш родной.

Зачем, зачем ре<ка> Дунай
Меня не поглотила!
Зачем ты, пуля, изменила
. . . .

1816 или 1817 (?)

ГЕЗИОД И ОМИР — СОПЕРНИКИ

Посвящено А. Н. О., любителю древности.

Народы, как волны, в Халкиду текли,
Народы счастливой Эллады!
Там сильный владыка, над прахом отца
Оконча печальны обряды,
Ристалище славы бойцам отверзал.
Три раза с румяной денницей
Бойцы выступали с бойцами на бой;
Три раза стремили возницы
Коней легконогих по звонким полям,
И трижды владетель Халкиды
Достойным оливны венки раздавал.
Но солнце на лоно Фетиды
Склонялось, и новый готовился бой. —
Очистите поле, возницы!
Спешите! Залейте студеной струей
Пылающи оси и спицы,
Коней отрешите от тягостных уз
И в стойлы прохладны ведите;
Вы, пылью и потом покрыты, бойцы,
При пламени светлом вздохните,
Внемлите народы, Эллады сыны,
Высокие песни внемлите!

Пройдя из края в край гостеприимный мир,
Летами древними и роком удрученный,
Здесь песней царь Омир
И юный Гезиод, каменам драгоценный,
Вступают в славный бой.

Колебля ма́слину священную рукой,
Певец Аскреи гимн высокий начинает
(Он с лирой никогда свой глас не сочетает).

Гезиод

Безвестный юноша, с стадами я бродил
Под тенью пальмовой близ чистой Иппокрены,
Там пастыря нашли прелестные камены,
И я в обитель их священную вступил.

Омир

Мне снилось в юности: орел-громометатель
От Мелеса меня играючи унес
    На край земли, на край небес,
Вещая: ты земли и неба обладатель.

Гезиод

Там лавры хижину простую осенят,
В пустынях процветут Темпейские долины,
Куда вы бросите свой благотворный взгляд,
О нежны дочери суровой Мнемозины!

Омир

Хвала отцу богов! Как ясный свод небес
Над царством высится плачевного Эреба,
Как радостный Олимп стоит превыше неба —
Так выше всех богов властитель их, Зевес!..

Гезиод

В священном сумраке, в сиянии Дианы,
Вы, музы, любите сплетаться в хоровод
Или, торжественный в Олимп свершая ход,
С бессмертными вкушать напиток Гебы рьяный...

Омир

Не знает смерти он: кровь алая тельцов
Не брызнет под ножом над Зевсовой гробницей;
И кони бурные со звонкой колесницей
Пред ней не будут прах крутить до облаков.

Гезиод

А мы все смертные, все паркам обреченны,
Увидим области подземного царя
И реки спящие, Тенаром заключенны,
Не льющи дань свою в бездонные моря.

Омир

Я приближаюся к мете сей неизбежной.
Внемли, о юноша! Ты пел «Труды и дни»...
Для старца ветхого уж кончились они!

Гезиод

Сын дивный Мелеса! И лебедь белоснежный
На синем Стримоне, провидя страшный час,
Не слаще твоего поет в последний раз!
Твой гений проницал в Олимп: и вечны боги
Отверзли для тебя заоблачны чертоги.
И что ж? В юдоли сей страдалец искони,
Ты роком обречен в печалях кончить дни.
Певец божественный, скитаяся, как нищий,
В печальном рубище, без крова и без пищи,
Слепец всевидящий! ты будешь проклинать
И день, когда на свет тебя родила мать!

Омир

Твой глас подобится амврозии небесной,
Что Геба юная сапфирной чашей льет.
Певец! в устах твоих поэзии прелестной
Сладчайший Ольмия благоухает мед.
Но... муз любимый жрец!.. страшись руки злодейской,
Страшись любви, страшись Эвбеи берегов:
Твой близок час: увы! тебя Зевес Немейской
Как жертву славную готовит для врагов.

Умолкли. Облако печали
Покрыло очи их... Народ рукоплескал.
Но снова сладкий бой поэты начинали
При шуме радостных похвал.

Омир, возвыся глас, воспел народов брани,
Народов, гибнущих по прихоти царей;
Приама древнего, с мольбой несуща дани
Убийце грозному и кровных, и детей;
Мольбу смиренную и быструю Обиду,
Харит и легких ор, и страшную Эгиду,
Нептуна области, Олимп и дикий Ад:
А юный Гезиод, взлелеянный Парнасом,
С чудесной прелестью воспел веселым гласом
Весну зеленую — сопутницу гиад;
Как Феб торжественно вселенну обтекает,
Как дни и месяцы родятся в небесах;
Как нивой золотой Церера награждает
Труды годичные оратая в полях.
Заботы сладкие при сборе винограда;
Тебя, желанный Мир, лелеятель долин,
Благословенных сел, и пастырей, и стада
Он пел. И слабый царь, Халкиды властелин,
От самой юности воспитанный средь мира,
Презрел высокий гимн бессмертного Омира
И пальму первенства сопернику вручил.
Счастливый Гезиод в награду получил
За песни, мирною каменой вдохновенны,
Сосуды сребряны, треножник позлащенный
И черного овна, красу веселых стад.
За ним, пред ним сыны ахейские, как волны,
На край ристалища обширного спешат,
Где победитель сам, благоговенья полный,
При возлияниях, овна младую кровь
Довременно богам подземным посвящает
И музам светлые сосуды предлагает
Как дар, усердный дар певца за их любовь.
До самой старости преследуемый роком,
Но духом царь, не раб разгневанной судьбы,
Омир скрывается от суетной толпы,
Снедая грусть свою в молчании глубоком.
Рожденный в Самосе убогий сирота
Слепца из края в край, как сын усердный, водит;
Он с ним пристанища в Элладе не находит...
И где найдут его талант и нищета?

Конец 1816 — январь 1817

К ПОРТРЕТУ ЖУКОВСКОГО

Под знаменем Москвы пред падшею столицей
Он храбрым гимны пел, как пламенный Тиртей;
В дни мира, новый Грей,
Пленяет нас задумчивой цевницей.

1816 или начало 1817

ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ РЕЙН

1814

Меж тем как воины вдоль йдут по полям,
Завидя вдалеке твои, о Реин, волны,
Мой конь, веселья полный,
От строя отделясь, стремится к берегам,
На крыльях жажды прилетает,
Глотает хладную струю
И грудь, усталую в бою,
Желанной влагой обновляет...

О радость! я стою при Реинских водах!
И, жадные с холмов в окрестность брося взоры,
Приветствую поля и горы,
И замки рыцарей в туманных облаках,
И всю страну, обильну славой,
Воспоминаньем древних дней,
Где с Альпов вечною струей
Ты льешься, Реин величавый!
Свидетель древности, событий всех времен,
О Реин, ты поил несчетны легионы,
Мечом писавшие законы
Для гордых Германа кочующих племен;
Любимец счастья, бич свободы,
Здесь Кесарь бился, побеждал,
И конь его переплывал
Твои священны, Реин, воды.

Века мелькнули: мир крестом преображен,
Любовь и честь в душах суровых пробудились.
Здесь витязи вооружились

Копьем за жизнь сирот, за честь прелестных жен;
Тут совершались их турниры,
Тут бились храбрые — и здесь
Не умер, мнится, и поднесь
Звук сладкой трубадуров лиры.
Так, здесь под тению смоковниц и дубов,
При шуме сладостном нагорных водопадов,
В тени цветущих сел и градов
Восторг живет еще средь избранных сынов.
Здесь всё питает вдохновенье:
Простые нравы праотцов,
Святая к родине любовь
И праздной роскоши презренье.

Всё, всё — и вид полей, и вид священных вод,
Туманной древности и бардам современных,
Для чувств и мыслей дерзновенных
И силу новую, и крылья придает.
Свободны, горды, полудики,
Природы верные жрецы,
Тевтонски пели здесь певцы...
И смолкли их волшебны лики.
Ты сам, родитель вод, свидетель всех времен,
Ты сам, до наших дней спокойный, величавый,
С падением народной славы,
Склонил чело, увы! познал и стыд и плен...
Давно ли брег твой под орлами
Аттилы нового стенал
И ты уныло протекал
Между враждебными полками?

Давно ли земледел вдоль красных берегов,
Средь виноградников заветных и священных,
Полки встречал иноплеменных
И ненавистный взор зареинских сынов?
Давно ль они, кичася, пили
Вино из синих хрусталей
И кони их среди полей
И зрелых нив твоих бродили?
И час судьбы настал! Мы здесь, сыны снегов,
Под знаменем Москвы с свободой и с громами!..

Стеклись с морей, покрытых льдами,
От струй полуденных, от Каспия валов,
От волн Улеи и Байкала,
От Волги, Дона и Днепра,
От града нашего Петра,
С вершин Кавказа и Урала!..

Стеклись, нагрянули за честь своих граждан,
За честь твердынь, и сел, и нив опустошенных,
И берегов благословенных,
Где расцвело в тиши блаженство россиян,
Где ангел мирный, светозарный
Для стран полуночи рожден
И провиденьем обречен
Царю, отчизне благодарной.
Мы здесь, о Реин, здесь! ты видишь блеск мечей!
Ты слышишь шум полков и новых коней ржанье,
«Ура» победы и взыванье
Идущих, скачущих к тебе богатырей.
Взвивая к небу прах летучий,
По трупам вражеским летят
И вот — коней лихих поят,
Кругом заставя дол зыбучий.

Какой чудесный пир для слуха и очей!
Здесь пушек светла медь сияет за конями,
И ружья длинными рядами,
И стяги древние средь копий и мечей.
Там шлемы воев оперенны,
Тяжелой конницы строи
И легких всадников рои —
В текучей влаге отраженны!
Там слышен стук секир — и пал угрюмый лес!
Костры над Реином дымятся и пылают!
И чаши радости сверкают,
И клики воинов восходят до небес!
Там ратник ратника объемлет;
Там точит пеший штык стальной;
И конный грозною рукой
Крылатый дротик свой колеблет.

Там всадник, опершись на светлу сталь копья,
Задумчив и один, на береге высоком
Стоит и жадным ловит оком
Реки излучистой последние края.
Быть может, он воспоминает
Реку своих родимых мест —
И на груди свой медный крест
Невольно к сердцу прижимает...
Но там готовится, по манию вождей,
Бескровный жертвенник средь гибельных трофеев,
И богу сильных Маккавеев
Коленопреклонен служитель алтарей:
Его, шумя, приосеняет
Знамен отчизны грозный лес;
И солнце юное с небес
Алтарь сияньем осыпает.

Все крики бранные умолкли, и в рядах
Благоговение внезапу воцарилось,
Оружье долу преклонилось,
И вождь, и ратники чело склонили в прах:
Поют владыке вышней силы,
Тебе, подателю побед,
Тебе, незаходимый свет!
Дымятся мирные кадилы.
И се подвигнулись — валит за строем строй!
Как море шумное, волнуется всё войско;
И эхо вторит крик геройской,
Досель неслышанный, о Реин, над тобой!
Твой стонет брег гостеприимный,
И мост под воями дрожит!
И враг, завидя их, бежит,
От глаз в дали теряясь дымной!..

1816 — февраль 1817

* * *

Тот вечно молод, кто поет
Любовь, вино, Эрота
И розы сладострастья жнет
В веселых цветниках Буфлера и Марота.

Пускай грозит ему подагра, кашель злой
И свора злых заимодавцев:
Он всё трудится день-деньской
Для области книгопрода́вцев.
«Умрет, забыт!» Поверьте, нет!
Потомство всё узнает:
Чем жил, и как, и где поэт,
Как умер, прах его где мирно истлевает.
И слава, верьте мне, спасет
Из алчных челюстей забвенья
И в храм бессмертия внесет
Его и жизнь, и сочиненья.

Первая половина марта 1817

‹В. Л. ПУШКИНУ›

Чутьем поэзию любя,
Стихами лепетал ты, знаю, в колыбели;
Ты был младенцем, и тебя
Лелеял весь Парнас и музы гимны пели,
Качая колыбель усердною рукой:
«Расти, малютка золотой!
Расти, сокровище бесценно!
Ты наш, в тебе запечатленно
Таланта вечное клеймо!
Ничтожных должностей свинцовое ярмо
Твоей не тронет шеи:
Эротов розы и лилеи,
Счастливы Пафоса затеи,
Гулянья, завтраки и праздность без трудов,
Жизнь без раскаянья, без мудрости плодов,
Твои да будут вечно!
Расти, расти, сердечный!
Не будешь в золоте ходить,
Но будешь без труда на рифмах говорить,
Друзей любить
И кофе жирный пить!»

Первая половина марта 1817

УМИРАЮЩИЙ ТАСС

Элегия

...E come alpestre e rapido torrente,
Come acceso baleno
In notturno sereno,
Come aura o fumo, o come stral repente,
Volan le nostre fame: ed ogni onore
Sembra languido fiore!

Che più spera, o che s'attende omai?
Dopo trionfo e palma
Sol qui restano all'alma
Lutto e lamenti, e lagrimosi lai.
Che più giova amicizia o giova amore!
Ahi lagrime! ahi dolore!

«Torrismondo», *tragedia di T. Tasso* [1]

Какое торжество готовит древний Рим?
Куда текут народа шумны волны?
К чему сих аромат и мирры сладкий дым,
Душистых трав кругом кошницы полны?
До Капитолия от Тибровых валов,
Над стогнами всемирныя столицы,
К чему раскинуты средь лавров и цветов
Бесценные ковры и багряницы?
К чему сей шум? К чему тимпанов звук и гром?
Веселья он или победы вестник?
Почто с хоругвией течет в молитвы дом
Под митрою апостолов наместник?
Кому в руке его сей зыблется венец,
Бесценный дар признательного Рима?
Кому триумф? — Тебе, божественный певец!
Тебе сей дар... певец Ерусалима!
И шум веселия достиг до кельи той,
Где борется с кончиною Торквато,

[1] ...Подобно горному, быстрому потоку, подобно зарнице, вспыхнувшей в ясных ночных небесах, подобно ветерку или дыму, или подобно стремительной стреле проносится наша слава; всякая почесть похожа на хрупкий цветок! На что надеешься, чего ждешь ты сегодня? После триумфа и пальмовых ветвей одно только осталось душе — печаль и жалобы, и слезные пени. Что мне в дружбе, что мне в любви? О слезы! О горе! *«Торрисмондо», трагедия Т. Тассо* (итал.). — *Ред.*

Где над божественной страдальца головой
Дух смерти носится крылатый.
Ни слезы дружества, ни иноков мольбы,
Ни почестей столь поздние награды —
Ничто не укротит железныя судьбы,
Не знающей к великому пощады.
Полуразрушенный, он видит грозный час,
С веселием его благословляет,
И, лебедь сладостный, еще в последний раз
Он, с жизнию прощаясь, восклицает:

«Друзья, о, дайте мне взглянуть на пышный Рим,
Где ждет певца безвременно кладбище!
Да встречу взорами холмы твои и дым,
О древнее квиритов пепелище!
Земля священная героев и чудес!
Развалины и прах красноречивый!
Лазурь и пурпуры безоблачных небес,
Вы, тополи, вы, древние оливы,
И ты, о вечный Тибр, поитель всех племен,
Засеянный костьми граждан вселенны, —
Вас, вас приветствует из сих унылых стен
Безвременной кончине обреченный!

Свершилось! Я стою над бездной роковой
И не вступлю при плесках в Капитолий;
И лавры славные над дряхлой головой
Не усладят певца свирепой доли.
От самой юности игралище людей,
Младенцем был уже изгнанник;
Под небом сладостным Италии моей
Скитаяся как бедный странник,
Каких не испытал превратностей судеб?
Где мой челнок волнами не носился?
Где успокоился? Где мой насущный хлеб
Слезами скорби не кропился?
Сорренто! Колыбель моих несчастных дней,
Где я в ночи, как трепетный Асканий,
Отторжен был судьбой от матери моей,
От сладостных объятий и лобзаний, —
Ты помнишь, сколько слез младенцем пролил я!
Увы! с тех пор добыча злой судьбины,

Все горести узнал, всю бедность бытия.
Фортуною изрытые пучины
Разверзлись подо мной, и гром не умолкал!
Из веси в весь, из стран в страну гонимый,
Я тщетно на земли пристанища искал:
Повсюду перст ее неотразимый!
Повсюду молнии, карающей певца!
Ни в хижине оратая простого,
Ни под защитою Альфонсова дворца,
Ни в тишине безвестнейшего крова,
Ни в дебрях, ни в горах не спас главы моей,
Бесславием и славой удрученной,
Главы изгнанника, от колыбельных дней
Карающей богине обреченной...

Друзья! но что мою стесняет страшно грудь?
Что сердце так и ноет, и трепещет?
Откуда я? какой прошел ужасный путь,
И что за мной еще во мраке блещет?
Феррара... фурии... и зависти змия!..
Куда? куда, убийцы дарованья!
Я в пристани. Здесь Рим. Здесь братья и семья!
Вот слезы их и сладки лобызанья...
И в Капитолии — Вергилиев венец!
Так, я свершил назначенное Фебом.
От первой юности его усердный жрец,
Под молнией, под разъяренным небом
Я пел величие и славу прежних дней,
И в узах я душой не изменился.
Муз сладостный восторг не гас в душе моей,
И гений мой в страданьях укрепился.
Он жил в стране чудес, у стен твоих, Сион,
На берегах цветущих Иордана;
Он вопрошал тебя, мятущийся Кедрон,
Вас, мирные убежища Ливана!
Пред ним воскресли вы, герои древних дней,
В величии и в блеске грозной славы:
Он зрел тебя, Готфред, владыка, вождь царей,
Под свистом стрел спокойный, величавый;
Тебя, младый Ринальд, кипящий, как Ахилл,
В любви, в войне счастливый победитель.

Он зрел, как ты летал по трупам вражьих сил,
Как огнь, как смерть, как ангел-истребитель...

И тартар низложен сияющим крестом!
О, доблести неслыханной примеры!
О, наших праотцов, давно почивших сном,
Триумф святой! победа чистой веры!
Торквато вас исторг из пропасти времен:
Он пел — и вы не будете забвенны, —
Он пел: ему венец бессмертья обречен,
Рукою муз и славы соплетенный.

Но поздно! Я стою над бездной роковой
И не вступлю при плесках в Капитолий,
И лавры славные над дряхлой головой
Не усладят певца свирепой доли!»

Умолк. Унылый огнь в очах его горел,
Последний луч таланта пред кончиной;
И умирающий, казалося, хотел
У парки взять триумфа день единый,
Он взором всё искал Капитолийских стен,
С усилием еще приподнимался;
Но мукой страшною кончины изнурен,
Недвижимый на ложе оставался.
Светило дневное уж к западу текло
И в зареве багряном утопало;
Час смерти близился... и мрачное чело
В последний раз страдальца просияло.
С улыбкой тихою на запад он глядел...
И, оживлен вечернею прохладой,
Десницу к небесам внимающим воздел,
Как праведник, с надеждой и отрадой.
«Смотрите, — он сказал рыдающим друзьям, —
Как царь светил на западе пылает!
Он, он зовет меня к безоблачным странам,
Где вечное светило засияет...
Уж ангел предо мной, вожатай оных мест;
Он осенил меня лазурными крылами...
Приближьте знак любви, сей та́инственный крест...
Молитеся с надеждой и слезами...
Земное гибнет всё... и слава, и венец...

Искусств и муз творенья величавы,
Но там всё вечное, как вечен сам творец,
Податель нам венца небренной славы!
Там всё великое, чем дух питался мой,
Чем я дышал от самой колыбели.
О братья! о друзья! не плачьте надо мной:
Ваш друг достиг давно желанной цели.
Отыдет с миром он и, верой укреплен,
Мучительной кончины не приметит:
Там, там... о счастие!.. средь непорочных жен,
Средь ангелов, Элеонора встретит!»

И с именем любви божественный погас;
Друзья над ним в безмолвии рыдали,
День тихо догорал... и колокола глас
Разнес кругом по стогнам весть печали.
«Погиб Торквато наш! — воскликнул с плачем Рим, —
Погиб певец, достойный лучшей доли!..»
Наутро факелов узрели мрачный дым;
И трауром покрылся Капитолий.

ПРИМЕЧАНИЕ К ЭЛЕГИИ «УМИРАЮЩИЙ ТАСС»

Не одна история, но живопись и поэзия неоднократно изображали бедствия Тасса. Жизнь его, конечно, известна любителям словесности. Мы напомним только о тех обстоятельствах, которые подали мысль к этой элегии.

Т. Тасс приписал [1] свой «Иерусалим» Альфонсу, герцогу Феррарскому («o magnanimo Alfonso!» [2]) — и великодушный покровитель без вины, без суда заключил его в больницу св. Анны, т. е. в дом сумасшедших. Там его видел Монтань, путешествовавший по Италии в 1580 г. Странное свидание в таком месте первого мудреца времен новейших с величайшим стихотворцем!.. Но вот что Монтань пишет в «Опытах»: «Я смотрел на Тасса еще с большею до-

[1] То есть посвятил. — *Ред.*

[2] «О великодушный Альфонс!» (итал.). — *Ред.*

садою, нежели с сожалением; он пережил себя: не узнавал ни себя, ни творений своих. Они без его ведома, но при нем, но почти в глазах его напечатаны неисправно, безобразно». Тасс, к дополнению несчастия, не был совершенно сумасшедший и, в ясные минуты рассудка, чувствовал всю горесть своего положения. Воображение, главная пружина его таланта и злополучий, нигде ему не изменяло. И в узах он сочинял беспрестанно. Наконец, по усильным просьбам всей Италии, почти всей просвещенной Европы, Тасс был освобожден (заключение его продолжалось семь лет, два месяца и несколько дней). Но он недолго наслаждался свободою. Мрачные воспоминания, нищета, вечная зависимость от людей жестоких, измена друзей, несправедливость критиков, одним словом — все горести, все бедствия, какими только может быть обременен человек, разрушили его крепкое сложение и привели по терниям к ранней могиле. Фортуна, коварная до конца, приготовляя последний решительный удар, осыпала цветами свою жертву. Папа Климент VIII, убежденный просьбами кардинала Цинтио, племянника своего, убежденный общенародным голосом всей Италии, назначил ему триумф в Капитолии. «Я вам предлагаю венок лавровый, — сказал ему папа, — не он прославит вас, но вы его!» Со времени Петрарка (во всех отношениях счастливейшего стихотворца Италии) Рим не видал подобного торжества. Жители его, жители окрестных городов желали присутствовать при венчании Тасса. Дождливое осеннее время и слабость здоровья стихотворца заставили отложить торжество до будущей весны. В апреле все было готово, но болезнь усилилась. Тасс велел перенести себя в монастырь св. Онуфрия; и там, окруженный друзьями и братией мирной обители, на одре мучений ожидал кончины. К несчастию, вернейший его приятель, Константини, не был при нем, и умирающий написал к нему сии строки, в которых, как в зеркале, видна вся душа певца Иерусалима: «Что скажет мой Константини, когда узнает о кончине своего милого Торквато? Не замедлит дойти к нему эта весть. Я чувствую приближение смерти. Никакое лекарство не излечит моей новой болезни. Она совокупилась с другими недугами и, как быстрый поток, увлекает меня... Поздно теперь жаловаться на фортуну, всегда враждебную (не хочу упоминать о неблагодарности людей!). Фортуна торжествует! Нищим я доведен ею до гроба, в то время как надеялся, что слава, приобретенная наперекор врагам моим, не будет для меня совершенно бесполезною. Я велел перенести себя в монастырь св. Онуфрия не потому единственно, что врачи одобряют его воздух, но для того, чтобы на сем возвышенном месте, в беседе святых отшельников начать мои беседы с небом. Молись богу за

меня, милый друг, и будь уверен, что я, любя и уважая тебя в сей жизни и в будущей — которая есть настоящая, — не премину все совершить, чего требует истинная, чистая любовь к ближнему. Поручаю тебя благости небесной и себя поручаю. Прости! — Рим. Св. Онуфрий».

Тасс умер 10 апреля на пятьдесят первом году,[1] исполнив долг христианский с истинным благочестием.

Весь Рим оплакивал его. Кардинал Цинтио был неутешен и желал великолепием похорон вознаградить утрату триумфа. По его приказанию, говорит Жингене в «Истории литературы итальянской», тело Тассово было облечено в римскую тогу, увенчано лаврами и выставлено всенародно. Двор, оба дома кардиналов Альдобрандини и народ многочисленный провожали его по улицам Рима. Толпились, чтобы взглянуть еще раз на того, которого гений прославил свое столетие, прославил Италию и который столь дорого купил поздние, печальные почести! ..

Кардинал Цинтио (или Чинцио) объявил Риму, что воздвигнет поэту великолепную гробницу. Два оратора приготовили надгробные речи: одну латинскую, другую италианскую. Молодые стихотворцы сочиняли стихи и надписи для сего памятника. Но горесть кардинала была непродолжительна, и памятник не был воздвигнут. В обители св. Онуфрия смиренная братия показывает и поныне путешественнику простой камень с этой надписью: «Torquati Tassi ossa hic jacent».[2] Она красноречива.

Февраль — май 1817

БЕСЕДКА МУЗ

Под тению черемухи млечной
И золотом блистающих акаций
Спешу восстановить алтарь и муз и граций,
Сопутниц жизни молодой.

Спешу принесть цветы и ульев сот янтарный,
И нежны первенцы полей:
Да будет сладок им сей дар любви моей
И гимн поэта благодарный!

---

[1] В действительности Тассо умер 25 апреля 1595 г. на 52-м году жизни. — *Ред.*

[2] Здесь лежат кости Торквато Тассо (лат.). — *Ред.*

Не злата молит он у жертвенника муз:
Они с фортуною не дружны,
Их крепче с бедностью заботливой союз,
И боле в шалаше, чем в тереме, досужны.

Не молит славы он сияющих даров:
Увы! талант его ничтожен.
Ему отважный путь за стаею орлов,
Как пчелке, невозможен.

Он молит муз — душе, усталой от сует,
Отдать любовь утраченну к искусствам,
Веселость ясную первоначальных лет
И свежесть — вянущим беспрестанно чувствам.

Пускай забот свинцовый груз
В реке забвения потонет
И время жадное в сей тайной сени муз
Любимца их не тронет.

Пускай и в сединах, но с бодрою душой,
Беспечен, как дитя всегда беспечных граций,
Он некогда придет вздохнуть в сени густой
Своих черемух и акаций.

Май 1817

К НИКИТЕ

Как я люблю, товарищ мой,
Весны роскошной появленье
И в первый раз над муравой
Веселых жаворонков пенье.
Но слаще мне среди полей
Увидеть первые биваки
И ждать беспечно у огней
С рассветом дня кровавой драки.
Какое счастье, рыцарь мой!
Узреть с нагорныя вершины
Необозримый наших строй
На яркой зелени долины!
Как сладко слышать у шатра

Вечерней пушки гул далекий
И погрузиться до утра
Под теплой буркой в сон глубокий
Когда по утренним росам
Коней раздастся первый топот
И ружей протяженный грохот
Пробудит эхо по горам,
Как весело перед строями
Летать на ухарском коне
И с первыми в дыму, в огне,
Ударить с криком за врагами!
Как весело внимать: «Стрелки,
Вперед! сюда, донцы! Гусары!
Сюда, летучие полки,
Башкирцы, горцы и татары!»
Свисти теперь, жужжи свинец!
Летайте ядры и картечи!
Что вы для них? для сих сердец,
Природой вскормленных для сечи?
Колонны сдвинулись, как лес.
И вот... о зрелище прекрасно!
Идут — безмолвие ужасно!
Идут — ружье наперевес;
Идут... ура! — и всё сломили,
Рассеяли и разгромили:
Ура! Ура! — и где же враг?..
Бежит, а мы в его домах —
О радость храбрых! — киверами
Вино некупленное пьем
И под победными громами
«Хвалите господа» поем!..

Но ты трепещешь, юный воин,
Склонясь на сабли рукоять:
Твой дух встревожен, беспокоен;
Он рвется лавры пожинать:
С Суворовым он вечно бродит
В полях кровавыя войны
И в вялом мире не находит
Отрадной сердцу тишины.
Спокойся: с первыми громами
К знаменам славы полетишь;

Но там, о горе, не узришь
Меня, как прежде, под шатрами!
Забытый шумною молвой,
Сердец мучительницей милой,
Я сплю, как труженик унылый,
Не оживляемый хвалой.

Июнь или начало июля 1817

‹С. С. УВАРОВУ›

Среди трудов и важных муз,
Среди учености всемирной
Он не утратил нежный вкус;
Еще он любит голос лирный,
Еще в душе его огонь,
И сердце наслаждений просит,
И борзый Аполлонов конь
От муз его в Цитеру носит.
От пепла древнего Афин,
От гордых памятников Рима,
С развалин Трои и Солима,
Умом вселенной гражданин,
Он любит отдыхать с Эратой,
Разнообразной и живой,
И часто водит нас с собой
В страны Фантазии крылатой.
Ему легко: он награжден,
Благословен, взлелеян Фебом;
Под сумрачным родился небом,
Но будто в Аттике рожден.

Вторая половина 1817

МЕЧТА [1]

Подруга нежных муз, посланница небес,
Источник сладких дум и сердцу милых слез,
Где ты скрываешься, Мечта, моя богиня?
Где тот счастливый край, та мирная пустыня,

---

[1] Окончательная редакция стихотворения. — *Ред.*

К которым ты стремишь таинственный полет?
Иль дебри любишь ты, сих грозных скал хребет,
Где ветр порывистый и бури шум внимаешь?
Иль в Муромских лесах задумчиво блуждаешь,
Когда на западе зари мерцает луч
И хладная луна выходит из-за туч?
Или, влекомая чудесным обаяньем
В места, где дышит всё любви очарованьем,
Под тенью яворов ты бродишь по холмам,
Студеной пеною Воклюза орошенным?
Явись, богиня, мне, и с трепетом священным
        Коснуся я струнам,
        Тобой одушевленным!
Явися! ждет тебя задумчивый пиит,
В безмолвии ночном сидящий у лампады!
Явись и дай вкусить сердечныя отрады!
Любимца твоего, любимца Аонид,
    И горесть сладостна бывает:
        Он в горести *мечтает*.

То вдруг он пренесен во Сельмские леса,
    Где ветр шумит, ревет гроза,
Где тень Оскарова, одетая туманом,
По небу стелется над пенным океаном;
    То, с чашей радости в руках,
Он с бардами поет: и месяц в облаках,
И Кромлы шумный лес безмолвно им внимает.
И эхо по горам песнь звучну повторяет.

        Или в полночный час
        Он слышит скальдов глас
        Прерывистый и томный.
        Зрит: юноши безмолвны,
Склоняся на щиты, стоят кругом костров,
        Зажженных в поле брани;
        И древний царь певцов
        Простер на арфу длани.
Могилу указав, где вождь героев спит,
        «Чья тень, чья тень, — гласит
        В священном исступленьи, —
Там с девами плывет в туманных облаках?
Се ты, младый Иснель, иноплеменных страх,





Днесь падший на сраженьи!
Мир, мир тебе, герой!
Твоей секирою стальной
Пришельцы гордые разбиты,
Но сам ты пал на грудах тел,
Пал витязь знаменитый
Под тучей вражьих стрел!..
Ты пал! И над тобой посланницы небесны,
Валкирии прелестны,
На белых, как снега Биармии, конях,
С златыми копьями в руках
В безмолвии спустились!
Коснулись до зениц копьем своим, и вновь
Глаза твои открылись!
Течет по жилам кровь
Чистейшего эфира;
И ты, бесплотный дух,
В страны безвестны мира
Летишь стрелой... и вдруг—
Открылись пред тобой те радужны чертоги,
Где уготовили для сонма храбрых боги
Любовь и вечный пир.
При шуме горних вод и тихострунных лир,
Среди полян и свежих сеней,
Ты будешь поражать там скачущих еленей
И златорогих серн!»
Склонясь на злачный дерн,
С дружиною младою,
Там снова с арфой золотою
В восторге скальд поет
О славе древних лет,
Поет, и храбрых очи,
Как звезды тихой ночи,
Утехою блестят.
Но вечер притекает,
Час неги и прохлад,
Глас скальда замолкает.
Замолк — и храбрых сонм
Идет в Оденов дом,
Где дочери Веристы,
Власы свои душисты

Раскинув по плечам,
Прелестницы младые,
Всегда полунагие,
На пиршества гостям
Обильны яства носят
И пить умильно просят
Из чаши сладкий мед...
Так древний скальд поет,
Лесов и дебрей сын угрюмый:
Он счастлив, погрузясь о счастьи в сладки думы!

О, сладкая мечта! О, неба дар благой!
Средь дебрей каменных, средь ужасов природы,
Где плещут о скалы Ботнические воды,
В краях изгнанников... я счастлив был тобой.
Я счастлив был, когда в моем уединеньи,
Над кущей рыбаря, в час полночи немой,
Раздастся ветров свист и вой
И в кровлю застучит и град, и дождь осенний.
Тогда на крылиях мечты
Летал я в поднебесной,
Или, забывшися на лоне красоты,
Я сон вкушал прелестный
И, счастлив наяву, был счастлив и в мечтах!

Волшебница моя! Дары твои бесценны
И старцу в лета охлажденны,
С котомкой нищему и узнику в цепях.
Заклепы страшные с замками на дверях,
Соломы жесткий пук, свет бледный пепелища,
Изглоданный сухарь, мышей тюремных пища,
Сосуды глиняны с водой —
Всё, всё украшено тобой!..
Кто сердцем прав, того ты ввек не покидаешь:
За ним во все страны летаешь
И счастием даришь любимца своего.
Пусть миром позабыт! Что нужды для него?
Но с ним задумчивость, в день пасмурный, осенний,
На мирном ложе сна,
В уединенной сени,
Беседует одна.
О, тайных слез неизъяснима сладость!

Что́ пред тобой сердец холодных радость,
Веселий шум и блеск честей
Тому, кто ничего не ищет под луною,
Тому, кто сопряжен душою
С могилою давно утраченных друзей!

Кто в жизни не любил?
Кто раз не забывался,
Любя, мечтам не предавался
И счастья в них не находил?
Кто в час глубокой ночи,
Когда невольно сон смыкает томны очи,
Всю сладость не вкусил обманчивой мечты?
Теперь, любовник, ты
На ложе роскоши с подругой боязливой,
Ей шепчешь о любви и пламенной рукой
Снимаешь со груди ее покров стыдливой,
Теперь блаженствуешь и счастлив ты — мечтой!
Ночь сладострастия тебе дает призра́ки
И нектаром любви кропит ленивы маки.

Мечтание — душа поэтов и стихов,
И едкость сильная веков
Не может прелестей лишить Анакреона,
Любовь еще горит во пламенных мечтах
Любовницы Фаона;
А ты, лежащий на цветах
Меж нимф и сельских граций,
Певец веселия, Гораций!
Ты сладостно мечтал,
Мечтал среди пиров и шумных, и веселых,
И смерть угрюмую цветами увенчал!
Как часто в Тибуре, в сих рощах устарелых,
На скате бархатных лугов,
В счастливом Тибуре, в твоем уединеньи,
Ты ждал Глицерию, и в сладостном забвеньи,
Томимый негою на ложе из цветов,
При воскурении мастик благоуханных,
При пляске нимф венчанных,
Сплетенных в хоровод,
При отдаленном шуме
В лугах журчащих вод,

Безмолвен, в сладкой думе
Мечтал... и вдруг, мечтой
Восторжен сладострастной,
У ног Глицерии стыдливой и прекрасной
Победу пел любви
Над юностью беспечной,
И первый жар в крови,
И первый вздох сердечный,
Счастливец! воспевал
Цитерские забавы
И все заботы славы
Ты ветрам отдавал!

Ужели в истинах печальных
Угрюмых стоиков и скучных мудрецов,
Сидящих в платьях погребальных
Между обломков и гробов,
Найдем мы жизни нашей сладость? —
От них, я вижу, радость
Летит, как бабочка от терновых кустов;
Для них нет прелести и в прелестях природы.
Им девы не поют, сплетяся в хороводы:
Для них, как для слепцов,
Весна без радости и лето без цветов...
Увы! но с юностью исчезнут и мечтанья.
Исчезнут граций лобызанья,
Надежда изменит и рой крылатых снов.
Увы! там нет уже цветов,
Где тусклый опытность светильник зажигает
И время старости могилу открывает.

Но ты — пребудь верна, живи еще со мной!
Ни свет, ни славы блеск пустой,
Ничто даров твоих для сердца не заменит!
Пусть дорого глупец сует блистанье ценит,
Лобзая прах златой у мраморных палат, —
Но я и счастлив, и богат,
Когда снискал себе свободу и спокойство,
А от сует ушел забвения тропой!
Пусть будет навсегда со мной
Завидное поэтов свойство:
Блаженство находить в убожестве Мечтой!

Их сердцу малость драгоценна:
Как пчелка, медом отягченна,
Летает с травки на цветок,
Считая морем ручеек,
Так хижину свою поэт дворцом считает
И счастлив — *он мечтает.*

1817

‹ИЗ ГРЕЧЕСКОЙ АНТОЛОГИИ›

1

В обители ничтожества унылой,
О незабвенная! прими потоки слез,
И вопль отчаянья над хладною могилой,
И горсть, как ты, минутных роз!
Ах! тщетно всё! Из вечной сени
Ничем не призовем твоей прискорбной тени;
Добычу не отдаст завистливый Аид.
Здесь онемение; всё хладно, всё молчит,
Надгробный факел мой лишь мраки освещает...
Что, что вы сделали, властители небес?
Скажите, чтó краса так рано погибает!
Но ты, о мать-земля! с сей данью горьких слез
Прими почившую, поблеклый цвет весенний,
Прими и успокой в гостеприимной сени!

2

Свидетели любви и горести моей,
О розы юные, слезами омоченны!
Красуйтеся в венках над хижиной смиренной,
Где милая таится от очей!
Помедлите, венки! еще не увядайте!
Но если явится, — пролейте на нее
Всё благовоние свое
И локоны ее слезами напитайте.

Пусть остановится в раздумьи и вздохнет.
    А вы, цветы, благоухайте
И милой локоны слезами напитайте!

3

Свершилось: Никагор и пламенный Эрот
За чашей Вакховой Аглаю победили...
О, радость! Здесь они сей пояс разрешили,
  Стыдливости девической оплот.
Вы видите: кругом рассеяны небрежно
Одежды пышные надменной красоты;
Покровы легкие из дымки белоснежной,
И обувь стройная, и свежие цветы:
Здесь всё — развалины роскошного убора,
Свидетели любви и счастья Никагора!

4

ЯВОР К ПРОХОЖЕМУ

Смотрите, виноград кругом меня как вьется!
  Как любит мой полуистлевший пень!
Я некогда ему давал отрадну тень;
Завял... но виноград со мной не расстается.
          Зевеса умоли,
Прохожий, если ты для дружества способен,
Чтоб друг твой моему был некогда подобен
И пепел твой любил, оставшись на земли.

5

Где слава, где краса, источник зол твоих?
Где стогны шумные и граждане счастливы?
Где зданья пышные и храмы горделивы,
Мусия, золото, сияющие в них?
Увы! погиб навек, Коринф столповенчанный!
И самый пепел твой развеян по полям.
Всё пусто: мы одни взываем здесь к богам,
И стонет Алкион один в дали туманной!

6

«Куда, красавица?» — «За делом, не узнаешь!»
— «Могу ль надеяться?» — «Чего?» — «Ты понимаешь!»
— «Не время!» — «Но взгляни: вот золото, считай!»
— «Не боле? Шутишь! Так прощай».

7

Сокроем навсегда от зависти людей
Восторги пылкие и страсти упоенье,
Как сладок поцелуй в безмолвии ночей,
Как сладко тайное любови наслажденье!

8

В Лаисе нравится улыбка на устах,
Ее пленительны для сердца разговоры,
Но мне милей ее потупленные взоры
И слезы горести внезапной на очах.
Я в сумерки вчера, одушевленный страстью,
У ног ее любви все клятвы повторял
И с поцелуем к сладострастью
На ложе роскоши тихонько увлекал...
Я таял, и Лаиса млела...
Но вдруг уныла, побледнела
И — слезы градом из очей!
Смущенный, я прижал ее к груди моей:
«Что сделалось, скажи, что сделалось с тобою?»
— «Спокойся, ничего, бессмертными клянусь;
Я мыслию была встревожена одною:
Вы все обманчивы, и я... тебя страшусь».

9

Тебе ль оплакивать утрату юных дней?
Ты в красоте не изменилась
И для любви моей
От времени еще прелестнее явилась.

Твой друг не дорожит неопытной красой,
Незрелой в таинствах любовного искусства.
Без жизни взор ее стыдливый и немой,
    И робкий поцелуй без чувства.
    Но ты, владычица любви,
    Ты страсть вдохнешь и в мертвый камень;
И в осень дней твоих не погасает пламень,
    Текущий с жизнию в крови.

10

  Увы! глаза, потухшие в слезах,
Ланиты, впалые от долгого страданья,
  Родят в тебе не чувство состраданья, —
  Жестокую улыбку на устах...
  Вот горькие плоды любови страстной,
Плоды ужасные мучений без отрад,
  Плоды любви, достойные наград,
Не участи для сердца столь ужасной...
Увы! как молния внезапная небес,
  В нас страсти жизнь младую пожирают
    И в жертву безотрадных слез,
    Коварные, навеки покидают.
Но ты, прелестная, которой мне любовь
Всего — и юности, и счастия дороже,
Склонись, жестокая, и я... воскресну вновь,
Как был, или еще бодрее и моложе.

11

Улыбка страстная и взор красноречивый,
В которых вся душа, как в зеркале, видна,
    Сокровища мои... Она
Жестоким Аргусом со мной разлучена!
    Но очи страсти прозорливы:
Ревнивец злой, страшись любви очей!
Любовь мне таинство быть счастливым открыла,
Любовь мне скажет путь к красавице моей,
Любовь тебя читать в сердцах не научила.

12

Изнемогает жизнь в груди моей остылой;
Конец борению; увы! всему конец.
Киприда и Эрот, мучители сердец!
Услышьте голос мой последний и унылый.
Я вяну и еще мучения терплю:
Полмертвый, но сгораю.
Я вяну, но еще так пламенно люблю
И без надежды умираю!
Так, жертву обхватив кругом,
На алтаре огонь бледнеет, умирает
И, вспыхнув ярче пред концом,
На пепле погасает.

13

С отвагой на челе и с пламенем в крови
Я плыл, но с бурей вдруг предстала смерть
ужасна.
О юный плаватель, сколь жизнь твоя прекрасна!
Вверяйся челноку! плыви!

Между маем 1817 и началом 1818

К ТВОРЦУ «ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО»

Когда на играх Олимпийских,
В надежде радостных похвал,
Отец истории читал,
Как грек разил вождей азийских
И силы гордых сокрушал, —
Народ, любитель шумной славы,
Забыв ристанье и забавы,
Стоял и весь вниманье был.
Но в сей толпе многонародной
Как старца слушал Фукидид!
Любимый отрок аонид,
Надежда крови благородной!

С какою жаждою внимал
Отцов деянья знамениты
И на горящие ланиты
Какие слезы проливал!

И я так плакал в восхищеньи,
Когда скрижаль твою читал,
И гений твой благословлял
В глубоком, сладком умиленьи...
Пускай талант — не мой удел!
Но я для муз дышал недаром,
Любил прекрасное и с жаром
Твой гений чувствовать умел.

Между июлем и сентябрем 1818

КНЯЗЮ П. И. ШАЛИКОВУ

(ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ОТ НЕГО В ПОДАРОК КНИГИ, ИМ ПЕРЕВЕДЕННОЙ)

Чем заплачу вам, милый князь,
Чем отдарю почтенного поэта?
Стихами? Но давно я с музой рушил связь
И без нее кругом летаю света,
С востока к западу, от севера на юг —
Не там, где вы, где граций круг,
Где Аполлон с парнасскими сестрами,
Нет, нет, в стране иной,
Где ввек не повстречаюсь с вами:
В пыли, в грязи, на тряской мостовой,
«В картузе с козырьком, с небритыми усами»,
Как Пушкина герой,
Воспетый им столь сильными стихами.
Такая жизнь для мыслящего — ад.
Страданий вам моих не в силах я исчислить.
Скачи туда, сюда, хоть рад или не рад.
Где ж время чувствовать и мыслить?
Но время, к счастью, есть любить
Друзей, их славу и успехи
И в дружбе находить
Неизъяснимые для черствых душ утехи.
Вот мой удел, почтенный мой поэт:

Оставя отчий край, увижу новый свет,
И небо новое, и незнакомы лицы,
Везувий в пламени и Этны вечный дым,
Кастратов, оперу, фигляров, папский Рим
И прах, священный прах всемирныя столицы.
Но где б я ни был (так я молвлю в добрый час),
Не изменясь, душою тот же буду
И, умирая, не забуду
Москву, отечество, друзей моих и вас!

11 сентября 1818

ПОСЛАНИЕ К А. И. ТУРГЕНЕВУ

Есть дача за Невой,
Верст двадцать от столицы,
У Выборгской границы,
Близ Парголы крутой:
Есть дача или мыза,
Приют для добрых душ,
Где добрая Элиза
И с ней почтенный муж,
С открытою душою
И с лаской на устах,
За трапезой простою
На бархатных лугах,
Без бального наряда,
В свой маленький приют
Друзей из Петрограда
На праздник сельский ждут.
Так муж с супругой нежной
В час отдыха от дел
Под кров свой безмятежный
Муз к грациям привел.
Поэт, лентяй, счастливец
И тонкий философ,
Мечтает там Крылов
Под тению березы
О басенных зверях
И рвет парнасски розы
В приютинских лесах.

И Гнедич там мечтает
О греческих богах,
Меж тем как замечает
Кипренский лица их
И кистию чудесной,
С беспечностью прелестной,
Вандиков ученик,
В один крылатый миг
Он пишет их портреты,
Которые от Леты
Спасли бы образцов,
Когда бы сам Крылов
И Гнедич сочиняли,
Как пишет Тянислов
Иль Балдусы писали,
Забыв и вкус, и ум.
Но мы забудем шум
И суеты столицы,
Изладим колесницы,
Ударим по коням
И пустимся стрелою
В Приютино с тобою.
Согласны? — По рукам!

Между октябрем 1817 и ноябрем 1818

* * *

Ты пробуждаешься, о Байя, из гробницы
При появлении Аврориных лучей,
Но не отдаст тебе багряная денница
Сияния протекших дней,
Не возвратит убежищей прохлады,
Где нежились рои красот,
И никогда твои порфирны колоннады
Со дна не встанут синих вод.

Май или июнь 1819

* * *

Есть наслаждение и в дикости лесов,
Есть радость на приморском бреге,
И есть гармония в сем говоре валов,
Дробящихся в пустынном беге.
Я ближнего люблю, но ты, природа-мать,
Для сердца ты всего дороже!
С тобой, владычица, привык я забывать
И то, чем был, как был моложе,
И то, чем ныне стал под холодом годов.
Тобою в чувствах оживаю:
Их выразить душа не знает стройных слов
И как молчать об них — не знаю.

Июль или август 1819

НАДПИСЬ ДЛЯ ГРОБНИЦЫ ДОЧЕРИ МАЛЫШЕВОЙ

О! милый гость из отческой земли!
Молю тебя: заметь сей памятник безвестный:
Здесь матерь и отец надежду погребли;
Здесь я покоюся, младенец их прелестный.
Им молви от меня: «Не сетуйте, друзья!
Моя завидна скоротечность;
Не знала жизни я,
И знаю вечность».

Январь 1820

ПОДРАЖАНИЕ АРИОСТУ

La verginella è simile alla rosa [1]

Девица юная подобна розе нежной,
Взлелеянной весной под сенню надежной:
Ни стадо алчное, ни взоры пастухов
Не знают тайного сокровища лугов,
Но ветер сладостный, но рощи благовонны,
Земля и небеса прекрасной благосклонны.

<1821>

[1] Девушка подобна розе (итал.). — *Ред.*

ПОДРАЖАНИЯ ДРЕВНИМ

1

Без смерти жизнь не жизнь: и что она? Сосуд,
Где капля меду средь полыни;
Величествен сей понт! Лазурный царь пустыни,
О солнце! чудно ты среди небесных чуд!
И на земле прекрасного столь много!
Но все поддельное иль втуне серебро:
Плачь, смертный! плачь! Твое добро
В руке у Немезиды строгой!

2

Скалы чувствительны к свирели;
Верблюд прислушивать умеет песнь любви,
Стеня под бременем; румянее крови —
Ты видишь — розы покраснели
В долине Йемена от песней соловья...
А ты, красавица... Не постигаю я.

3

Взгляни: сей кипарис, как наша степь, бесплоден —
Но свеж и зелен он всегда.
Не можешь, гражданин, как пальма, дать плода?
Так буди с кипарисом сходен:
Как он уединен, осанист и свободен.

4

Когда в страдании девица отойдет
И труп синеющий остынет, —
Напрасно на него любовь и амвру льет,
И облаком цветов окинет.

Бледна, как лилия в лазури васильков,
Как восковое изваянье;
Нет радости в цветах для вянущих перстов,
И суетно благоуханье.

5

О смертный! хочешь ли безбедно перейти
За море жизни треволненной?
Не буди горд: и в ветр попутный опусти
Свой парус, счастием надменный.
Не покидай руля, как свистнет ярый ветр!
Будь в счастьи — Сципион, в тревоге брани — Петр.

6

Ты хочешь меду, сын? — так жала не страшись;
Венца победы? — смело к бою!
Ты перлов жаждешь? — так спустись
На дно, где крокодил зияет под водою.
Не бойся! Бог решит. Лишь смелым он отец,
Лишь смелым перлы, мед, иль гибель... иль венец.

Июнь 1821
Шафгаузен

* * *

Жуковский, время всё проглотит,
Тебя, меня и славы дым,
Но то, что в сердце мы храним,
В реке забвенья не потопит!
Нет смерти сердцу, нет ее!
Доколь оно для блага дышит!..
А чем исполнено твое,
И сам Плетаев не опишет.

Начало ноября 1821

* * *

Ты знаешь, что изрек,
Прощаясь с жизнию, седой Мельхиседек?
Рабом родится человек,
Рабом в могилу ляжет,
И смерть ему едва ли скажет,
Зачем он шел долиной чудной слез,
Страдал, рыдал, терпел, исчез.

1821 (?)

МЕЛКИЕ САТИРИЧЕСКИЕ И ШУТОЧНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

ПЕРЕВОД ЛАФОНТЕНОВОЙ ЭПИТАФИИ

Иван и умер, как родился, —
Ни с чем; он в жизни веселился
И время вот как разделял:
Во весь день — пил, а ночью — спал.

1804 или 1805

* * *

Безрифмина совет:
Без жалости всё сжечь мое стихотворенье!
Быть так! Его ж, друзья, невинное творенье
Своею смертию умрет!

<1805>

‹Н. И. ГНЕДИЧУ›

Ужели слышать всё докучный барабан?
Пусть дружество еще, проникнув тихим гласом,
Хотя на час один соединит с Парнасом
Того, кто невзначай Ареев вздел кафтан
И с клячей величавой
Пустился кое-как за славой.

2 марта 1807

* * *

Как трудно Бибрису со славою ужиться!
Он пьет, чтобы писать, и пишет, чтоб напиться!

Июль или август 1809

МАДРИГАЛ НОВОЙ САФЕ

Ты — Сафо, я — Фаон, — об этом и не спорю,
Но, к моему ты горю,
Пути не знаешь к морю.

Июль или август 1809

КНИГИ И ЖУРНАЛИСТ

Крот мыши раз шепнул: «Подруга! ну, зачем
На пыльном чердаке своем
Царапаешь, грызешь и книги раздираешь:
Ты крошки в них ума и пользы не сбираешь?»
— «Не об уме и хлопочу,
Я есть хочу».
Не знаю, впрок ли то, но эта мышь уликой
Тебе, обрызганный чернилами Арист.
Зубами ты живешь, голодный журналист.
Да нужды жить тебе не видим мы великой.

Июль или август 1809

ЭПИГРАММА НА ПЕРЕВОД ВЕРГИЛИЯ

Вдали от храма муз и рощей Геликона
Феб мстительной рукой Сатира задавил; [1]
Воскрес урод и отомстил:
Друзья, он душит Аполлона!

Июль или август 1809

[1] Всем известна участь Марсия.

МАДРИГАЛ МЕЛИНЕ, КОТОРАЯ НАЗЫВАЛА СЕБЯ НИМФОЮ

Ты нимфа Ио, — нет сомненья!
Но только... после превращенья!

Июль или август 1809

ЭПИТАФИЯ

Не нужны надписи для камня моего,
Пишите просто здесь: он был, и нет его!

Конец ноября 1809

* * *

Известный откупщик Фадей
Построил богу храм... и совесть успокоил.
И впрямь! На всё цены́ удвоил:
Дал богу медный грош, а сотни взял рублей
С людей.

<1810>

* * *

«Теперь, сего же дня,
Прощай, мой экипаж и рыжих четверня!
Лизета! ужины!.. Я с вами распрощался
Навек для мудрости святой!»
— «Что сделалось с тобой?»
— «Безделка!.. Проигрался!»

<1810>

ИСТИННЫЙ ПАТРИОТ

«О хлеб-соль русская! о прадед Филарет!
О милые останки,
Упрямство дедушки и ферези прабабки!
Без вас спасенья нет!
А вы, а вы забыты нами!» —
Вчера горланил Фирс с гостями
И, сидя у меня за лакомым столом,
В восторге пламенном, как истый витязь русский,
Съел соус, съел другой, а там сальмис французский,
А там шампанского хлебнул с бутылку он,
А там... подвинул стул и сел играть в бостон.

<1810>

СРАВНЕНИЕ

«Какое сходство Клит с Суворовым имел?»
— «Нималого!» — «Большое».
— «Помилуй! Клит был трус, от выстрела робел
И пекся об одном желудке и покое;
Великий вождь вставал с зарей для ратных дел,
А Клит спал часто по неделе».
— «Всё так! да умер он, как вождь сей... на постеле».

<1810>

ИЗ АНТОЛОГИИ

Сот меда с молоком —
И Маин сын тебе навеки благосклонен!
Алкид не так-то скромен:
Дай две ему овцы, дай ко́зу и с козлом;
Тогда он на овец прольет благословенье
И в снедь не даст волкам.
Храню к богам почтенье,
А стада не отдам
На жертвоприношенье.
По совести! Одна мне честь, —
Что волк его сожрал, что бог изволил съесть.

<1810>

К МАШЕ

О, радуйся, мой друг, прелестная Мария!
Ты прелестей полна, любови и ума,
С тобою грации, ты грация сама.
Пусть парки век прядут тебе часы златые!
Амур тебя благословил,
А я — как ангел говорил.

<1810>

НА ПЕРЕВОД «ГЕНРИАДЫ», ИЛИ ПРЕВРАЩЕНИЕ ВОЛЬТЕРА

«Что это! — говорил Плутон, —
Остановился Флегетон,
Мегера, фурии и Цербер онемели,
Внимая пенью твоему,
Певец бессмертный Габриели?
Умолкни! .. Но сему
Безбожнику в награду
Поищем страшных мук, ужасных даже аду,
Соделаем его
Гнуснее самого
Сизифа злова!»
Сказал и превратил — о ужас! — в Ослякова.

Начало 1810

‹П. А. ВЯЗЕМСКОМУ›

Льстец моей ленивой музы!
Ах, какие снова узы
На меня ты наложил?
Ты мою сонливу «Лету»
В Иордан преобратил
И, смеяся, мне, поэту,
Так кадилом накадил,
Что я в сладком упоеньи,
Позабыв стихотвореньи,
Задремал и видел сон:

Будто светлый Аполлон
И меня, шалун мой милый,
На́ берег реки унылой
Со стихами потащил
И *в забвеньи* потопил!

Конец декабря 1809 или начало 1810

СОВЕТ ЭПИЧЕСКОМУ СТИХОТВОРЦУ

Какое хочешь имя дай
Твоей поэме полудикой:
Петр длинный, Петр большой, но только Петр Великий —
Ее не называй.

1810 (?)

НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ Н. Н.

И телом и душой ты на Амура схожа:
Коварна и умна и столько же пригожа.

<1811>

‹НА ЧЛЕНОВ ВОЛЬНОГО ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ СЛОВЕСНОСТИ›

Гремит повсюду страшный гром,
Горами к небу вздуто море,
Стихии яростные в споре,
И тухнет *дальний солнцев дом,*
И звезды падают рядами.
Они покойны за столами,
Они покойны. Есть перо,
Бумага есть и — всё добро!
Не видят и не слышут
И всё пером гусиным пишут!

9 августа 1812

* * *

Всегдашний гость, мучитель мой,
О Балдус! долго ль мне зевать, дремать с тобой?
Будь крошечку умней или — дай жить в покое!
Когда жестокий рок сведет тебя со мной —
Я не один и нас не двое.

Между 1809 и 1812 (?)

НА ПОЭМЫ ПЕТРУ ВЕЛИКОМУ

Не странен ли судеб устав!
Певцы Петра — несчастья жертвы:
Наш Пиндар кончил жизнь, поэмы не скончав,
Другие живы все, но их поэмы мертвы!

1812 (?)

<ОБ А. И. ТУРГЕНЕВЕ>

Ему ли помнить нас
На шумной сцене света?
Он помнит лишь обеда час
И час великий комитета!

25 апреля 1814

НОВЫЙ РОД СМЕРТИ

За чашей пуншевой в политику с друзьями
Пустился Бавий наш, присяжный стихотвор.
Одомаратели все сделались судьями,
И каждый прокричал свой умный приговор,
Как ныне водится, Наполеону:
«Сорвем с него корону!»
— «Повесим!» — «Нет, сожжем!»
— «Нет, это жестоко... в Каэну отвезем
И медленным отравим ядом».

— «Очнется!» — «Как же быть?» — «Пускай истает
гладом!»
— «От жажды!..» — «Нет! — вскричал насмешливый
Филон. —
Нет! с большей лютостью дни изверга скончайте!
На Эльбе виршами до смерти зачитайте,
Ручаюсь: с двух стихов у вас зачахнет он!»

Между маем и октябрем 1814

* * *

Памфил забавен за столом,
Хоть часто и назло рассудку;
Веселостью обязан он желудку,
А памяти — умом.

<1815>

* * *

От стужи весь дрожу,
Хоть у камина я сижу.
Под шубою лежу
И на огонь гляжу,
Но всё как лист дрожу,
Подобен весь ежу,
Теплом я дорожу,
А в холоде брожу
И чуть стихами ржу.

Декабрь 1816 или январь 1817

НА КНИГУ ПОД НАЗВАНИЕМ «СМЕСЬ»

По чести, это *смесь*:
Тут проза и стихи, и авторская спесь.

<1817>

ЗАПРОС АРЗАМАСУ

Три Пушкина в Москве, и все они — поэты.
Я полагаю, все одни имеют леты.
Талантом, может быть, они и не равны,
Один другого больше пишет,
Один живет с женой, другой и без жены,
А третий об жене и весточки не слышит
(Последний — промеж нас я молвлю — страшный плут,
И прямо в ад ему дорога!), —
Но дело не о том: скажите, ради бога,
Которого из них *Бобрищевым* зовут?

4 марта 1817

<НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ П. А. ВЯЗЕМСКОГО>

Кто это, так насупя брови,
Сидит растрепанный и мрачный, как Федул?
О чудо! Это он!.. Но кто же? Наш Катулл,
Наш Вяземский, певец веселья и любови!

9 марта 1817

* * *

Меня преследует судьба,
Как будто я талант имею!
Она, известно вам, слепа;
Но я в глаза ей молвить смею:
«Оставь меня, я не поэт,
Я не ученый, не профессор;
Меня в календаре в числе счастливцев нет,
Я... отставной асессор!»

Первая половина марта 1817

* * *

На свет и на стихи
Он злобой адской дышит;
Но в свете копит он грехи
И вечно рифмы пишет...

Первая половина марта 1817

* * *

Числа, по совести, не знаю,
Здесь время сковано стоит,
И скука только говорит:
«Пора напиться чаю,
Пора вам кушать, спать пора,
Пора в санях кататься...»
«Пора вам с рифмами расстаться!» —
Рассудок мне твердит сегодня и вчера.

Первая половина марта 1817

ПОСЛАНИЕ

ОТ ПРАКТИЧЕСКОГО МУДРЕЦА МУДРЕЦУ АСТАФЬИЧЕСКОМУ С МУДРЕЦОМ ПУШКИНИЧЕСКИМ

Счастлив, кто в сердце носит рай,
Не изменяемый страстями!
Тому всегда блистает май
И не скудеет жизнь цветами!
Ты помнишь, как в плаще издранном Эпиктет
Не знал, что баромéтр пророчит непогоду,
Что изменяется кругом моральный свет
И Рим готов пожрать вселенныя свободу.
В трудах он закалив и плоть свои и дух,
От зноя не потел, на дождике был сух!
Я буду твердостью превыше Эпиктета.
В шинель терпенья облекусь
И к вам нечаянно явлюсь
С лучами первыми рассвета.

Да! Да! Увидишь ты меня перед крыльцом
С стоическим лицом.
Не станет дело за умом!
Я ум возьму в Сенеке,
Дар красноречия мне ссудит Соковнин,
Любезность светскую Ильин,
А философию я заказал. . . в аптеке!

Начало июля 1817

⟨П. А. ВЯЗЕМСКОМУ⟩

Я вижу тень Боброва:
Она передо мной,
Нагая, без покрова,
С заразой и с чумой;
Сугубым вздором дышит
И на скрижалях пишет
Бессмертные стихи,
Которые в мехи
Бог ветров собирает
И в воздух выпускает
На гибель для певцов;
Им дышит граф Хвостов,
Шихматов оным дышит,
И друг твой, если пишет
Без мыслей кучи слов.

1817 (?)

ИЗ ПИСЬМА К Н. А. ОЛЕНИНУ ОТ 11 МАЯ 1807 г.

Поклонитесь барыне и всему вашему семейству, Озерову, Капнисту, Крылову, Шаховскому. Напомните, что есть же один поэт,

которого судьбы премены
Заставили забыть источник Иппокрены,
Не лиру в руки брать, но саблю и ружье,
Не перушки чинить, но чистить лишь копье;
Заставили принять солдатский вид суровый,
Идтить, нахмурившись, прескучною дорогой,
Дорогой, где язык похож на крик зверей,
Дорогой грязною, что к горести моей
Не приведет меня во храм бессмертной славы,
А может быть, в корчму, стоящу близ ворот.

ИЗ ПИСЬМА К Н. И. ГНЕДИЧУ ОТ 4 АВГУСТА 1809 г.

Тебя и нимфы ждут, объятья простирая,
И фавны дикие, кроталами играя.
Придешь, и все к тебе навстречу прибегут
Из древ гамадриады,
Из рек обмытые наяды,
И даже сельский поп, сатир и пьяный плут.

А если не будешь, то всё переменит вид, всё заплачет, зарыдает:

Цветы завянут все, завоют рощи дики,
Слезами потекут кристальны ручейки,

И, резки испустив в болоте ближнем крики,
Прочь крылья навострят носасты кулики,
Печальны чибисы, умильны перепелки.
Не станут пастухи играть в свои свирелки,
Любовь и дружество — погибнет всё с тоски!

ИЗ ПИСЬМА К Н. И. ГНЕДИЧУ ОТ 1 НОЯБРЯ 1809 г.

Чтó Катенин нанизывает на конец строк? Я в его лета низал не рифмы, а что-то покрасивее, а ныне... пятьдесят мне било... а ныне, а ныне...

А ныне мне Эрот сказал:
«Бедняга, много ты писал
Без устали пером гусиным.
Смотри, завяло как оно!
Недолго притупить одно!
Вот, нá, пиши теперь *куриным*».

Пишу, да не пишет, а всё гнется.

Красавиц я певал довольно
И так, и сяк, на всякий лад,
Да ныне что-то невпопад.
Хочу запеть — ан петь уж больно.
«Что ты, голубчик, так охрип?»
К гортани мой язык прилип.

Вот мой ответ! Можно ли так состариться в 22 года? Непозволительно!

ИЗ ПИСЬМА К П. А. ВЯЗЕМСКОМУ ОТ 19 ДЕКАБРЯ 1811 г.

Прости и будь счастлив, здоров, весел... как В. Пушкин, когда он напишет хороший стих, а это с ним случается почти завсегда. Еще желаю,

Чтобы любовь и Гименей
Вам дали целый рой детей
Прелестных, резвых и пригожих,

Во всем на мать свою похожих
И на отца — чуть-чуть умом,
А с рожи — бог избавь! .. Ты сам согласен в том!

ИЗ ПИСЬМА К Д. П. СЕВЕРИНУ ОТ 19 ИЮНЯ 1814 г.

Он[1] отвечал мне на грубом английском языке, который в устах мореходцев еще грубее становится, и божественные стихи любовника Элеоноры без ответа исчезли в воздухе:

Быть может, их Фетида
Услышала на дне,
И, лотосом венчанны,
Станицы нереид
В серебряных пещерах
Склонили жадный слух
И сладостно вздохнули,
На урны преклонясь
Лилейною рукою;
Их перси взволновались
Под тонкой пеленой...
И море заструилось,
И волны поднялись! ..

...Итак, мой милый друг, я снова на берегах Швеции,

В земле туманов и дождей,
Где древле скандинавы
Любили честь, простые нравы,
Вино, войну и звук мечей.
От сих пещер и скал высоких,
Смеясь волнам морей глубоких,
Они на бренных челноках
Несли врагам и казнь и страх.

---

[1] Капитан, которому Батюшков на корабле прочитал по-итальянски отрывок из 24-й строфы 15-й песни «Освобожденного Иерусалима» Тассо. — *Ред.*

Здесь жертвы страшные свершалися Одену,
Здесь кровью пленников багрились алтари...
Но в нравах я нашел большую перемену:
Теперь полночные цари
Курят табак и гложут сухари,
Газету готскую читают
И, сидя под окном с супругами, зевают.

Эта земля не пленительна. Сладости Капуи иль Парижа здесь неизвестны. В ней нет ничего приятного, кроме живописных гор и воспоминаний.

ИЗ ПИСЬМА К П. А. ВЯЗЕМСКОМУ ОТ ФЕВРАЛЯ 1816 г.

Вчера поутру, читая «La Gaule poétique»,[1] я вздумал идти в атаку на Гаральда Смелого, то есть перевел стихов с двадцать, но так разгорячился, что нога заболела. Пар поэтический исчез, и я в моем герое нашел маленькую перемену. Когда читал подвиги скандинава,

То думал видеть в нем героя
В великолепном шишаке,
С булатной саблею в руке
И в латах древнего покроя.
Я думал: в пламенных очах
Сиять должно души спокойство,
В высокой поступи — геройство
И убежденье на устах.

Но, закрыв книгу, я увидел совершенно противное. Прекрасный идеал исчез,

и предо мной
Явился вдруг... чухна простой:
До плеч висящий волос
И грубый голос,
И весь герой — чухна чухной.

Этого мало преображения. Герой начал действовать: ходить, и есть, и пить. Кушал необыкновенно поэтическим образом:

---

[1] «Поэтическая Галлия» (франц.). — *Ред.*

Он начал драть ногтями
Кусок баранины сырой,
Глотал ее, как зверь лесной,
И утирался волосами.

Я не говорил ни слова. У всякого свой обычай. Гомеровы герои и наши калмыки то же делали на биваках. Но вот что меня вывело из терпения: перед чухонцем стоял череп убитого врага, окованный серебром, и бадья с вином. Представь себе, что он сделал!

Он череп ухватил кровавыми перстами,
Налил в него вина
И всё хлестнул до дна...
Не шевельнув устами.

Я проснулся и дал себе честное слово никогда не воспевать таких уродов и тебе не советую.

ИЗ ПИСЬМА К В. Л. ПУШКИНУ ОТ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ МАРТА 1817 г.

Письмо начинается благодарностию за дружество твое; оно у меня все в сердце —

И как, скажите, не любить
Того, кто нас любить умеет,
Для дружества лишь хочет жить
И языком богов до старости владеет!

ИЗ ПИСЬМА К А. Н. ОЛЕНИНУ ОТ 4 ИЮНЯ 1817 г.

...Наконец у нас президент в Академии художеств, президент,
который без педантства,
Без пузы барской и без чванства
Забот неся житейских груз
И должностей разнообразных бремя,
Еще находит время
В снегах отечества лелеять знобких муз;
Лишь для добра живет и дышит,
И к сим прибавьте чудесам,
Как Менгс — рисует сам,
Как Винкельман красноречивый — пишет.

ПРИМЕЧАНИЯ

Первым сборником стихотворений поэта явилась вторая часть «Опытов в стихах и прозе Константина Батюшкова» (СПб., 1817) (см. об этом издании во вступит. статье). Это собрание затем без изменений было перепечатано в «Сочинениях в прозе и стихах» Батюшкова (ч. 2, СПб., 1834) и «Сочинениях Батюшкова» (т. 2, СПб., 1850).[1] Замечательным для своего времени и в значительной мере сохранившим свою ценность до наших дней нужно считать собрание стихотворений поэта в «Сочинениях К. Н. Батюшкова», изданных П. Н. Батюшковым под редакцией Л. Н. Майкова, с примечаниями, составленными им же и В. И. Саитовым (т. 1, СПб., 1887). В это собрание, основанное на кропотливом изучении рукописей поэта и снабженное обширным комментарием, было впервые введено 33 стихотворения Батюшкова. В советское же время наиболее ценное издание стихотворений поэта было подготовлено Д. Д. Благим. В вышедшие под его редакцией «Сочинения» К. Н. Батюшкова (М. — Л., 1934) было впервые введено 11 стихотворений поэта. Д. Д. Благой заново пересмотрел рукописи и публикации произведений Батюшкова, исправив неточности, допущенные в майковском собрании. Позднее появилось несколько ценных изданий стихотворений поэта под редакцией Б. С. Мейлаха («Библиотека поэта», Большая серия, Л., 1941), Б. В. Томашевского («Библиотека поэта», Малая серия, 1-е изд., Л., 1936; 2-е изд., Л., 1948), Г. П. Макогоненко («Библиотека поэта», Малая серия, Л., 1959) и др. Почти исчерпывающе стихотворения Батюшкова представлены в книге его «Сочинений» под редакцией Н. В. Фридмана (М., 1955), где впервые напечатаны два стихотворения поэта.

В настоящий сборник входят все дошедшие до нас стихотворения Батюшкова. Два из них («От стужи весь дрожу. . .» и «У Волги-реченьки сидел. . .») впервые вводятся в собрание стихотворений поэта. В специальный раздел выделены мелкие сатирические и шуточные стихотворения Батюшкова, являющиеся для него, несомненно, побочным видом творчества. Характерно, что и сам поэт, за отдельными исключениями, не ввел в «Опыты» такого рода стихотворения (их он впоследствии хотел вообще изъять из предполагавшегося второго издания книги). В другой особый раздел вклю-

[1] В этих двух изданиях стихотворения Батюшкова были пополнены несколькими текстами, не вошедшими в «Опыты».

чены стихотворные тексты, не обладающие художественной цельностью, являющиеся неотъемлемой частью писем Батюшкова и непонятные без прозаического контекста. Внутри разделов стихотворения расположены в хронологической последовательности. Стихи поэта, написанные во время душевной болезни, приведены в примечаниях, на стр. 323—324.

Мы отказались от принятого в ряде изданий воспроизведения композиции 2-й части «Опытов в стихах и прозе» прежде всего потому, что Батюшков выработал только общую схему разбивки книги на отделы; внутри же каждого отдела стихи располагал Гнедич («Печатай ее как угодно», — писал Батюшков Гнедичу о книге[1]). Таким образом, композиция 2-й части «Опытов» была в значительной мере созданием Гнедича, а не Батюшкова.

Рукописное наследие Батюшкова невелико, так как поэт имел обыкновение уничтожать автографы. Из сохранившихся до нашего времени рукописей нет ни одной черновой.

Даты стихотворений уточнены по рукописям, публикациям, свидетельствам современников и различным данным жизни и творчества поэта. Даты, не позднее которых написано произведение, заключены в угловые скобки. Предположительные даты снабжены вопросительным знаком. Целый ряд датировок основан на составленном поэтом не позднее ноября 1810 г. списке его стихотворений под заглавием «Расписание моим сочинениям» (см. о датировке этого списка наше сообщение «Новые тексты К. Н. Батюшкова». — «Известия Академии наук СССР», отделение литературы и языка, 1955, т. 14, вып. 4, стр. 366). Этот список входит в неопубликованную записную книжку Батюшкова «Разные замечания» (Рукописный отдел Института русской литературы АН СССР). Составление списка было связано с тем, что уже в 1810 г. Батюшков задумал издать книгу своих стихотворений. Для этой цели он решил их перечислить и разбить на отделы. Приводим этот список, на который мы в дальнейшем неоднократно ссылаемся в примечаниях:

1. Иерусалима, песнь первая
2. Ibid <там же> — из десятой
3. Послание к Тассу
4. Мечта
5. Воспоминания
6. Видение на берегах Леты
7. Тибуллова Елегия X (из I книги)
8. Ibid — III из III книги
9. Послание к Гнедичу
10. К Петину

Анакреон <тика>:

11. Веселый час
12. Ложный страх
13. Привидение
14. Источник
15. Челнок <Любовь в челноке>
16. Счастливец
17. Элизий
18. Ответ Г<недичу>
19. К Хлое из деревни
20. К Ч — й
21. Желания
22. Из Метастазия
23. Семеновой
24 Семь грехов
25. Ода Лебрюна на старость

Басни:

26. Сон могольца

[1] Письмо к Н. И. Гнедичу от мая 1817 г. (Соч., т. 3. СПб., 1886, стр. 438).

27. Блестящий червяк
28. Книги и журналист
29. Орел и уж

Из Петрарка:

30. Вечер
31. На смерть Лауры

Смесь:

32. Эпиграммы
33. На смерть Пнина
34. В день рождения N
35. На смерть Хераскова
36. Урок красавице
37. Хлоин ответ
38. А. П. С<умарокову?> Приписание
39. Надпись к могиле пастушки
40. Басня. Лиса и пчелы
41. Песнь песней
42. Русский витязь
43. Отрывок из «Иснель и Аслеги»
44. Мадагаскарские песни

Этот список, между прочим, показывает, что до нас не дошел целый ряд стихотворных произведений Батюшкова: «К Ч — й», «Желания», «Семь грехов», «Ода Лебрюна на старость», «Блестящий червяк», «Орел и уж», «На смерть Хераскова», «Урок красавице», «Хлоин ответ», «А. П. С. Приписание», «Лиса и пчелы», «Песнь песней», «Русский витязь».

Стихотворения, появившиеся до болезни Батюшкова, за исключением очень немногих, специально оговоренных в примечаниях случаев, печатаются по последним авторским редакциям. Это или последние публикации стихотворений поэта до 1821 г., или тексты так называемой Блудовской тетради, дающей иногда более позднюю авторскую редакцию стихотворения. Учтены также все исправления, которые Батюшков внес в свой экземпляр 2-й части «Опытов» (он хранится в Рукописном отделе Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина). Стихотворения, появившиеся в печати после помешательства или смерти поэта, приводятся по рукописям или по авторитетным спискам, если их текст отличается от печатного. Стихотворения, как правило, имеют авторские заглавия. Все редакторские заглавия и прочие конъектуры заключены в угловые скобки. Фамилии адресатов, обозначенные в заголовках сокращенно — начальными буквами, — в настоящем издании приведены полностью. Если в примечании нет специального указания, по какому источнику печатается стихотворение, следует иметь в виду, что оно приводится по первой публикации.

Так как издание не является академическим, в него не входит полный свод вариантов стихотворений. Однако в примечания включены все варианты, значительные по объему (за исключением некоторых малоинтересных вариантов стихотворения «Мечта»), а также варианты-строчки, имеющие важный идейный и художественный смысл.

Условные сокращения, принятые в примечаниях

Б — Белинский В. Г. Полное собрание сочинений, тт. 1—13. М., 1953—1959

БТ — Блудовская тетрадь. Авторизованные списки стихотворений Батюшкова, переданные в 1815 г. Д. Н. Блудову (хранится в ГПБ)

ВЕ — «Вестник Европы»
ГПБ — Рукописный отдел Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина
Изд. 1834 — Сочинения в прозе и стихах, чч. 1—2. СПб., 1834
Изд. 1934 — Сочинения. М.—Л., 1934
Изд. 1948 — Стихотворения. Л., 1948
«Опыты» — «Опыты в стихах и прозе», ч. 2. СПб., 1817
П — Пушкин А. С. Полное собрание сочинений, тт. 1—16. М.—Л., 1937—1949
ПД — Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинского дома) АН СССР
ПРП — «Пантеон русской поэзии», чч. 1—3 (СПб., 1814); чч. 4—6 (СПб., 1815)
РА — «Русский архив»
РС — «Русская старина»
Соч., тт. 1—3 (первая нумерация 1-го тома обозначается после страницы буквой «п», вторая нумерация — буквой «в»). — К. Н. Батюшков. Сочинения, тт. 1—3. СПб., 1885—1887
ССП — «Собрание образцовых русских сочинений и переводов в стихах», чч. 1—3 (СПб., 1815); чч. 4—5 (СПб., 1816); ч. 6 (СПб., 1817).
СТ — Сборник, принадлежавший П. Н. Тиханову (рукопись), содержащий списки некоторых произведений Батюшкова (хранится в ГПБ)
ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства СССР
ЦГАОР — Центральный государственный архив Октябрьской революции

СТИХОТВОРЕНИЯ

Мечта (Первая редакция). Впервые — «Любитель словесности», 1806, № 9, стр. 216—219. Самое раннее из дошедших до нас стихотворений Батюшкова. Впоследствии поэт несколько раз перерабатывал его. См. примеч. к окончательной редакции «Мечты», вошедшей в «Опыты», на стр. 314—315. До нас дошли также два стиха Батюшкова, может быть еще более ранние, чем первая редакция «Мечты». В письме к Гнедичу от 1 апреля 1810 г. Батюшков приводил строки:

Для нас всё хорошо вдали,
Вблизи — всё скучно и постыло!

и прибавлял: «Вот два стиха, которые я написал в молодости, то есть в 15 лет» (Соч., т. 3, стр. 87). «Мечта» отмечена сильным влиянием лирики М. Н. Муравьева, в особенности его стихотворения «К музе», привлекавшего Батюшкова как воплощение «сладкой задумчивости» (Соч., т. 2, стр. 90—91). Финал «Мечты» почти

совпадает с характеристикой поэта из стихотворения Жуковского «К поэзии» (1804). *Сельмские леса* — леса, окружавшие дворец Фингала, героя поэм шотландского писателя Джемса Макферсона (1736—1796), изданных им под именем легендарного кельтского певца Оссиана. *Оскар* — сын Оссиана, погибший в сражении. *Кромла* — священная гора друидов, кельтских жрецов. *Анакреон* (ок. 570—478 до н. э.) — древнегреческий лирик, воспевавший чувственные радости, любовь и вино. *Сафо* (конец VII—VI в. до н. э.) — древнегреческая поэтесса, прославившаяся своей любовной лирикой. Квинт *Гораций* Флакк (65—8 до н. э.) — римский поэт. *Стоики* — греческие и римские философы, проповедовавшие аскетическое отречение от страстей и считавшие высшим благом душевное спокойствие. Осуждение стоиков было типично для карамзинистов, основывавших свою эстетику на культе чувства, а не разума. См. «Разговор о счастии» Карамзина (Сочинения, т. 3. СПб., 1848, стр. 484). *Ни свет, ни славы блеск пустой* — перефразировка строки из стихотворения М. Н. Муравьева «К музе», где мечта ставится выше, чем «света шумного весь блеск и пустота».

Послание к стихам моим. Впервые — «Новости русской литературы», 1805, № 1, стр. 61—64, с таким примечанием: «Сии стихи присланы к нам при следующих строках: «„C'est un méchant métier que celui de médire <Злословить — плохое ремесло>“, — сказал Боало и, несмотря на то, продолжал браниться с несчастным Котеном и с гармоническим Кинольтом. Знаю и я, что брань самое худое ремесло и что

Нет счастия тому, кто в оное вдается:
От брани завсегда лишь брань произведется.

Но легче знать пороки свои, нежели исправляться от них. В моей сатире нет личности: самолюбием играть опасно». Благодарим г. автора за сию пиесу и помещаем ее с особливым удовольствием. Издат.». В «Опыты» не вошло. В СТ, куда входит послание, к стихам 25—26 сделано примечание: «Безрифмин точно написал отрывок: „Мавзолей моего сердца“». К ст. 32 имеется следующее примечание: «Кругами утверждает. Всем известно, что остроумный автор Кругов бранил г. К<арамзи>на и пр. и советовал писать не по-русски». Эпиграф — из произведения Вольтера «Послание к королю Дании Христиану VII о свободе печати, дарованной в его государстве». *Стукодей* — герой сатирического стихотворения В. Л. Пушкина «Вечер» (1798), порицающий Карамзина за то, что он якобы сочиняет «безделки». *Плаксивин* — по-видимому, поэт-шишковист Е. И. Станевич (см. о нем примеч. к «Певцу в Беседе любителей русского слова», стр. 295), в сборнике которого «Сочинения в стихах и прозе» (1805) содержались сентиментальные жалобы на утрату друзей. *Безрифмин* — вероятно, Бобров Семен Сергеевич (1767—1810), поэт, близкий к шишковистам и часто писавший безрифменные стихи. Батюшков осмеивал Боброва на протяжении почти всего своего творческого пути. См. «Видение на

берегах Леты», эпиграмму «Как трудно Бибрису со славою ужиться...» и послание «П. А. Вяземскому» («Я вижу тень Боброва...»). *Глазунов* Иван Петрович (1762—1831) — книгопродавец, расхваливший в рекламном объявлении собрание стихотворений Боброва. В журнальном тексте фамилия Глазунова была обозначена: ***-в. *Глупон* — сторонник враждебного Батюшкову литературного лагеря архаистов, выступавшего против Карамзина и его школы. *Кругами утверждает.* В своем главном труде — «Рассуждении о старом и новом слоге российского языка» (1803) — Александр Семенович Шишков (1754—1841), реакционный государственный деятель и писатель, теоретик архаистов, ставший впоследствии главой их объединения — «Беседы любителей русского слова», сравнивал эволюцию смыслового значения слова с кругами, расходящимися по воде после падения в нее камня, и приводил соответствующий чертеж. *Кашемир* — Кашмир, княжество в Индии.

Элегия. Вольный перевод элегии французского поэта Эвариста де Форжа Парни (1753—1814) «Que le bonheur arrive lentement...». Впервые — «Северный вестник», 1805, № 3, стр. 338—339.

Послание к Хлое. Впервые — Соч., т. 1, стр. 10—12в, где дано по СТ. По предположению Л. Н. Майкова, подзаголовок «Подражание» указывает на родство послания с сатирическим стихотворением В. Л. Пушкина «Вечер», где «выводится ряд типов светского общества» (Соч., т. 1, стр. 306в). Действительно, у Батюшкова и у В. Л. Пушкина совпадают некоторые детали, например одинаково используется мотив внезапного появления светского хвастуна и сплетника (в «Послании к Хлое» — Брумербаса, в «Вечере» — Стукодея). *Брумербас* — герой известной сатирической сказки И. И. Дмитриева «Причудница», воин, рассказывающий небылицы.

Перевод 1-й сатиры Боало. Название оригинала — «Adieux d'un poète à la ville de Paris». Впервые — Соч., т. 1, стр. 19—23в, где дано по СТ. Батюшков очень далеко отошел от текста Буало, перенес место действия из Парижа в Москву и ввел образы, связанные с русским бытом, в частности образ светского карьериста Сплетнина. Резкое осмеяние барской Москвы в дальнейшем прозвучало у Батюшкова в сатирическом очерке «Прогулка по Москве» (Соч., т. 2, стр. 19—34), а слова героя сатиры, поэта Дамона, о том, что он хочет «бежать» из Москвы и «притаиться» «в тихом уголке», предвосхитили финал последнего монолога Чацкого из грибоедовского «Горя от ума» («Вон из Москвы!..» и т. д.). Батюшков в 1805 г. представил свой перевод сатиры Буало в «Вольное общество любителей словесности, наук и художеств», чтобы вступить в его члены (см. нашу статью «Батюшков и поэты-радищевцы». — «Доклады и сообщения филологического факультета Московского государственного университета», 1948, вып. 7, стр. 43). *Боало* — Буало Никола (1636—1711),

французский поэт и теоретик литературы, крупнейший представитель классицизма. *Диоген* (ок. 404—323 до н. э.) — древнегреческий философ, отказавшийся от жизненных удобств и, по преданию, живший в бочке. *Железный век* — популярный образ из поэмы древнегреческого поэта Гезиода (VIII—VII вв. до н. э.) «Труды и дни», символизирующий падение нравов и культуры. Он использован Батюшковым и в «Видении на берегах Леты». *Меценат* (между 74 и 64 — 8 до н. э.) — римский государственный деятель, имя которого стало обозначать покровителя искусств и наук; Меценат часто удерживал императора *Августа* от смертных приговоров. *Илья гремит над нашими главами.* Речь идет о библейском пророке Илье, который, согласно преданию, ездил по небу на огненной колеснице и мог вызывать грозу.

К Филисе. Впервые — Соч., т. 1. стр. 14—18в, где дано по СТ. Стихотворение написано редко встречающимся у Батюшкова белым стихом, обращение к которому могло быть подсказано богатырской сказкой Карамзина «Илья Муромец» (1794). Оно отчасти навеяно известным стихотворением французского поэта и драматурга Жана Батиста Грессе (1709—1777) «La Chartreuse», с которым послание Батюшкова перекликается, впрочем, только в отдельных стихах. *Крез* (VI в. до н. э.) — лидийский царь, обладавший, по преданию, огромным богатством; имя его стало нарицательным обозначением богача. *Нас смешит и научает вдруг.* Это определение целей комедии дано по эпистоле «О стихотворстве» Сумарокова. Ср. строки эпистолы:

Свойство́ комедии — издевкой править нрав.
Смешить и пользовать — прямой ее устав.

Вольность, вольность — дар святых небес. Этот стих, очевидно, перефразирует первую строку радищевской оды «Вольность» («О! дар небес благословенный»).

Бог. Впервые — Соч., т. 1, стр. 5—6в, где дано по списку, принадлежавшему П. Н. Тиханову (ГПБ). Подражание духовным одам Державина «Бог» и «Величество божие». *Сияют класы там златые на полях* — перефразировка стиха из ломоносовской оды Елизавете Петровне 1747 г.: «И класы на полях желтеют».

К Мальвине. Впервые — «Северный вестник», 1805, № 11, стр. 167—168, под заглавием «Стихи к М. (С итальянского)», с эпиграфом: «Amica! tu sei la rosa della primavera» <«Подруга! ты вешняя роза»>. Печ. по «Собранию русских стихотворений», ч. 2. СПб., 1810, стр. 196. В «Опыты» не вошло. Итальянский подлинник неизвестен. *Анакреон* — см. стр. 263

Послание к Н. И. Гнедичу. Впервые — «Цветник», 1809, № 5, стр. 184—192. В «Опыты» не вошло. Как свидетельствует

письмо Батюшкова к Гнедичу от декабря 1809 г., послание в рукописи имело эпиграф из стихотворного письма Парни к своему брату от сентября 1785 г.: «Le ciel, qui voulait mon bonheur,|| Avait mis au fond de mon cœur || La paresse et l'insouciance...» <«Небо, пожелавшее, чтобы я был счастлив, вложило в глубину моего сердца леность и беспечность»> (Соч., т. 3, стр. 64—65). *Гнедич* Николай Иванович (1784—1833) — поэт, близкий друг Батюшкова. *Что делаешь, мой друг, в полтавских ты степях.* В 1805 г. Гнедич ездил на Украину. *Фингалов певец* — Оссиан (см. о нем стр. 263). *Цитерские узы* — узы любви; Цитера (Кифера) — один из Ионийских островов, на котором в Древней Греции господствовал культ Афродиты и находилось ее святилище. *Алкей* (VII—VI вв. до н. э.) — древнегреческий поэт, писавший высоким стилем свои торжественные оды. *Рифмин* — имеется в виду поэт, профессор истории и литературы Алексей Федорович Мерзляков (1778—1830), сторонник классицизма, подражавший античным одописцам, переводчик Алкея и Вергилия. В стихах Рифмина Батюшков дает пародию на классицистический стиль с преувеличенной экспрессивностью его синтаксиса и многочисленными обращениями и восклицаниями. *Лечу на Пинд!.. Простите, что упал.* Отголосок богатырской сказки Карамзина «Илья Муромец», где сатирически изображается, как творцы од «лезут на вершину Пиндову, обступаются и вниз летят». *Пиндар* (VI—V вв. до н. э.) — древнегреческий поэт, стиль которого отличается торжественностью и громозвучностью. *Доволен я мечтами, В покойном уголке тихонько притаясь* — вероятно, перефразированные строки из сатиры Кантемира «На хулящих учение» (1729), в которых прославляется доля того, «кто в тихом своем углу молчалив таится». *Пальмира* — пышный и богатый «город пальм», воздвигнутый, по библейскому преданию, царем Соломоном. *Муфтий* — судья, представитель высшего мусульманского духовенства. *Армидины сады* — сады волшебницы Армиды, героини поэмы итальянского поэта Торквато Тассо (1544—1595) «Освобожденный Иерусалим». *Друиды* — кельтские жрецы. *Мальвина* — героиня поэм Оссиана. *Омир* — Гомер, легендарный автор древнегреческих эпических поэм «Илиада» и «Одиссея».

<На смерть И. П. Пнина>. Впервые — «Северный вестник», 1805, № 9, стр. 345—346, с заглавием «На смерть его же» (перед стихотворением Батюшкова были напечатаны стихотворения С. Н. Глинки и Н. А. Радищева, также посвященные смерти Пнина). В «Опыты» не вошло. Эпиграф — из стихотворения Вольтера «Смерть Лекуврер, знаменитой актрисы». *Пнин* Иван Петрович (1773—1805) — публицист и поэт, ученик и последователь Радищева, президент «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств», куда в молодости входил Батюшков. *Пером от злой судьбы невинность защищал.* Пнин, являвшийся побочным сыном князя Н. В. Репнина, представил Александру I записку «Вопль невинности, отвергаемой законом», где говорил о необходимости улучшить положение незаконнорожденных.

Совет друзьям. Впервые — «Лицей», 1806, ч. 1, кн. 1, стр. 11—13. В «Опыты» не вошло. Первая редакция стихотворения «Веселый час» (см. стр. 105—107), имеющая самостоятельное художественное значение. Эпиграф — из стихотворения французской поэтессы Генриетты Мюра (1670—1716).

К Гнедичу («Только дружба обещает...»). Впервые — сб. «Талия», СПб., 1807, стр. 55—56, под заглавием «Послание к Г** чу». Печ. по «Опытам», стр. 75—76. В «Талии» стихотворение завершается следующей строфой:

Нет, болтаючи с друзьями,
Славы я не соберу;
Чуть не весь ли и с стихами
Вопреки тебе умру.

Она является ответом на не дошедшее до нас суждение Гнедича, предсказывавшего Батюшкову громкую литературную славу.

<Н. И. Гнедичу> («По чести, мудрено в санях или верхом...»). Впервые — PC, 1870, т. 1, № 1, стр. 68. Входит в письмо Батюшкова к Гнедичу из Риги от 19 марта 1807 г.

Пастух и соловей. Впервые — «Драматический вестник», 1808, ч. 3, стр. 145—146. В «Опыты» не вошло. *Озеров* Владислав Александрович (1769—1816) — драматург, соединивший в своих произведениях элементы классицизма с характерным для предромантиков изображением внутреннего мира человека и подвергшийся нападкам со стороны приверженцев Шишкова. Батюшков, сравнивая участь Торквато Тассо и Озерова — двух писателей, лишившихся рассудка под влиянием гонений, — в статье «Петрарка» (1815) писал: «И в наши времена русская Мельпомена оплакивает еще своего любимца, столь ужасно отторженного от Парнаса, от всего человечества!» (Соч., т. 2, стр. 165). Басня Батюшкова стала известной Озерову, и он писал о ней А. Н. Оленину 23 ноября 1808 г.: «Прелестную его басню почитаю истинно драгоценным венком моих трудов» (РА, 1869, № 1, стлб. 137). *Творец «Димитрия»* — имеется в виду В. А. Озеров, автор трагедии «Дмитрий Донской» (поставлена в 1807 г.). Эта трагедия особенно нравилась Батюшкову, так как в ней ярко проявились патриотические настроения, вызванные военными действиями против Наполеона. Участвовавший в них Батюшков писал Гнедичу во время похода в Восточную Пруссию: «Вчера, читая газеты, увидел, что «Димитрий» уже в продаже. Нельзя ли прикомандировать Донского на Вислу...» (Соч., т. 3, стр. 11). *Эврипид* — Еврипид (480—406 до н. э.), древнегреческий драматург.

Выздоровление. Впервые — «Опыты», стр. 33—34. В 1807 г. Батюшков, раненный в битве под Гейльсбергом, был перевезен для лечения в Ригу и влюбился там в ухаживавшую за ним дочь

купца Мюгеля, в доме которого он жил. Этот биографический эпизод и отразился в стихотворении, представляющем, по определению Пушкина, «одну из лучших элегий» Батюшкова (П, т. 12, стр. 260).

Сон могольца. Вольный перевод басни французского поэта Жана Лафонтена (1621—1695) «Le songe d'un habitant du Mogol». Впервые — «Драматический вестник», 1808, ч. 5, стр. 78—80, под заглавием «Сон могольца, аполог из Лафонтена». С исправлениями — ВЕ, 1810, № 4, стр. 286—287; ПРП, ч. 5, стр. 239—241. Печ. по «Опытам», стр. 186—188. Лафонтен заимствовал сюжет своей басни из «Гюлистана» Саади, а ее концовка была подсказана «Георгиками» Вергилия. Батюшков не любил этого своего перевода и настоятельно советовал издателю «Опытов» Гнедичу «выкинуть» его из подготовляемой к печати книги (Соч., т. 3, стр. 421 и 457), чего Гнедич все-таки не сделал. Во второе издание «Опытов», которое Батюшков подготовлял в 1819—1821 гг., басня не должна была войти. Незадолго до появления перевода Батюшкова, в 1806 г., перевод той же басни Лафонтена под тем же заглавием сделал Жуковский (ВЕ, 1807, № 7, стр. 192—194), выдвинувший в нем на первый план чисто мистические мотивы. *Моголец* — житель мусульманской империи, основанной в Индии в XVI в. *Намет* — шатер.

<Н. И. Гнедичу> («Прерву теперь молчанья узы...»). Впервые — неисправно — Соч., т. 3, стр. 17—18. Входит в письмо Батюшкова к Гнедичу от 1 июля 1808 г. Автограф — ГПБ. Печ. по изд. 1934, стр. 558, где дано исправление ряда ошибок, сделанных в майковском издании, и даты письма. Написано во время похода в Финляндию. *Цевница* — свирель.

К Тассу. Впервые — «Драматический вестник», 1808, ч. 6, стр. 62—79. В «Опыты» не вошло, хотя Батюшков сначала был удовлетворен своим произведением и писал Гнедичу 7 августа 1808 г. во время похода в Финляндию: «Послание «К Тассу» тебе понравится» (Соч., т. 3, стр. 18). Интерес к личности и творчеству Тассо впервые внушил Батюшкову, по-видимому, его двоюродный дядя и воспитатель, поэт М. Н. Муравьев (1757—1807), ставивший Тассо «подле Гомера и Вергилия» (см.: М. Н. Муравьев. Сочинения, т. 1. СПб., 1847, стр. 149). В июне 1814 г. Батюшков написал стихи, прославляющие пленительность поэзии Тассо (см. стр. 254), а к 1815 г. относится статья его «Ариост и Тасс», где он дает довольно подробную характеристику «великого стихотворца» Тассо и его поэмы (Соч., т. 2, стр. 149—158). Послание рисует гонения, которым подвергся Тассо при дворе феррарского герцога Альфонса II, преследовавшего поэта и продержавшего его семь лет в заточении и в сумасшедшем доме, а также включает описание его кончины, предваряющее более позднюю элегию Батюшкова «Умирающий Тасс». Батюшков хотел напечатать свое стихотворение в качестве вступления к переводу поэмы Тассо «Освобожденный Иеру-

салим» (см. первое примеч. Батюшкова к тексту стихотворения) и послал его Гнедичу вместе с переводом отрывка из ее первой песни (см. указанное письмо Батюшкова к Гнедичу). *Авзонская муза* — итальянская муза. *Аретуза* — название ряда источников, восходящее к греческому мифу о нимфе, превращенной в бьющий из земли ключ. *Омир* — Гомер. *Река забвения* — Лета (греч. миф.). *Асканий* — герой поэмы «Энеида» римского писателя Вергилия (70—19 до н. э.); ребенком он был вынесен своим отцом Энеем на руках из горящей Трои. *«Аминта»* — пасторальная драма Тассо (1573). *Феррара* — итальянский город, в котором жил Тассо при дворе герцога Альфонса II. *Назонова лира* — лира римского поэта Публия Овидия Назона (43 до н. э. — 17 н. э.). *Огромный бог морей* — Посейдон (греч. миф).) *Армида, Ринальд, Танкред, Клоринда* — герои поэмы Тассо «Освобожденный Иерусалим» (закончена в 1575). *Заразы* — очарования. *Капитолий* — цитадель древнего Рима, один из холмов, на которых располагался город. *Троя* — древний город в Малой Азии; осада и взятие Трои изображены в «Илиаде» Гомера. *Скамандр* — река в Трое. *Лики* — хоры. *Вертепы* — ущелья, пропасти.

<Отрывок из I песни «Освобожденного Иерусалима»>. Вольный перевод 32—41-й октав первой песни поэмы Тассо. Впервые — «Драматический вестник», 1808, ч. 6, стр. 68—72, вслед за посланием «К Тассу», без заглавия и с примечанием: «Может быть, охотники до стихов с снисхождением прочитают опыт перевода некоторых октав из бессмертной Тассовой поэмы. Если не найдут высоких пиитических мыслей, красоты выражений, плавности стихов, то вина переводчика: подлинник бессмертен» (примечание, конечно, принадлежало самому Батюшкову, так как, если бы его дал издатель, это было бы совершенно бестактным по отношению к автору перевода). В «Опыты» не вошло. Батюшков начал переводить «Освобожденный Иерусалим» во время финляндского похода в 1808 г. по совету В. В. Капниста (см. Соч., т. 1, стр. 74п) и перевел всю первую песню в конце ноября 1809 г. (Соч., т. 3, стр. 62); от этого большого перевода сохранился только один печатаемый отрывок, который, по словам поэта, заключал в себе «трудные места для перевода» (письмо к Гнедичу от 7 августа 1808 г. — Соч., т. 3, стр. 18). Батюшков хотел сначала перевести всю поэму Тассо, но отказался от своего намерения, так как считал, что это не даст ему ни материальной обеспеченности, ни литературной славы (см. его письма к Гнедичу от конца 1809 г. — Соч., т. 3, стр. 62 и 64), и напечатал только данный отрывок — из XVIII песни — и переведенный прозой отрывок из II песни под заглавием «Олинд и Софрония» (ВЕ, 1817, № 17—18, стр. 3—17). Переводы Батюшкова из «Освобожденного Иерусалима» пользовались популярностью. Так, в 1823 г. их читали В. А. Каратыгин и Я. Г. Брянский на одном из литературных вечеров, чем был крайне недоволен противник школы Батюшкова и Жуковского, поэт и драматург П. А. Катенин (см.: «Письма П. А. Катенина к Н. И. Бахтину». СПб., 1911, стр. 36). Друзья Батюшкова сетовали на то, что он не осуществил свой замысел перевести «Освобожден-

ный Иерусалим» полностью. В 1817 г. Капнист писал в послании, обращенном к Батюшкову:

И тщетно ждем мы: лира Тасса
И звука уж не издает.

Ср. слова Гнедича из его письма к Батюшкову, от 2 сентября 1810 г.: «Все, кто читал перевод твой, ругают тебя достойно за то, что ты хочешь кинуть» (ПД). В «Отрывке из I песни „Освобожденного Иерусалима"» изображено войско крестоносцев и избрание в вожди Готфрида Бульонского. Батюшков сохраняет разделение поэмы на восьмистишия, но отказывается от формы октавы, так как он вообще не любил этой формы и в статье «Ариост и Тасс» даже называл ее «теснейшими узами стихотворства» (Соч., т. 2, стр. 151). *Повеждь* — поведай, расскажи. *Галлы* — в данном случае: французы. *Хоругвь трех лилий* — знамя французской королевской фамилии с изображением лилий. *Иль-де-Франс* — старинная французская провинция, буквально: «остров Франции»; его образуют несколько французских рек (Сена, Марна и др.). *Орангия* — Оранж, княжество во Франции; с XI в. по XVI в. имело своих князей. *Пуйские стены* — Апулийские стены (Апулия — область Италии). *Из дома Эстского* — из рода феррарских герцогов Эсте; к нему принадлежал Альфонс II, придворным поэтом которого был Тассо. *Каринтия* — древнее герцогство, находившееся на территории будущей Австрийской империи. *Свев* — швед.

<Отрывок из XVIII песни «Освобожденного Иерусалима»>. Перевод 12—34 октав XVIII песни поэмы Тассо. Впервые — «Цветник», 1809, № 6, стр. 342—356, с ошибочным заглавием «Отрывок из X песни...». В «Опыты» не вошло. В отрывке изображено сражение рыцаря Ринальда с великаном в очарованном лесу волшебницы Армиды, стремящейся погубить крестоносцев. В переводе Батюшков не только отказывается от всякого строфического деления, но и, далеко отходя от подлинника, значительно усиливает любовно-эротические мотивы, в частности самостоятельно создает яркий портрет прекрасной волшебницы Армиды. *Гора Оливова* — гора Елеон в Иерусалиме. *Вертепы* — см. стр. 269. *Котурны* — обувь античных трагических актеров на толстой подошве и высоких каблуках. *Цитра* — струнный инструмент. *Рамена* — плечи.

Воспоминание. Впервые — ВЕ, 1809, № 21, стр. 28—31, под заглавием «Воспоминания 1807 года» (88 стихов). С изменениями и прибавлением нового текста — «Собрание русских стихотворений», ч. 5. М., 1811, стр. 272—275 (101 стих), и ПРП, ч. 1, стр. 225—230 (103 стиха). Печ. по «Опытам», стр. 27—29, где даны первые 43 стиха по тексту двух предыдущих публикаций, но опущена вся остальная часть стихотворения, посвященная любви поэта к дочери купца Мюгеля Эмилии (см. примеч. к стих. «Выздоровле-

ние», стр. 267). Приводим эту часть по изд. 1934, где дан текст БТ, состоящий из 102 стихов:

Семейство мирное, ужель тебя забуду
И дружбе и любви неблагодарен буду?
Ах, мне ли позабыть гостеприимный кров,
В сени домашних где богов
Усердный эскулап божественной наукой
Исторг из-под косы и дивно исцелил
Меня, борющегось уже с смертельной мукой!
Ужели я тебя, красавица, забыл,
Тебя, которую я зрел перед собою
Как утешителя, как ангела небес!
На ложе горести и слез
Ты, Геба юная, лилейною рукою
Сосуд мне подала: «Пей здравье и любовь!»
Тогда, казалося, сама природа вновь
Со мною воскресала
И новой зеленью венчала
Долины, холмы и леса.
Я помню утро то, как слабою рукою,
Склонясь на костыли, поддержанный тобою,
Я в первый раз узрел цветы и древеса...
Какое счастие с весной воспрянуть ясной!
(В глазах любви еще прелестнее весна).
Я, восхищен природой красной,
Сказал Эмилии: «Ты видишь, как она,
Расторгнув зимний мрак, с весною оживает,
С ручьем шумит в лугах и с розой расцветает;
Что б было без весны?.. Подобно так и я
На утре дней моих увял бы без тебя!»
Тут, грудь ее кропя горячими слезами,
Соединив уста с устами,
Всю чашу радости мы выпили до дна.

Увы, исчезло всё, как прелесть сладка сна!
Куда девалися восторги, лобызанья
И вы, таинственны во тьме ночной свиданья,
Где, заключа ее в объятиях моих,
Я не завидовал судьбе богов самих!..
Теперь я, с нею разлученный,
Считаю скукой дни, цепь горестей влачу;
Воспоминания, лишь вами окрыленный,
К ней мыслию лечу,
И в час полуночи туманной,
Мечтой очарованный,
Я слышу в ветерке, принесшем на крылах
Цветов благоуханье,
Эмилии дыханье;
Я вижу в облаках

Ее, текущую воздушною стезею...
Раскинуты власы красавицы волною
В небесной синеве,
Венок из белых роз блистает на главе,
И перси дышат под покровом...
«Души моей супруг! —
Мне шепчет горний дух. —
Там в тереме готовом
За светлою Двиной
Увижуся с тобой!..
Теперь прости...» И я, обманутый мечтой,
В восторге сладостном к ней руки простираю,
Касаюсь риз ее... и тень лишь обнимаю!

Мы не вводим вторую часть стихотворения в основной текст, так как Батюшков опустил ее в «Опытах» по художественным, а не личным соображениям. Предположение о том, что поэт не хотел говорить в печати о своей любви, неосновательно, так как он уже опубликовал продолжение стихотворения до появления «Опытов». Пушкин отметил широкую популярность «Воспоминания», сказав в примечании к своему лицейскому посланию «К Батюшкову» (1814): «Кому неизвестны «Воспоминания на 1807 год»?» *Гейльсбергски поля* — местность в Восточной Пруссии, где произошло сражение русских с французами. Во время этого сражения Батюшков был тяжело ранен в ногу. *Аль* — река в Восточной Пруссии. *Куща* — здесь: палатка.

Стихи г. Семеновой. Впервые — «Цветник», 1809, № 9, стр. 409—412. В «Опыты» не вошло. Эпиграф — из V песни «Освобожденного Иерусалима» Тассо. Батюшков писал о нем Гнедичу: «Италиянский эпиграф очень приличен к Семеновой; это один из лучших стихов Тассовых...» (Соч., т. 3, стр. 44). Место написания, выставленное под стихотворением, не соответствует действительности, так как 6 сентября 1809 г. Батюшков находился не в Ярославле, а в своем имении Хантонове, где он и закончил в этот день письмо к Гнедичу, при котором было послано стихотворение (Соч., т. 3, стр. 41—45). *Семенова* Екатерина Семеновна (1786—1849) — знаменитая русская трагическая актриса, с особенным блеском исполнявшая роли в пьесах Озерова. Посылая стихотворение Гнедичу, Батюшков писал о ней: «Если она скромна, как Корреджиева дева, то и тут не отказалась бы от этой похвалы... Надеюсь, что Семенова поблагодарит хоть словом своей руки; я тем более на это имею право, что с ней незнаком» (Соч., т. 3, стр. 42). *Антигона* — героиня трагедии Озерова «Эдип в Афинах» (1804). *Несчастный слепец* — отец Антигоны, царь Эдип. *Моина* — героиня трагедии Озерова «Фингал» (1805). *Ксения* — героиня трагедии Озерова «Димитрий Донской» (1807).

Видение на берегах Леты. Впервые — сборник «Русская беседа», т. 1, СПб., 1841, стр. 1—10 (особ. нумер.), со следующим примечанием его издателей: «Шуточное это произведение при-

надлежит ко времени юности знаменитого поэта. Список его сохранился у одного из литераторов, и мы решились напечатать его: оно любопытно, как по отношениям, так и по неподдельному юмору. Русские музы редко шутят, хотя по старинному присловию: «смеяться не грешно над всем, что кажется смешно». Надобно только, чтоб шутка была безгрешна». Сочиненное не позднее октября 1809 г., «Видение» вскоре стало распространяться в большом количестве списков в Петербурге, а потом в Москве, так как Гнедич, которому Батюшков послал стихотворение в Петербург, уже в ноябре 1809 г. не только прочитал его А. Н. Оленину, но и разрешил последнему снять с него копию (Соч., т. 3, стр. 58 и 59). «Здесь оно из рук в руки ходит, а всё из Питера, ибо я никому не дал», — писал Батюшков Гнедичу из Москвы 1 апреля 1810 г. (Соч., т. 3, стр. 86). Письмо Батюшкова к Гнедичу от 3 января 1810 г. показывает, что он сам желал, чтобы его друг ознакомил с «Видением» петербургские литературные круги (см.: «Отчет Публичной библиотеки за 1895 г.». СПб., 1898, Приложение, стр. 12). В 1814 г. или в начале 1815 г. «Видение» было внесено в БТ, по тексту которой напечатано в изд. 1934, стр. 173—181; этот текст дается и в нашем издании. В списке «Видения», принадлежавшем К. Я. Гроту (ПД), стихи 63—65 имеют выразительный зачеркнутый вариант:

Подземны воды справедливы —
Дурное мигом поглотят,
А для прямых Парнаса чад
Созреют вечности оливы.

В некоторых списках «Видения» есть эпиграф, представляющий собой несколько переиначенные стихи из IX сатиры Буало: «Ma muse sage et discrète sait de l'homme d'honneur distinguer le poète» <«Моя муза, благоразумная и скромная, умеет отделять поэта от порядочного человека»>. Батюшков старательно исправлял и дополнял «Видение» (Соч., т. 3, стр. 59 и 61) и даже «нарочно» сжег все черновики, «чтоб после прочитать на свежий ум и переправить» (Соч., т. 3, стр. 70). В письмах к Гнедичу Батюшков сначала довольно пренебрежительно отзывался о своем произведении: «Этакие стихи слишком легко писать, и чести большой не приносят» (Соч., т. 3, стр. 55), но затем стал подчеркивать оригинальность «Видения» и утверждать, что оно дойдет до потомства — в отличие от произведений писателей-шишковистов. «Произведение довольно оригинальное, ибо ни на что не похоже», — писал он Гнедичу (Соч., т. 3, стр. 61), а в другом письме к нему замечал, говоря о своей «Лете»: «Я скажу тебе мое мнение: она останется; переживет «Петриаду» Сладковского и «лирики» Шихматова, не так, как какая-нибудь вещь совершенная, но как творение оригинальное и забавное, как творение, в котором человек, не смотря ни на какие личности, отдал справедливость таланту и вздору» (Соч., т. 3, стр. 86). Признавая, что в «Видении» «иным больно досталось» (Соч., т. 3, стр. 35), Батюшков все же относил его скорее к области юмора, чем сатиры. «Я мог бы

написать все гораздо *злее,* в роде Шаховского. Но убоялся, ибо тогда не было бы смешно», — говорил он в письме к Гнедичу (Соч., т. 3, стр. 61). Батюшков заявлял (вероятно, не очень серьезно) о своем желании издать «Видение» с иллюстрациями. «Желал бы очень напечатать в лицах это все маранье: для рисовщика карикатур — пространное поле», — писал он А. Н. Оленину (Соч., т. 3, стр. 59). Но вместе с тем, опасаясь литературного скандала, он начал упрекать Гнедича в том, что тот рассказал А. Н. Оленину, кто автор «Видения», с тревогой спрашивал друга, бранят ли его в Петербурге, и справлялся о том, не читал ли «Видение» Шишков (Соч., т. 3, стр. 60, 61 и 62). Шишковисты действительно были оскорблены «Видением» и крайне рассержены на его автора. Это дошло до Батюшкова и произвело на него тягостное впечатление. «У вас на меня гроза», — писал Батюшков Гнедичу из Москвы в Петербург 23 марта 1810 г., сообщая, что на него, по слухам, «более еще вооружится» Державин и что он, «убитый духом и обстоятельствами», «решился оставить все и уехать в чужие краи» (Соч., т. 3, стр. 82). В другом письме к Гнедичу, от 1 апреля 1810 г., Батюшков признавался: «Даже до того дошло, что несколько ночей не спал, размышляя, что-де я наделал» (Соч., т. 3, стр. 85). В 1817 г. Гнедич предложил Батюшкову напечатать «Видение» в «Опытах», очевидно надеясь на то, что это повысит интерес к изданию и принесет автору материальные выгоды, но Батюшков категорически отказался от этого, заявляя, что он не хочет обидеть некоторых осмеянных в «Видении» литераторов: «„Лету“ ни за миллион не напечатаю; в этом стою неколебимо, пока у меня будет совесть, рассудок и сердце. Глинка умирает с голоду; Мерзляков мне приятель или то, что мы зовем приятелем; Шаликов в нужде; Языков питается пылью, а ты хочешь, чтобы я их дурачил перед светом. Нет, лучше умереть! Лишняя тысяча меня не обогатит» (Соч., т. 3, стр. 389). Образы «Видения» были широко использованы арзамасцами. Так, Д. П. Северин в шуточной речи советовал вступающему в общество М. Ф. Орлову не трогать мертвых «халдеев» (то есть шишковистов) и говорил о живых: «Но есть другие, которых купать вам предоставляется. Будьте для них неумолимою Летою» («„Арзамас“ и арзамасские протоколы». Л., 1933, стр. 213). См. также о приготовленной для «Арзамаса» речи Н. И. Тургенева, где отразились образы «Видения», во вступ. статье, стр. 39. Пушкин знал и любил «Видение» еще в юности и внес его в свою лицейскую тетрадь с потаенными стихами. В послании «Городок» (1815) Пушкин писал о Батюшкове и его «Видении», занявшем почетное место в этой тетради:

И ты, насмешник смелый,
В ней место получил,
Чей в аде стих веселый
Поэтов раздражил,
Как в юношески леты
В волнах туманной Леты
Их гуртом потопил...

Бобров — см. примеч. к «Посланию к стихам моим», стр. 263—264. В списке «Видения», опубликованном в «Русской беседе», Бобров назван Бобрисом, то есть Бибрисом, как и в ряде других произведений Батюшкова; см. примеч. к эпиграмме «Как трудно Бибрису со славою ужиться!», стр. 325. *Шлафрок* — халат. *Фебовы дети* — поэты. *Херасков* Михаил Матвеевич (1733—1807) — поэт, видный представитель классицизма, автор героической поэмы «Россияда» (вышла в 1779 г.). Хотя Батюшков в «Видении» хвалебно отзывался об этом поэте, в неопубликованной записной книжке он утверждал, что Хераскова «читать трудно» (ПД), в письме называл его «водяным Гомером» (Соч., т. 3, стр. 150), а о «Россияде» говорил: «Я не знаю скучнее и холоднее поэмы» (Соч., т. 2, стр. 312). *Сумароков* Александр Петрович (1718—1777) — поэт и драматург классицистической школы, которого Батюшков ценил не только как сатирика, но и как одного из родоначальников так называемой «легкой поэзии» в России (Соч., т. 2, стр. 241). *Княжнин* Яков Борисович (1742—1791) — драматург, представитель классицизма. Батюшков высоко ценил его вольнолюбивую трагедию «Вадим Новгородский», изданную в 1793 г. и сожженную по решению Сената (Соч., т. 2, стр. 204). *Певец прелестныя мечты* — Богданович Ипполит Федорович (1743—1803), автор поэмы «Душенька», в которой он использовал древнегреческий миф об Амуре и Психее; Батюшков очень любил эту поэму. *Отец стихов «Тилемахиды»* — Тредиаковский Василий Кириллович (1703—1769), поэт классицистической школы, автор поэмы «Тилемахида» (1766). Хотя Батюшков в «Видении» ввел Тредиаковского в число певцов, увенчанных «бессмертия лучами», это была не более чем ирония. Подобно многим современникам, Батюшков считал Тредиаковского совершенно бездарным писателем и в «Певце в Беседе любителей русского слова» изобразил его как предшественника шишковистов. В том же «Видении» (ст. 77) он назвал его поэтом, «проклятым от Парнаса» (в некоторых списках «Видения» к этому определению было сделано примечание: «Тредиаковский»). *Барков* Иван Семенович или Степанович (1732—1768) — автор непристойных, порнографических произведений. *Хемницер* Иван Иванович (1745—1784) — русский баснописец. *Что буря в долах разнесла.* Ссылка в примеч. к этому стиху на «Энеиду» связана с тем, что в шестой песне поэмы Вергилия герой, спустившийся в ад, видит на берегах подземной реки толпу встревоженных теней. *Верзляков* — Мерзляков А. Ф. (см. примеч. к «Посланию к Н. И. Гнедичу», стр. 266); Батюшков называет его «маленькой тенью», имея в виду низкий рост Мерзлякова, а в дальнейшем приводит цитату из его стихотворения «Тень Кукова на острове Овги-ги» (1805), о чем говорится в примечании к ст. 100. В строках об Эроте Батюшков осмеивает поэму Мерзлякова «Амур в первые минуты его разлуки с Душенькою» (ВЕ, 1809, № 17). В примечании к некоторым спискам «Видения», относящимся к этим строкам, о Мерзлякове говорится: «Амур в стихах его на сорока страницах плачет». Как видно из письма Батюшкова к Гнедичу от 1 апреля 1810 г., Мерзляков не обиделся на то, что Батюшков в «Видении» нарисовал на него карикатуру,

и тон его в разговорах с последним «нимало не переменился» (Соч., т. 3, стр. 86). *Фолиант* — том. *Писать... всё прозой, без еров.* Речь идет о писателе Дмитрии Ивановиче Языкове (1773—1845), отказавшемся от употребления твердых знаков. *Но тут явились лица новы Из белокаменной Москвы* и т. д. Здесь говорится об эпигонах Карамзина, издававших в Москве журналы сентиментального направления, на страницах которых появлялись такие произведения, как «Мавзолей моего сердца», «Журнал моих идей» и т. п. *Воспел в стихах... для женщин милых...* «Милым женщинам» посвящали и адресовали многие свои произведения поэты-сентименталисты. *Тупей* — прическа со взбитым хохлом. *Поэт присяжный, князь вралей* — князь Петр Иванович Шаликов (1768—1852), поэт, эпигон Карамзина; см. примеч. к стихотворению «Князю П. И. Шаликову», стр. 316. *Я русский и поэт* — Глинка Сергей Николаевич (1775—1847), драматург и журналист, издатель «Русского вестника», в котором Батюшков впоследствии печатался. Батюшков иронически сравнивает Глинку с французским писателем и философом Жан-Жаком Руссо (1712—1778), имея в виду его любовь к творчеству последнего, с французским драматургом Расином (1639—1699), имея в виду трагедии Глинки, с английским поэтом Юнгом (1681—1765), имея в виду его перевод «Ночей» этого автора, с английским философом Локком (1632—1704), имея в виду его статью, где говорилось о воспитании в духе идей Локка. Батюшков утверждал, что в «Видении» Глинка «списан с натуры» (Соч., т. 3, стр. 59). В письме к Гнедичу от 1 ноября 1809 г. он снова осмеял аффектированность патриотизма Глинки, повторяющего в «Видении» слово «русский» семь раз: «Глинка называет «Вестник» свой «Русским», как будто пишет в Китае для миссионеров или пекинского архимандрита» (Соч., т. 3, стр. 58). *Сафо* — см. стр. 263. В письме к А. Н. Оленину от 23 ноября 1809 г. (Соч., т. 3, стр. 59) Батюшков объяснял, что здесь речь идет об Елизавете Ивановне Титовой (1770—1846), авторе драмы «Густав Ваза, или Торжествующая невинность», поэтессе Анне Петровне Буниной (1774—1828), произведения которой нравились шишковистам, и Марии Евграфовне Извековой (1794—1830), писавшей посредственные романы и стихотворения. Батюшков тут же рассказывал, что «падение в реку» этих писательниц его самого «до слез» насмешило. Бунина иронически сравнивалась с древнегреческой поэтессой и в «Мадригале новой Сафе», который был сочинен Батюшковым как раз в пору работы над «Видением». *Виноносный гений* — сильно пивший поэт С. С. Бобров. Далее Батюшков дает блестящую пародию на высокий стиль Боброва, отличавшийся обилием мифологических и космических образов. Об этом эпизоде «Видения» Батюшков писал Гнедичу: «Бобров, верно, тебя рассмешит» (Соч., т. 3, стр. 55). *Глазунов* — см. стр. 264. *Они Пожарского поют.* Здесь имеется в виду поэт-шишковист Сергей Александрович Ширинский-Шихматов (1783—1837), напечатавший в 1807 г. драму «Пожарский, Минин, Гермоген, или Спасенная Россия»; ср. примеч. к эпиграмме «Совет эпическому стихотворцу», стр. 327. *Курганов* Николай Гаврилович (1726—1796) — автор известного «Письмов-

ника», где была дана грамматика русского языка и словарь, в котором предлагалось заменять иностранные слова русскими. Батюшков в этом месте «Видения» подчеркивает, что позиции Курганова в «Письмовнике» повлияли на Шишкова, давшего в своем «Рассуждении о старом и новом слоге российского языка» словарь с подобными заменами. *Зело* — весьма, очень. *Славенофил* — А. С. Шишков; см. о нем примеч. к «Посланию к стихам моим», стр. 264. В одном из списков «Видения» Шишков не спасался от вод Леты, а только «Отсрочку получил в награду» как бы для своего исправления (вариант ст. 261). А в некоторых списках «Видения» между ст. 261 и 262 был еще один: «Поставлен с Тредьяковским к ряду». Таким образом, «спасение» Шишкова по существу аннулировалось (см. изд. 1934, стр. 537). *Певец любовныя езды* — Тредиаковский, издавший в 1730 г. перевод романа французского писателя Поля Тальмана (1642—1712) «Езда в остров Любви», появившегося в 1663 г. «*Деидамия*» — трагедия Тредиаковского (1750). *Я — вам знакомый, я — Крылов.* В примечании к этому стиху Батюшков говорит о сатирическом журнале И. А. Крылова «Почта духов», издававшемся в 1789 г. в форме переписки духов с арабским волшебником Маликульмульком. Крылов интересовал Батюшкова и как сложный, оригинальный человек. 1 ноября 1809 г. Батюшков писал Гнедичу: «Крылов родился чудаком. Но этот человек загадка, и великая! ..» (Соч., т. 3, стр. 53). Именно как «чудак» Крылов и был изображен в «Видении», законченном незадолго до отправления этого письма; ср. характеристику Крылова в «Послании к А. И. Тургеневу», стр. 235.

<О Бенитцком>. Впервые — РС, 1871, т. 3, № 2, стр. 226. Входит в письмо Батюшкова к Гнедичу, конченное и посланное 1 ноября 1809 г. (так как стихи находятся в середине письма, они, по-видимому, сочинены в последних числах октября). *Бенитцкий* (Беницкий) Александр Петрович (1780—1809) — поэт, прозаик, критик и журналист, член «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств», рано умерший от чахотки. В 1809 г. вместе с А. Е. Измайловым издавал журнал «Цветник», в котором печатался Батюшков. Четверостишие Батюшкова сочинено за месяц до смерти Бенитцкого, последовавшей 30 ноября 1809 г.; в письме оно следует за словами: «Продлите ему, боги, веку! Но он уже успел написать много хорошего. . .» Батюшков высоко ценил остросатирическое дарование и «редкий, светлый ум» Бенитцкого (Соч., т. 3, стр. 43 и 87). В некоторых стихах Бенитцкого звучала тема наслаждения радостями жизни, роднящая их с поэзией Батюшкова («Песнь Вакху», 1805; «Возвращение Бахуса из Индии», 1809, и др.).

Тибуллова элегия III. Вольный перевод элегии «Quid, prodest coelum votis implesse, Neaera. . .» (из кн. III). Впервые — ВЕ, 1809, № 23, стр. 198—199. Печ. по «Опытам», стр. 43—45, с учетом правки стихов 22, 27, 28 и 32, сделанной Батюшковым при подго-

товке нового издания книги. Исправив элегию, Батюшков затем вовсе исключил ее из плана этого издания. Ст. 22 в ВЕ: «И волны Тирские, багрянцем напоенны». Ст. 28 имел след. вид: «Тот кров соломенный под крышей золотой», а ст. 32: «Утешит ли тогда Тибулла пышный град?» Элегия, переведенная Батюшковым, на самом деле только приписывалась римскому поэту Тибуллу (ок. 50—19 до н .э.), как и вся кн. III, но выдержана в духе его творчества и, вероятно, была написана каким-то поэтом, входившим в его литературное окружение. Батюшков недостаточно знал латинский язык, поэтому, переводя Тибулла, он пользовался не только подлинником, но и французскими переводами элегий римского поэта. Батюшков заинтересовался творчеством Тибулла, по-видимому, в 1809 г.: «Я теперь перевожу от скуки Тибулла в стихи. . .» — писал он Гнедичу 19 сентября 1809 г. (см. Соч., т. 3, стр. 48). Иногда Батюшков прямо сближал свое творчество с лирикой римского поэта, называя себя «маленьким Тибуллом» (Соч., т. 3, стр. 260). В печатаемую элегию псевдо-Тибулла Батюшков ввел целый ряд образов из элегий, действительно принадлежащих Тибуллу, и расширил и углубил в ней намеченный в подлиннике мотив силы любовного чувства. *Делия* — возлюбленная Тибулла. *Тенер* (Тенар) и *Карист* — места, где добывался порфир в Древней Греции. *Эритрские жемчужины* — жемчужины Эритрейского моря (древнее название Персидского залива в Аравийском море). *Руны тирские, багрянцем напоенны* — овечья шерсть, пропитанная красной краской; Тир — центр древней Финикии, славившийся товарами роскоши, в частности выделкой овечьей шерсти. *Пактол* — золотоносная речка в Малой Азии.

Послание графу Виельгорскому. Впервые — ПРП, ч. 4, стр. 193—195, под заглавием «Графу В. . .». Печ. по «Опытам», стр. 138—141. *Граф Виельгорский* (Велеурский, как его называл в письмах Батюшков согласно польскому произношению фамилии) Михаил Юрьевич (1788—1856) — композитор и музыкальный деятель. Батюшков познакомился с Виельгорским в Риге в 1807 г., о чем он вспоминает в своем послании. Впоследствии, по всей вероятности в 1811 г., Виельгорский сочинил романс на слова Батюшкова, до нас не дошедший (Соч., т. 3, стр. 155).

«Пафоса бог, Эрот прекрасный. . .». Впервые — «Отчет Публичной библиотеки за 1906 г.», СПб., 1913, стр. 63, где приведено по автографу ГПБ, с подписью «Константин Б.» и карандашным рисунком поэта, изображающим Эрота с бабочкой. Внизу рисунка написано рукой неизвестного лица: «Нарисовал и написал Конс. Никол. Батюшков в 1809 г.».

Веселый час. Впервые — ВЕ, 1810, № 4, стр. 280—285, с подзаголовком: «Посвящено друзьям». Печ. по «Опытам», стр. 59—63. Ст. 14 в ВЕ: «Чашу радостей допить», а ст. 27: «Душу мы с душой сольем». Подготовляя новое издание «Опытов», Ба-

тюшков хотел исключить из него это стихотворение, первой редакцией которого является «Совет друзьям» (см. стр. 74). Возможно, что название подсказано стихотворением Карамзина «Веселый час» (1791), где также описана дружеская пирушка.

Ответ Гнедичу. Впервые — ВЕ, 1810, № 3, стр. 186—187, вслед за стихотворением Гнедича «К Б<атюшкову>», написанным еще в 1807 г. Печ. по «Опытам», стр. 146—147. Батюшков лично передал эти стихотворения Жуковскому для напечатания в ВЕ, «кой-где оба поправив» (Соч., т. 3, стр. 73). Написано после возвращения Батюшкова из военного похода в Финляндию. По поводу начала стихотворения, где Батюшков в сентиментальном духе предлагал Гнедичу «с рукою сердце», Пушкин иронически заметил на полях «Опытов»: «Б<атюшков> женится на Г<недич>е!» (П, т. 12, стр. 275). *Слепая богиня* — Фортуна (греч. миф.), часто изображавшаяся в виде слепой женщины. *Сабинский домик* — домик римского поэта Горация, жившего в имении, которое находилось в Сабинской области Италии. *Брашны* — кушанья. *А дни мечтой позолотим* — выражение, подсказанное стихотворением В. В. Капниста «В память береста»: «Мечтами не все ль златятся наши дни?»

Тибуллова элегия X. Вольный перевод элегии «Quis fuit, horrendos primus qui protulit enses?» (из кн. I). Впервые — ВЕ, 1810, № 8, стр. 277—280. Печ. по «Опытам», стр. 52—58, с исправлением ошибочного заглавия «Тибуллова элегия XI». В переводе Батюшков устранил из элегии описание побоев жены пьяным оратаем и усилил в ней эротические мотивы. В мае 1810 г. Батюшков писал Гнедичу об этой элегии: «Понравилась ли она тебе? Обращение к пенатам, кажется, хорошо» (Соч., т. 3, стр. 93). Пушкин заметил, сравнивая редакцию ст. 48 в «Опытах» с первоначальной (в ВЕ): «Было прежде: чаш пролитых вином — точнее» (П, т. 12, стр. 262). *Скудельный* — глиняный. *Пепелище* — дом или земля отцов. *Опресноки* — пресный хлеб. *Кошница* — корзина. *Овен* — баран. *Адский пес* — Цербер (греч. миф.). *Кормчий в челноке* — Харон (греч. миф.), перевозчик, переправлявший души умерших через реку в подземное царство. *Оратай* — пахарь.

В день рождения N. Впервые — ВЕ, 1810, № 10, стр. 126. С изменениями — «Собрание русских стихотворений», ч. 5. М., 1811, стр. 217. Печ. по «Опытам», стр. 64. Адресат стихотворения неизвестен. На полях «Опытов» Пушкин написал против этого стихотворения: «Есть чувство» (П, т. 12, стр. 263).

Ложный страх. Перевод элегии Парни «La frayeur». Впервые — ВЕ, 1810, № 11, стр. 213—214. С изменениями — «Собрание русских стихотворений», ч. 5. М., 1811, стр. 318—319. Печ. по «Опытам», стр. 183—185. *И амуры на часах* — цитата из стихотворения М. Н. Муравьева «Богине Невы», что и отметил Пушкин в своих

заметках на полях «Опытов» (П, т. 12, стр. 277). Отсюда взято и фигурирующее в нем имя Хлоя, отсутствующее в элегии Парни.

Надпись на гробе пастушки. Впервые — ВЕ, 1810, № 14, стр. 125, с заглавием «Надпись над гробом молодой пастушки» и подзаголовком-пояснением: «Этот гроб находился на лугу, на котором собирались плясать пастухи и пастушки». Печ. по «Опытам», стр. 206, с учетом правки ст. 7, сделанной Батюшковым при подготовке нового издания книги. Исправив надпись, Батюшков затем вовсе исключил ее из плана этого издания. Надпись была использована в опере П. И. Чайковского «Пиковая дама». *Аркадия* — область в Греции, воспетая древними поэтами в качестве идеальной страны мирного счастья. Как указал Б. В. Томашевский, слова *«И я... жила в Аркадии»* связаны с картиной французского художника Никола Пуссена (1594—1665) «Аркадские пастухи» (1636), на которой изображено надгробие, окруженное пастухами, с надписью: «И я (жил) в Аркадии» (см. изд. 1948, стр. 302). Батюшков хорошо знал произведения Пуссена и упоминал его как выдающегося живописца в очерке 1814 г. «Прогулка в Академию художеств» (Соч., т. 2, стр. 106), а также в очерке 1815 г. «Воспоминания мест сражений и путешествий» (Соч., т. 2, стр. 187). Тема безвременной смерти красавицы всегда волновала Батюшкова. В мае 1811 г. он писал в неопубликованной записной книжке «Разные замечания» о «девице, которая завяла на утре жизни своей» (ПД). См. также «На смерть Лауры», «Стихи на смерть Даниловой...», «На смерть супруги Ф. Ф. Кокошкина» и 4-е подражание древним («Когда в страдании девица отойдет...»).

Счастливец. Вольный перевод стихотворения итальянского поэта Джованни Баттиста Касти (1724—1803) «A Fille. L'avverte acciò non giudici secondo le apparenze...». Впервые — ВЕ, 1810, № 17, стр. 52—53, с подзаголовком: «Подражание Касти „Odi le rapide ruote sonanti“» («Слушай грохот быстрых колес»). С исправлениями — «Собрание русских стихотворений», ч. 5. СПб., 1811, стр. 159—161. Печ. по «Опытам», стр. 192—195, без подзаголовка, который был вычеркнут Батюшковым при подготовке нового издания книги. В ВЕ и в «Собрании русских стихотворений» после ст. 40 находится следующая строфа:

Сердцем спит и нем душою,
Тратит жизнь на суеты,
Днем не ведает покою,
Ночью — страшныя мечты!

С произведениями Касти Батюшков познакомился, может быть, через своего друга И. М. Муравьева-Апостола, который лично общался с Касти, когда жил в Париже (Соч., т. 2, стр. 412). В переводе Батюшков усилил сатирическое звучание анакреонтической оды Касти и ввел в нее совершенно новые мотивы и образы (например, образ пыли, которую «смиренно обметал» «у крылец» де-

лающий себе карьеру временщик). В строфе 12 образ крокодила, лежащего на дне, который символизирует темные глубины человеческой души, взят из повести французского писателя Шатобриана «Атала», появившейся в 1801 г. Этот образ в интерпретации Батюшкова спародировал поэт и журналист А. Ф. Воейков в своей сатире «Дом сумасшедших» (1814), где были выведены русские писатели начала XIX в. Батюшкова это только рассмешило (см. Соч., т. 3, стр. 345—346), и впоследствии он ввел шатобриановский образ в шестое стихотворение из цикла «Подражания древним». *Парос* — греческий остров, место добычи мрамора. *Крез* — см. стр. 265.

На смерть Лауры. Вольный перевод стихотворения из цикла «Сонеты и канцоны на смерть Лауры» итальянского поэта Франческо *Петрарки* (1305—1375). Впервые — ВЕ, 1810, № 17, стр. 54. В «Опыты» не вошло. В 1815 г. Батюшков написал статью «Петрарка», где, между прочим, пытался определить историко-литературное место Петрарки как предшественника Тассо и указывал на «целые стихи Петрарки» в «Освобожденном Иерусалиме» (Соч., т. 2, стр. 172). Работая над переводом, Батюшков отказался от формы сонета, заменив ее четырехстишиями, и ввёл в произведение собственные образы. *Колонна гордая! о лавр вечнозеленый! Ты пал!* — игра слов: колонна — Колонна (Colonna), друг и покровитель Петрарки, убитый в 1347 г., и лавр (lauro) — Лаура (Laura), возлюбленная Петрарки, умершая в 1348 г. *Инд* — житель Индии.

Вечер. Впервые — ВЕ, 1810, № 21, стр. 37—39. В «Опыты» не вошло. Печ. по изд. 1934, стр. 232—233, где дан текст БТ. Подражание (с вольным переводом некоторых стихов) 4-й канцоне «Nella stagion, che' l ciel rapido inchina...») из цикла «Сонеты и канцоны, писанные при жизни Лауры» Петрарки. *Оратай* — пахарь. *Брашно* — кушанье. *Пажить* — пастбище.

«Рыдайте, амуры и нежные грации...». Впервые — «Известия Академии наук СССР», Отделение литературы и языка, 1955, т. 14, вып. 4, стр. 364, по автографу, находящемуся в записной книжке поэта «Разные замечания» (ПД). Так как все записи в этой книжке сделаны в мае — ноябре 1810 г. (см. наше сообщение «Новые тексты К. Н. Батюшкова» в указ. выпуске «Известий Академии наук СССР», стр. 366), данное стихотворение было сочинено не позднее ноября 1810 г. Оно является переводом итальянского стихотворения «Piangete o grazie, piangete amori...», текст которого также находится в записной книжке поэта. Автор подлинника не установлен. Возможно, это поэт и драматург-либреттист Пьетро Метастазио (1698—1782), так как стихотворение помещено в записной книжке среди выписок из сочинений этого писателя, а в находящемся в ней списке поэтических произведений Батюшкова (см. стр. 260) есть заглавие «Из Метастазия».

Элизий. Впервые — изд. 1834, ч. 2, стр. 75—76, под заглавием «Отрывок из элегии», с примечанием: «Начало сей пиесы не отыскано». На самом деле стихотворение представляет собой законченное художественное целое. В списке поэтических произведений Батюшкова из его записной книжки (см. стр. 260) есть заглавие «Элизий»; можно с уверенностью сказать, что оно относится именно к данному произведению, где говорится о переходе в Элизий поэта и его возлюбленной. Так как это и два следующих произведения Батюшкова («Мадагаскарская песня» и «Любовь в челноке») входят в список поэтических произведений Батюшкова, составленный не позднее ноября 1810 г., все они сочинены не позднее этого времени. *Долу* — внизу.

Мадагаскарская песня. Вольный перевод одной из «Мадегасских песен» Парни («Il est doux de se coucher durant la chaleur...»), написанных в прозе (песня 8). Впервые — ВЕ, 1811, № 3, стр. 177. В «Опыты» не вошло. Эти песни были подражанием фольклору мадагаскарцев, имевшим мало общего с подлинными народными песнями, за которые выдавал их Парни. Список поэтических произведений Батюшкова из его записной книжки, включающий заголовок «Мадагаскарские песни», показывает, что Батюшков переводил и другие произведения этого цикла Парни.

Любовь в челноке. Впервые — ПРП, ч. 4, стр. 186—188. Вошло в «Опыты». *Знать, малютка... страшный бог!* — Амур, изображавшийся в виде крылатого мальчика.

Привидение. Вольный перевод элегии Парни «Le revenant». Впервые — ВЕ, 1810, № 6, стр. 108—110. В середине февраля 1810 г. Батюшков писал Гнедичу, подчеркивая творческую самостоятельность своей элегии: «Посылаю тебе, мой друг, маленькую пьеску, которую взял у Парни, то есть завоевал. Идея оригинальная. Кажется, переводом не испортил...» (Соч., т. 3, стр. 78). Пушкин на полях «Опытов» охарактеризовал стихи 31—34 элегии словом «прелесть» (П, т. 12, стр. 261). *Внезапу* — внезапно.

Стихи на смерть Даниловой, танцовщицы С.-Петербургского императорского театра. Впервые — ВЕ, 1810, № 7, стр. 189. В «Опыты» не вошло. *Данилова* — сценический псевдоним Марии Перфильевой (1793—1810), известной русской балерины, отличавшейся необыкновенной красотой; она была ученицей Дидло, в балете которого «Амур и Психея» имела огромный успех. Вместе с ней в этом балете участвовал французский танцовщик Луи Дюпор; из-за несчастной любви к нему юная балерина умерла 8 января 1810 г. Помета Батюшкова под стихотворением «С.-Петербург» определяет место смерти Даниловой, а не сочинения произведения, так как всю первую половину 1810 г. поэт провел в Москве. Стихи на смерть Даниловой написал и Гнедич (ВЕ, 1810, № 10, стр. 126—127). Батюшков находил, что они «прекрасны», и лично их отредактировал (см. Соч., т. 3, стр. 93). *Душень-*

ка — героиня поэмы И. Ф. Богдановича «Душенька»; в поэме Венера мстила героине за ее красоту, видя в ней соперницу.

К Петину. Впервые — «Опыты», стр. 157—159. Подготовляя новое издание «Опытов», Батюшков хотел исключить из него это послание. В сборнике А. Н. Афанасьева (уже Л. Н. Майков не знал, где он находится; его описание дано в «Библиографических записках», 1861, № 20, стр. 633—643), а также в сборнике П. А. Ефремова (ПД) и в тетради, по-видимому принадлежавшей А. И. Тургеневу (ПД), имеется вариант ст. 50: «Вопреки святым отцам», очень характерный для антицерковных настроений молодого Батюшкова. В БТ послание имеет варианты, придающие ему более непринужденный и даже грубоватый оттенок — ст. 16: «Фрунт стаканов осаждал»; ст. 43: «Пил с беспечными друзьями». *Петин* Иван Александрович (1789—1813) — близкий друг Батюшкова, офицер, поэт-дилетант, погибший в битве под Лейпцигом. Батюшков познакомился с Петиным в 1807 г. во время похода в Восточную Пруссию. В 1808—1809 гг. он проделал вместе с ним финляндский поход, а затем и заграничный поход русской армии 1813 г. Смерть двадцатичетырехлетнего Петина глубоко потрясла Батюшкова, он хлопотал о том, чтобы на могиле павшего друга в Лейпциге был поставлен памятник, и в ряде своих произведений с задушевным лиризмом нарисовал его образ (см. элегию «Тень друга» и прозаические очерки 1815 г.: «Воспоминание мест сражений и путешествий» и «Воспоминание о Петине» — Соч., т. 2, стр. 186—189 и 190—202). *Индесальми* — селение в Финляндии; там в ночь на 29 октября 1808 г. происходило сражение русских со шведами, во время которого отличился Петин, а Батюшков был в резерве. *Цитерская сторона* — любовь.

Источник. Впервые — ВЕ, 1810, № 17, стр. 55—56, с подзаголовком «Персидская идиллия». С изменениями — «Собрание русских стихотворений», ч. 5. М., 1811, стр. 246—247, с подзаголовком «Персианская идиллия», и «Карманная библиотека Аонид, собранная из лучших писателей нашего времени... Иваном Георгиевским», СПб., 1821, стр. 153. Печ. по «Опытам», стр. 81—83. Вольная обработка идиллии в прозе Парни «Le torrent. Idylle persane». Вопреки французскому оригиналу, Батюшков ввел мотив губительной силы времени («Время погубит и прелесть и младость!..»). Стихотворение было послано Батюшковым Жуковскому при письме от 26 июля 1810 г. Прося Жуковского «кой-что поправить» в стихотворении, Батюшков заметил, что выражение «я к тебе прикасался» взято из Тибулла, и просил его не изменять (Соч., т. 3, стр. 99). Л. Н. Майков указал на источник этого выражения — VI элегию I книги Тибулла (Соч., т. 1, стр. 342 в).

Отъезд. Впервые — «Опыты», стр. 200. Было вырезано из напечатанной книги и осталось только в отдельных экземплярах. Л. Н. Майков предполагает, что стихотворение связано с намерением поэта в первой половине 1810 г. «проехать» из Москвы в Пе-

тербург (Соч., т. 1, стр. 339 в; см. письмо Батюшкова к сестре от 19 февраля 1810 г., — Соч., т. 3, стр. 80). *Горстка фимиама* — выражение из стихотворения В. В. Капниста «Ломоносов». *Марс высокий, в битвах смелый* — в данном случае: военный. *Селадон* — герой появившегося в 1609—1617 гг. пастушеского романа французского писателя Оноре д'Юрфе (1568—1625) «Астрея»; имя Селадона стало впоследствии обозначать слезливого, томящегося любовника. *Труды затейливой Арахны* — паутина.

Радость. Вольный перевод стихотворения Касти «Il contento». Впервые — «Опыты», стр. 196—198. Печ. без подзаголовка «Подражание Касти», который Батюшков зачеркнул при подготовке нового издания книги. *Касти* — см. стр. 280. Пушкин отметил музыкальность этого стихотворения, написав на полях «Опытов»: «Вот Бат<юшковск>ая гармония» (П, т. 12, стр. 279). *Лира тиискская* — лира Анакреона (см. стр. 263), уроженца города Теоса.

Сон воинов. Вольный перевод отрывка из 3-й песни поэмы Парни «Isnel et Aslégа». Впервые — ВЕ, 1811, № 3, стр. 178—180, под заглавием «Сон ратников». Печ. по «Опытам», стр. 177—179. Из нового издания «Опытов» Батюшков хотел это стихотворение исключить. В ВЕ после заглавия были следующие пояснительные строки: «Сражение кончилось. Скандинавцы учреждают пиршество. Пылают дубы, и чаша радости ходит кругом». Кроме того, стихотворение имело такое продолжение:

Все спят у тлеющих костров,
Все спят; один Эрик несчастный
Поет, и в мраке гул ужасный
От скал горам передает:

«Сижу на бреге шумных вод,
Всё спит кругом; лишь воют рощи,
И Гелы тень во мгле ревет:
Не страшны мне призрáки нощи,
Мой меч скользит по влаге вод!

Сижу на бреге ярых вод.
Страшися, враг, беги стрелою!
Ни меч, ни щит уж не спасет
Тебя с восставшею зарею...
Мой меч скользит по влаге вод!

Сижу на бреге ярых вод.
Мне ревность сердце раздирает:
Супруга, бойся! День придет,
И меч отмщенья заблистает!..
Но он скользит по влаге вод.

Сижу на бреге шумных вод.
Всё спит кругом; лишь воют рощи,

Лишь Гелы тень во мгле ревет:
Не страшны мне призра́ки нощи,
Мой меч скользит по влаге вод!

Батюшков сделал свой перевод со второго издания поэмы Парни, напечатанного в 1808 г. и значительно отличавшегося от ее первого издания, которое вышло в 1802 г. По поводу этого перевода возникла ожесточенная полемика между Батюшковым и Гнедичем, отрицательно относившимся к поэзии Парни, не соответствовавшей его взглядам на искусство, которое, по его мнению, должно было быть посвящено «важным» предметам. Батюшков, со своей стороны, утверждал, что «поэма Парни прекрасна», и указывал на оригинальность и художественность своего перевода. «Кажется, перевод мой не хуже подлинника», — писал он Гнедичу (Соч., т. 3, стр. 113—114), а в другом письме к нему говорил о переводе: «Эти стихи написаны очень хорошо, сильно ..., *они меня достойны*» (Соч., т. 3, стр. 117). Оба поэта остались на своих позициях. *Вои* — воины. *Рамена* — плечи.

Скальд. Впервые — «Известия Академии наук СССР», Отделение литературы и языка, 1955, т. 14, вып. 4, стр. 364—365, по автографу ПД. Стихотворение представляет собой очень вольную обработку начала первой песни поэмы Парни «Иснель и Аслега». Превращая отрывок в самостоятельное художественное произведение, Батюшков исключает находящиеся в начале первой песни слова о героях поэмы Иснеле и Аслеге и заменяет их упоминанием о других героях оссиановского цикла (Оскаре и Элое). По всей вероятности, это произведение относится к тому периоду, когда Батюшков работал над «Сном воинов». Так как бумага, на которой написано стихотворение, имеет водяной знак 1809 г., датируем его между 1809 и 1811 гг.

На смерть супруги Ф. Ф. Кокошкина. Впервые — ССП, ч. 1, стр. 138—139. С исправлением ст. 7 — ПРП, ч. 6, стр. 62—63, где имеет заглавие: «К Ф. Ф. Кокошкину (на смерть его супруги)». Печ. по «Опытам», стр. 84—85. Эпиграф — из 10-го сонета Петрарки на смерть Лауры. *Супруга Ф. Ф. Кокошкина* — рано умершая Варвара Ивановна Кокошкина, урожденная Архарова (1786—1811), жена знакомого Батюшкова, поэта-дилетанта, переводчика и театрального деятеля Федора Федоровича Кокошкина (1773—1838). *Тисы* — вечнозеленые хвойные деревья и кустарники.

<Н. И. Гнедичу> («Сей старец, что всегда летает...»). Впервые — РС, 1883, т. 38, № 5, стр. 345. Стихи находятся в письме Батюшкова к Гнедичу от 27 ноября — 5 декабря 1811 г. Написаны по поводу именин Гнедича (Соч., т. 3, стр. 163). К последнему стиху, заключающему пожелания «любви и счастья», Батюшков прибавил: «Вот мое желание: оно одинаково и в прозе, и в стихах» (там же, стр. 164).

<Отрывок из XXXIV песни «Неистового Орланда»>. Перевод из поэмы Лодовико Ариосто (1474—1553) «L'Orlando Furioso». Впервые — PC, 1883, т. 38, № 5, стр. 338. Стихи находятся в письме Батюшкова к Гнедичу от 29 декабря 1811 г. Здесь Батюшков сообщал Гнедичу: «Я... перевел вчерась листа три из Ариоста, посягнул на него в первый раз в жизни». Как свидетельствует указанное письмо, Батюшков в это время переводил «целую песнь» (34-ю) «Неистового Орланда», и его смущало, что шутливое снижение евангельских образов в поэме Ариосто может помешать появлению перевода в печати. «У нас это вовсе не годится, а если мне не веришь, то загляни в цензурный комитет», — писал он Гнедичу (Соч., т. 3, стр. 171). Замысел переводов из «Неистового Орланда» возник у Батюшкова еще в 1810 г. В письме к Вяземскому от 29 июля 1810 г. он говорил, что хочет перевести «несколько отрывков» из Ариосто, «которого еще нет вовсе на русском, ибо перевод, который сделан с французского, так похож на оригинал, как Батонди <итальянец, живший в доме Вяземского> на честного человека» (ЦГАЛИ). Впоследствии, в 1817 г., Батюшков перевел прозой конец 23-й и начало 24-й песни поэмы Ариосто и с заглавием «Исступление Орланда» напечатал этот перевод (в ВЕ, 1817, № 17—18, стр. 17—29). См. также на стр. 237 батюшковское «Подражание Ариосту». Творчество итальянского поэта Батюшков анализировал в статье «Ариост и Тасс» (1815), подчеркивая вольнолюбивые мотивы в произведениях Ариосто, который «писал, что хотел, против пап» (Соч., т. 2, стр. 151). *Тир* — см. стр. 278. *Багрец* — ярко-красная краска. *Дурачься, смертных род, в луне рассудок твой!* В 34-й песне «Неистового Орланда» рассказывается о том, как один из героев, Астольф, находит на луне рассудок, потерянный его отцом. После этой строки в письме Батюшкова к Гнедичу, содержащем перевод, следовали слова: «Вот тебе образчик и моего дурачества: стихи из Ариоста» (Соч., т. 3, стр. 170). Когда в 1817 г. Батюшков задумал издание переводов из итальянских писателей в двух томах, он включил в его проспект «Бешенство Орланда» (т. е. переведенный им эпизод «Исступление Орланда») и «Путешествие в Луну» с заметкой: «Это составит нечто целое» (там же, стр. 423). Неизвестно, сделал ли Батюшков перевод «Путешествия в Луну» или только его задумал. Все свои прозаические переводы из итальянских писателей Батюшков хотел объединить в книгу «Пантеон итальянской словесности» (см.: «Отчет Публичной библиотеки за 1895 г.». СПб., 1898. Приложение, стр. 22).

Филомела и Прогна. Вольный перевод басни Лафонтена «Philomèle et Progné». Впервые — ВЕ, 1811, № 23, стр. 186—187. В «Опыты» не вошло. Сюжет был заимствован Лафонтеном у греческого баснописца Бабрия (II в. до н. э.). Вяземский нашел басню слабой и усмотрел в ней автобиографические мотивы. Батюшков ответил ему, что басня написана «хорошо» и что он «нисколько не метил на себя» (Соч., т. 3, стр. 167). Однако Вяземский верно уловил сходство основного психологического тона басни с настрое-

ниями поэта, чувствовавшего себя гонимым и обойденным. *Фракия* — в древности так называли считавшиеся холодными и суровыми земли, лежащие к северу от Греции.

Дружество. Вольный перевод из древнегреческого лирика Биона (II в. до н. э.). Впервые — «С.-Петербургский вестник», 1812, № 2, стр. 166, с подзаголовком: «Из Биона». Не знавший древнегреческого языка Батюшков познакомился со стихотворением Биона, вероятно, по русскому переводу, помещенному в издании Н. Ф. Кошанского «Цветы греческой поэзии» (М., 1811).

Хор для выпуска благородных девиц Смольного монастыря. Впервые — «Опыты», стр. 169—171. Из нового издания «Опытов» Батюшков решил «Хор» исключить, но потом все же оставил его, написав: «NB. Вычеркнуто ошибкою — печатать». «Хор», который заключает редко встречающиеся у Батюшкова монархические мотивы, несомненно, сочинен по официальному заказу.

Мои пенаты. Впервые — ПРП, ч. 1, стр. 55—69. Печ. по «Опытам», стр. 121—137. Автограф — ГПБ. В сборниках А. Н. Афанасьева (см. о нем стр. 283) и П. А. Ефремова (ПД), а также в Тургеневской тетради (ПД) есть следующие варианты:

стихи 131—141:

О Лила, друг мой милый,
Душа души моей!
Тобою век унылый,
Средь шума и людей,
Среди уединенья,
Средь дебрей и лесов,
Средь скучного томленья
Печали и трудов,
Тобой, богиня, ясен!
И этот уголок
Не будет одинок!

стихи 164—170:

Спускайтеся ко мне!
Пусть тени и призраки
Любимых мне певцов,
Разрушив тлен и мраки
Эреба и гробов,
Как жители эфирны,
Воздушною стезей

Вариант ст. 189—196, по-иному характеризующий Карамзина:

Пером из крыльев Леля
Здесь пишет Карамзин,

К стр. 134

Преемник Мармонтеля,
В таблицах мнемозин
Любовны приключенья
Девиц и светских дам
И сладки откровенья
Чувствительным сердцам.

В автографе послания после ст. 200 есть следующие зачеркнутые строки, также относящиеся к Карамзину:

Всегда внушенный чувством,
Умел он позлатить
Оратора искусством
Повествованья нить
И в слоге плавном слить
Всю силу Робертсона
И сладость Ксенофона;
Аттической пчелы,
Волшебной...

Направив послание Жуковскому и Вяземскому, Батюшков просил их сделать замечания, которые и были присланы (Соч., т. 3, стр. 178 и 183—184). Батюшков радовался тому, что друзьям понравилось его послание (Соч., т. 3, стр. 184), тем более что он видел в нем недостатки, в частности считал «конец живее начала» (Соч., т. 3, стр. 153). Первоначально послание называлось «К пенатам». Батюшков так объяснял это заглавие в письме к Вяземскому от 10 мая 1812 г.: «Я назвал послание свое посланием «К пенатам», потому что их призываю в начале, под их покровительство зову к себе в гости и друзей, и девок, и нищих и, наконец, умирая, желаю, чтоб они лежали и на моей гробнице. Я назвал сие послание «К пенатам» так точно, как Грессет свое назвал „Chartreuse“» <«Обитель»> (Соч., т. 3, стр. 183). В послании есть некоторые мотивы, навеянные этим произведением Грессе (например, перечисление любимых авторов поэта), а также посланием «Моим пенатам» французского поэта Жана Дюси (1753—1816). Батюшков писал Гнедичу 3 мая 1809 г.: «Женимся, мой друг, и скажем вместе: святая невинность, чистая непорочность и тихое сердечное удовольствие, живите в бедном доме, где ни бронзы, ни драгоценных сосудов, где скатерть постлана гостеприимством, где сердце на языке, где фортуны не чествуют в почетном углу, но где мирный пенат улыбается друзьям и супругам, мы вас издали приветствуем!» (Соч., т. 3, стр. 36). В этих строках письма — по справедливому замечанию Д. Д. Благого — уже содержится «зерно» послания (изд. 1934, стр. 489). Стихотворение Батюшкова имело огромный успех. Оно вызвало ответные послания Жуковского и Вяземского, написанные блестяще разработанным в «Моих пенатах» трехстопным ямбом. Этот размер, имитирующий интимную дружескую беседу, широко использовали подражатели Батюшкова (см., например, стихотворение Нечаева «Послание к князю N. N. в день

отъезда его из Петербурга в Москву» (ВЕ, 1816, № 12, стр. 261—264). Они использовали также любовно-эротические образы послания и связанное с ними имя его героини Лилы (см. стихотворение С. Е. Раича «Эроты», напечатанное в 1824 г. в «Мнемозине», ч. 2, М., 1824, стр. 52). М. П. Погодин, описывая кабинет Карамзина в Остафьеве, где создавалась «История государства Российского», характеризовал его теми стихами «Моих пенатов», в которых была нарисована скромная хижина поэта: «Всё утвари простые...» и т. д. (см.: М. Погодин. Н. М. Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников, ч. 2. М., 1866, стр. 28). Напротив, многие писатели декабристского круга относились к посланию Батюшкова весьма иронически. Грибоедов и Катенин в комедии «Студент» (1817) заставили поэта Беневольского, в лице которого были осмеяны карамзинисты, читать в несколько переиначенном виде начало послания Батюшкова (д. 2, явл. 11). Пушкин на полях «Опытов» одобрительно отмечал жизнерадостный колорит послания и заключенные в нем выпады против знати и богачей. Он также писал: «Слог так и трепещет, так и льется — гармония очаровательна» (П, т. 12, стр. 274). Наряду с этим он сделал такое критическое замечание: «Главный порок в сем прелестном послании — есть слишком явное смешение древних обычаев мифологических с обычаями жителя подмосковной деревни. Музы — существа идеальные. Христианское воображение наше к ним привыкло, но норы и келии, где лары расставлены, слишком переносят нас в греческую хижину, где с неудовольствием находим стол с изорванным сукном и перед камином суворовского солдата с двуструнной балалайкой, — это все друг другу слишком уже противоречит» (П, т. 12, стр. 272—273). *Вяземский* Петр Андреевич (1792—1878) — поэт и критик, один из ближайших друзей Батюшкова; в 1814 г. Батюшков писал Вяземскому: «Ты занимаешь первое место в моем сердце...» (ЦГАЛИ). *Рухлая скудель* — глиняная посуда. *В жупел и в огни.* Идиоматическое выражение, означающее ужасное испытание; жупел — горящая сера; в нее якобы, по христианскому мифу, погружены грешники в аду. *Богиня слепая* — Фортуна. *Аония* — часть Древней Греции, где находился Геликон. *Парнасские царицы* — музы. *Наш лебедь величавый* — Державин, сравнивавший себя с лебедем в одноименном стихотворении. *Наш Пиндар, наш Гораций* — характеристика двух струй поэзии Державина (гражданственной и интимно-психологической), заимствована из посвящения Державину трагедии В. А. Озерова «Эдип в Афинах» (1804), где Державин определялся как поэт, «который с парением Пиндара согласил философию Горация..., коего стихотворство шумно, быстро и чудесно, как водопад Суны». *Суна* — река, на которой находится водопад Кивач, воспетый Державиным в оде «Водопад». *Платон* (427—347 до н. э.) — древнегреческий философ. Карамзин писал о нем в очерке «Афинская жизнь» (1793). *Агатон* (V в. до н. э.) — древнегреческий трагик, друг Платона и Эврипида. Карамзин писал об Агатоне в очерке «Цветок на гроб моего Агатона» (1793), его имя упоминается и в очерке Карамзина «Афинская жизнь», где описывается ужин афинянина Гиппия. *Наслажденья храм.* В том же очерке

«Афинская жизнь» говорится, что на доме Гиппия была надпись: «Храм удовольствия и счастия, отверстый для всех мудрых любителей наслаждения» (Карамзин. Сочинения, т. 3. СПб., 1848, стр. 420). *Древню Русь и нравы Владимира времян* и т. д. Речь идет об исторических трудах Н. М. Карамзина, в частности подразумевается, видимо, его статья «О случаях и характерах в российской истории, которые могут быть предметом художеств» (1802). *Сильф прекрасный* — И. Ф. Богданович; см. о нем примеч. к стихотворению «Видение на берегах Леты», стр. 275. *Цитра* — см. стр. 270. *Мелецкий* — Нелединский-Мелецкий Юрий Александрович (1752—1828), поэт карамзинской школы, автор песен и стихотворений с любовно-эпикурейской тематикой. *Федр* (I в. до н. э.) — первый римский баснописец. *Пильпай* (Бидпай) — легендарный индусский баснописец. *Дмитриев* Иван Иванович (1760—1837) — поэт-сентименталист, автор басен, сатирических сказок, лирических стихотворений и песен, высоко ценившийся Батюшковым. В свою очередь Дмитриев называл Батюшкова «достойным собратом любезного Жуковского» и находил, что он пишет «прекрасные» стихи (И. И. Дмитриев. Сочинения, т. 2. СПб., 1895, стр. 225). Дмитриев восторженно встретил появление «Опытов», видя в них доказательство «успехов» русского просвещения (там же, стр. 243), и цикла «Из греческой антологии» (см. также вступ. статью, стр. 49). О *Хемницере* и *Крылове* см. примеч. к «Видению на берегах Леты», стр. 275, 277. *Питомец муз надежный* — стих из «Послания Попа к Арбутноту» И. И. Дмитриева. *Аристиппов внук.* В письме к Вяземскому от 19 декабря 1811 г. Батюшков так объяснял эти слова: «Это, то есть, не значит, что ты внук, то есть взаправду, и что твой батюшка назывался Аристиппычем или Анакреонычем, но это значит то, что ты, то есть, имеешь качества, как будто нечто свойственное, то есть любезность, охоту напиться не вовремя и пр., пр., пр.» (Соч., т. 3, стр. 168). Аристипп (IV в. до н. э.) — древнегреческий философ, видевший цель жизни в наслаждениях. *О! дай же ты мне руку* — эти слова Батюшков почти буквально повторил через несколько лет после сочинения послания в письме к Вяземскому от 27 августа 1815 г., где он восклицал: «Дай же мне руку, мой милый друг, и возьми себе все, что я могу еще чувствовать — благородного, прекрасного. Оно твое» (ЦГАЛИ). *Наемны лики* — церковный хор певчих. *Цевница* — см. стр. 268.

К Жуковскому. Впервые — ПРП, ч. 2, стр. 201—205, с неточной датой: 1811 г. С изменением ст. 29 — ССП, ч. 5, стр. 111—113. Печ. по «Опытам», стр. 148—152. Входит в письмо Батюшкова к Жуковскому от июня 1812 г. (Соч., т. 3, стр. 189—190). Вместо ст. 19—51 в письме следующие строки:

Под сению свободы,
Достойные природы
И юныя весны!
Тебе — одна лишь радость,
Мне — горести даны!
Как сон проходит младость

И счастье прежних дней!
Всё сердцу изменило:
Здоровье легкокрыло
И друг души моей.

Послание вызвало хвалебную оценку Пушкина на полях «Опытов»: «Прекрасно, достойно блестящих и небрежных шалостей фр<анцузского> остроумия, — и везде язык поэзии» (П, т. 12, стр. 276). *Белёва мирный житель.* Белёв — город Тульской губернии, около которого находилось имение А. И. Бунина, отца Жуковского; этот стих представляет собой цитату из послания Вяземского «К Батюшкову» (послание было ответом на «Мои пенаты» Батюшкова). *Гиппократ* (V в. до н. э.) — знаменитый древнегреческий врач, в данном случае — врач вообще. *Громобой* — герой одноименной баллады Жуковского — первой части поэмы «Двенадцать спящих дев» (1810). *«Усопший! Мир с тобою!»* — слова сатаны, которому Громобой продал душу. *Свистов.* Подразумевается поэт-шишковист граф Хвостов; см. о нем примеч. к «Певцу в Беседе любителей русского слова», стр. 294. В указанном письме Батюшкова к Жуковскому Хвостов фигурирует под своей фамилией. *Его покорный бес* — единственный слушатель Хвостова в басне А. Е. Измайлова «Стихотворец и черт».

Ответ Тургеневу. Впервые — «Опыты», стр. 153—156. *Тургенев* Александр Иванович (1784—1845) — брат декабриста Н. И. Тургенева, член литературного общества «Арзамас», друг Батюшкова. Тургенев сблизился с Батюшковым в начале 1812 г. (см. его письмо к Жуковскому от 9 февраля 1812 г. — Соч., т. 1, стр. 372 в). *Армида* — см. стр. 269—270. *Дон-Кишот* — Дон Кихот; сравнение поэта-мечтателя, живущего в мире своих фантазий, с героем романа Сервантеса, возможно, подсказано стихотворением Карамзина «К бедному поэту» (1796). Характерно, что друзья Батюшкова иногда сравнивали с Дон-Кихотом и его самого. Так, упрекая поэта в непрактичности, Гнедич писал: «Ты думаешь точно как рыцарь Ламаханский <Ламанчский>: оседлал рыжака, надел лоханку на голову и поехал» (письмо от 23 августа 1809 г., ПД). *Любовник строгой Лоры* — Петрарка, влюбленный в Лауру. *Воклюз* — французская деревня, где долго жил Петрарка; около нее находится источник Сорг. *Душеньки певец* — И. Ф. Богданович; см. о нем примеч. к «Видению на берегах Леты», стр. 275. *Лесбосская певица* — Сафо, жившая на острове Лесбос; см. стр. 263. *Скала Левкада* — Левкадский мыс, с которого, по преданию, бросилась в море Сафо из-за несчастной любви к юноше Фаону.

Разлука («Гусар, на саблю опираясь...»). Впервые — ПРП, ч. 2, стр. 121—123. Печ. по «Опытам», стр. 180. Сходная поза гусара дана в очерке Батюшкова «Прогулка по Москве» («А этот гусар о чем призадумался, опершись на свою саблю!» — Соч., т. 2, стр. 33). Об оценке стихотворения Пушкиным см. вступ. статью, стр. 35—36. Первые две строфы стихотворения, ставшего широко распространенным романсом, попали в народную драму «Царь Максимьян»

(Н. П. Андреев. Русский фольклор. М. — Л., 1938, стр. 520). *Браная* — вышитая.

Певец в Беседе любителей русского слова. Впервые — «Современник», 1856, № 5, Смесь, стр. 10—18, с заглавием «Певец в беседе славяноросов». Н. И. Греч в «Северной пчеле», 1857, 20 мая, дал ряд поправок к тексту «Современника». Печ. по изд. 1934, стр. 255—262, где воспроизведен список произведения с принятым нами заглавием, сделанный кн. А. М. Горчаковым на бумаге с водяным знаком 1814 г. (ЦГАОР), с исправлением явных описок. В сочинении «Певца» принимал некоторое участие писатель и журналист, автор известных басен А. Е. Измайлов (1779—1831), на что впервые указал Н. В. Сушков («Московский университетский благородный пансион». М., 1858, стр. 75). В рукописном сборнике Измайлова (ГПБ) есть «Пародия некоторых куплетов из „Певца во стане русских воинов"» с датой: 1813 г. В эту «Пародию» входят с вариантами строки из «Певца в Беседе любителей русского слова» (стихи 125—148). В вариантах особенно интересна характеристика Хвостова (стихи 129—132):

Наскучил людям и чертям,
И день и ночь он пишет,
А похвалы своим трудам
Ни от кого не слышит.

Эти стихи — явный перепев 3—4-й строк из сатиры И. И. Дмитриева «Чужой толк» (1794):

Со всеусердием всё оды пишем, пишем,
А ни себе, ни им похвал нигде не слышим!

В «Пародию входит также строфа, не включенная в известные нам списки стихотворения:

Хвала отважным рифмачам!
Шихматов в юны лета,
Коль верить Балдуса речам, —
Осьмое чудо света.
Потемкин, слава наших дней,
И Бунина девица!
В Беседе говорят о ней:
«Стихи плесть мастерица».
Театра нашего хвала,
Грузинцев, Висковатов!
Их Мельпомена родила
На гибель сопостатов.

Батюшков пародийно использовал жанр, композиционную схему, стихотворный размер (чередование четырехстопных и трехстопных ямбов), эпизоды, образы и даже отдельные выражения «Певца...»

Жуковского («О родина святая!» — у Батюшкова: «О, лавка дорогая!»; «Тот наш, кто первый в бой летит» — у Батюшкова: «Тот наш, кто каждый день кадит» и др.). Некоторые строки стихотворения Жуковского воспроизводятся у Батюшкова дословно: «Сей кубок чадам древних лет», «Но дух отцов воскрес в сынах» и т. п. «Певец» вызвал живой интерес в среде карамзинистов. В первой половине апреля 1813 г. Вяземский писал А. И. Тургеневу: «Нет ли у тебя пародии «Певца», сделанной Батюшковым? Мне очень хочется ее прочесть. Не можешь ли мне ее прислать?» («Остафьевский архив», т. 1. СПб., 1899, стр. 15). Написавший «Певца» перед своим отправлением в армию, Батюшков после возвращения из заграничного похода обнаружил, что он получил большое распространение и вызвал гнев шишковистов. Это произвело на Батюшкова, вернувшегося на родину в подавленном моральном состоянии, тягостное впечатление. 10 января 1815 г. он писал Вяземскому: «В отсутствие мое здесь разошлись мои стихи: «Певец». Глупая шутка, которую я писал для себя. Вот все славяне поднялись на меня. Хотят за<щища>ться... Это скучно и начинает меня огорчать» (ЦГАЛИ). К числу этих «славян», очевидно, не принадлежал А. С. Шишков: услышав «Певца» в чтении С. Т. Аксакова, он нашел его «забавным» и попросил список произведения (см.: С. Т. Аксаков. Сочинения, т. 3. СПб., 1886, стр. 212—213). Образы «Певца» были широко использованы в речах и письмах арзамасцев. Так, А. И. Тургенев называл Анастасевича «холуем» («Остафьевский архив», т. 1. СПб., 1899, стр. 89), а Д. Н. Блудов упоминал о «грязном Хвостове» «Певца» Батюшкова («„Арзамас“ и арзамасские протоколы». Л., 1933, стр. 127). Стих Батюшкова, направленный против Шаховского: «Холодных шуб родитель!» — дал повод к шутливой игре на 9-м заседании «Арзамаса». В. Л. Пушкин был укрыт тяжелыми шубами, а Жуковский говорил, обращаясь к нему: «Се лежит он под страшным сугробом шуб прохладительных» (там же, стр. 142—143). Вслед за Батюшковым, утверждавшим, что шишковисты пишут «как Тредьяковский», многие арзамасцы стали называть последнего «пророком Беседы» и «патриархом славенофилов» (там же, стр. 146 и 213). Напротив, Пушкин, позднее отметивший значительные заслуги Тредиаковского, в 1814 г. советовал Батюшкову прекратить нападки на него (см. его послание «К Батюшкову»: «Но Тредьяковского оставь в столь часто рушимом покое»), хотя пока еще основывался только на том, что нападки на Тредиаковского, которого он относил к числу «бессмысленных поэтов», стали банальными. *Беседа любителей русского слова* (1811—1816) — литературное общество, организационный центр писателей-шишковистов. *Тредьяковский* (Тредиаковский) — см. о нем примеч. к «Видению на берегах Леты», стр. 275. *Роллен* Шарль (1661—1741) — французский историк; его многотомные труды («Древнюю историю» и «Римскую историю») перевел Тредиаковский. *Глазунов* — см. стр. 264. *Шихматов* — см. о нем примеч. к «Видению на берегах Леты», стр. 276. *Николев* Николай Петрович (1758—1815) — плодовитый, но бездарный поэт, член Российской академии, почитавшийся писателями архаического направления. *«Беседы» царь* — А. С. Шишков; см.

о нем примеч. к «Посланию к стихам моим», стр. 264. Его образ здесь пародийно соответствует образу Александра I в «Певце во стане русских воинов» Жуковского. В Тургеневской тетради (ПД) дан вариант ст. 73: «Сумбур! твоя держава!» *Славенофил* — А. С. Шишков. *Потемкин* Сергей Павлович, граф (1787—1858) — поэт-шишковист, внучатый племянник крупного государственного деятеля и полководца кн. Г. А. Потемкина, сотрудничал в издаваемых «Беседой» «Чтениях». *Жихарев* Степан Петрович (1787—1860) — поэт-шишковист, театральный деятель, автор воспоминаний («Дневник студента» и «Дневник чиновника»); впоследствии примкнул к «Арзамасу», получив имя Громобой. Здесь упоминается его оссиановская поэма «Барды», осмеянная карамзинистами. *Пиндар* — см. стр. 266. *Ошую* — налево. *Шихматов безглагольный.* Шихматов настаивал на полном отказе от глагольных рифм и осуществлял этот отказ в своей поэтической практике, о чем упомянул Пушкин во 2-й октаве «Домика в Коломне». *Шаховской* Александр Александрович, князь (1777—1846) — известный драматург, член «Беседы», автор ирои-комической поэмы «Расхищенные шубы», осмеивавшей Карамзина и его последователей (1-я и 2-я песни поэмы появились в 1811—1812 гг.). Батюшков назвал эту поэму «холодной» не только в «Певце», но и в письме к Вяземскому от 27 февраля 1813 г., где также утверждал, что «Шубы» Шаховского «очень холодны» (Соч., т. 3, стр. 217). Появление другого антикарамзинистского произведения Шаховского — комедии «Урок кокеткам, или Липецкие воды» (1815), где под именем Фиалкина осмеивался Жуковский, вызвало негодование Батюшкова, писавшего Вяземскому 11 ноября 1815 г.: «Верь мне (я знаю поприще успехов Шутовского <Шаховского>), верь мне, что лучшая на него эпиграмма и сатира есть — время. Он от него не отделается. Время сгложет его желчь, а имена Озерова и Жуковского и Карамзина останутся» (ЦГАЛИ). *Ежова* Екатерина Ивановна (1787—1837) — актриса, находившаяся в связи с Шаховским. *Карабанов* Петр Матвеевич (1765—1829) — поэт-шишковист, переводчик «Альзиры» Вольтера; отличался толщиной и обжорством. *Хвостов* Дмитрий Иванович, граф (1757—1835) — примыкавший к «Беседе» поэт-графоман, автор огромного количества совершенно бездарных произведений, зачитывавший стихами своих слушателей и лично распространявший собственную литературную продукцию. Батюшков справедливо утверждал, что он «своим бесславием славен будет в позднейшем потомстве» (Соч., т. 3, стр. 215). Образ Хвостова в «Певце» пародийно соответствует образу знаменитого казачьего атамана М. И. Платова в стихотворении Жуковского «Певец во стане русских воинов». *Захаров* Иван Семенович (1754—1816) — слабый переводчик, председатель одного из разрядов «Беседы»; шишковисты высоко ценили его высокопарную декламацию. *Львов* Павел Юрьевич (1770—1825) — писатель-шишковист, применявший в своих сочинениях устарелые и непонятные слова и выражения. *Палицын* Александр Александрович (ум. 1816) — поэт-любитель, не входивший в «Беседу», но являвшийся поклонником Шишкова и Хвостова, стихи которого он даже сравнивал с «языком богов»

(«Библиографические записки», 1859, № 8, стр. 250). *Поповка* — имение Палицына в Харьковской губернии, в котором он почти безвыездно жил. *Станевич* Евстафий Иванович (1775—1835) — писатель-шишковист, подражавший английскому писателю Джемсу *Гервею* (1714—1758), произведения которого были проникнуты мистикой и пессимизмом. Батюшков называет Станевича «обруганным», так как его в крайне грубой форме критиковали М. Т. Каченовский и А. Ф. Воейков в ВЕ. *Анастасевич* Василий Григорьевич (1775—1845) — переводчик и библиограф, который не был членом «Беседы», но принадлежал к партии шишковистов и охотно исполнял поручения ее видных членов. В свои переводы и произведения вводил многочисленные полонизмы — слова польского происхождения, например слуг обычно называл «холуями». *Соколов* — чиновник, выступавший в «Беседе» в качестве чтеца. *Политковский* Гавриил Герасимович (род. ок. 1770 — ум. после 1824) — писатель-шишковист, часто читавший в «Беседе» свои и чужие произведения. Н. И. Греч в указанном выше номере «Северной пчелы» дает вариант ст. 158: «Бездарный Политковский». *Кто пишет так, как говорит.* Имеются в виду враги «Беседы» карамзинисты, выдвинувшие принцип приближения литературного языка к живой речи образованного общества. *Вотще свои, о Карамзин, Ты издал сочиненья.* Батюшкова особенно возмущали систематические нападки шишковистов на Карамзина. В письме к Вяземскому от 27 февраля 1813 г. он восклицал, рассказывая о заседаниях «Беседы»: «Как? Коверкать, пародировать стихи Карамзина... читать эти глупые насмешки в полном собрании людей почтенных, архиереев, дам... О, это верх бесстыдства!» (Соч., т. 3, стр. 217).

К Дашкову. Впервые — «С.-Петербургский вестник», 1812, № 10, стр. 26—28 (этот номер журнала вышел только в 1813 г.). Печ. по «Опытам», стр. 77—80. *Дашков* Дмитрий Васильевич (1784—1839) — член литературного общества «Арзамас», дипломат, впоследствии крупный государственный деятель, приятель Батюшкова. Начало послания рисует страдания русских беженцев из разоренных городов и сел. Батюшков наблюдал эти ужасы войны по дороге из Москвы в Нижний Новгород, куда он уехал в сентябре 1812 г. В письме к Гнедичу от октября 1812 г., которое является как бы прозаическим конспектом начала послания, он сообщал другу: «От Твери до Москвы и от Москвы до Нижнего я видел, видел целые семейства всех состояний, всех возрастов в самом жалком положении; я видел то, чего ни в Пруссии, ни в Швеции видеть не мог: переселение целых губерний! Видел нищету, отчаяние, пожары, голод, все ужасы войны и с трепетом взирал на землю, на небо и на себя» (Соч., т. 3, стр. 208—209). Изображая в послании ужасы наполеоновского нашествия, поэт использовал «Письма из Москвы в Нижний Новгород» (1813—1814) И. М. Муравьева-Апостола, государственного деятеля и писателя, отца будущих декабристов. Батюшков вместе с И. М. Муравьевым-Апостолом проделал путь от Москвы до Нижнего Новгорода и, вероятно, читал его «Письма» еще в рукописи. В послание перешли из них «многие образы и

целые фразы» (см.: И. З. Серман. Поэзия К. Н. Батюшкова. — «Ученые записки Ленинградского государственного университета». Серия филологических наук, 1939, вып. 3, стр. 254). *Трикраты с ужасом потом Бродил в Москве опустошенной.* В 1812—1813 гг. Батюшков трижды посещал сожженную Москву, которая произвела на него потрясающее впечатление. 4 марта 1813 г. он писал Е. Г. Пушкиной: «Всякий день сожалею... о Москве, о прелестной Москве: да прилипнет язык мой к гортани моей, и да отсохнет десная моя, если я тебя, о Иерусалиме, забуду. Но в Москве ничего не осталось, кроме развалин...» (Соч., т. 3, стр. 220). *Цевница* — см. стр. 268. *Армида* — см. стр. 269—270. *Израненный герой* — генерал А. Н. Бахметев (1774—1841), герой Отечественной войны 1812 г., потерявший ногу в Бородинском сражении. Бахметев познакомился с Батюшковым в 1812 г. в Нижнем Новгороде и обещал взять его к себе в адъютанты. Батюшков во время сочинения послания ожидал в Петербурге приезда Бахметева (он был зачислен адъютантом к нему только 29 марта 1813 г., но Бахметев из-за болезни не мог принять участие в военных действиях, и поэт стал адъютантом генерала Н. Н. Раевского-старшего). Пушкин сопроводил послание одобрительными заметками на полях «Опытов»: «Прелесть» и др. (П, т. 12, стр. 264).

Переход русских войск через Неман 1 января 1813 года. Впервые — «Славянин», 1830, № 3, стр. 209—210. Полностью стихотворение Батюшкова до нас не дошло. Отрывок посвящен началу заграничного похода русской армии. Батюшков в переходе через Неман не участвовал, так как вступил в армию позднее. *Задумчивый беглец* — солдат или офицер разбитой наполеоновской армии. *Царь младой* — Александр I. *Старец-вождь* — М. И. Кутузов. В своих письмах Батюшков с восторгом говорил о «подвигах Кутузова» (Соч., т. 3, стр. 268).

<Отрывок из Шиллеровой трагедии «Die Braut von Messina» («Мессинская невеста»)>. Впервые — «Московский телеграф», 1828, № 1, стр. 34—45. В переводе сцены Батюшков сделал большие сокращения. Во время заграничного похода русской армии он, попав в Германию, увлекся немецкой литературой. В эту пору поэт хвалебно отзывался о «славном Шиллере» (Соч., т. 3, стр. 245), к творчеству которого он, по-видимому, раньше относился иначе. В письме к Гнедичу Батюшков сообщал, что он «примирился с Шиллером» (Соч., т. 3, стр. 239). *Полиник* и *Этеокл* — сыновья царя Эдипа, убившие друг друга в единоборстве, герои трагедий «Семеро против Фив» Эсхила и «Финикиянки» Еврипида.

Элегия из Тибулла («Мессала! Без меня ты мчишься по волнам...»). Вольный перевод 3-й элегии (1-й книги) «Ibitis Aegaeas sine me, Messala, per undas...». Впервые — ПРП, ч. 4, стр. 204—211, с заглавием «Тибуллова элегия (кн. I, эл. 3)». С исправлениями — ССП, ч. 5, стр. 52—57; ВЕ, 1816, № 12, стр. 255—

261. Печ. по «Опытам», стр. 19—26, с учетом правки ст. 69 и 108, сделанной Батюшковым при подготовке нового издания книги (ст. 108 был исправлен Батюшковым уже в «Опытах» на листе «Погрешностей и перемен»). Пушкин охарактеризовал стихотворение как «прекрасный перевод» (П, т. 12, стр. 259). Одобрительный отзыв Белинского см.: Б, т. 7, стр. 228 и 230. *Мессала* — Марк Валерий Мессала Корвин (64 до н. э. — 9 н. э.) — римский оратор, поэт и государственный деятель, покровитель Тибулла. *Без меня ты мчишься по волнам.* В начале элегии рассказывается о том, как в 30 г. до н. э., когда Мессала отправился в Азию, сопровождавший его Тибулл из-за нездоровья остался на острове Корфу. *Феакия* — древнее название этого острова. *Миро* — благовонное вещество. *Делия.* Этим именем Тибулл называл свою возлюбленную Планию. *Фарийские* — египетские. *Рало* — плуг. *Сидонский багрец* — пурпурная краска, производившаяся в финикийском городе Сидоне. *Нард* — растение, из которого делали благовонное масло. *Киннамон* — ароматическое растение (корица). *Адский пес* — Цербер (греч. миф.). *Зеницы* — зрачки. *Пряслица* — прялка.

Пленный. Впервые ПРП, ч. 2, стр. 269—272. Печ. по «Опытам», стр. 86—90. О творческой истории стихотворения Пушкин писал: «Лев Васильевич Давыдов в плену у французов говорил одной женщине «Rendez-moi mes frimas» <«Верните мне мои морозы»>. Батюшкову это подало мысль написать своего „Пленного“» (П, т. 12, стр. 266). Л. В. Давыдов (1792—1848), брат поэта-партизана Дениса Давыдова, как и Батюшков, был во время заграничного похода русской армии адъютантом генерала Н. Н. Раевского-старшего. Батюшков, познакомившийся с ним еще в 1810 или 1811 г., относил его к числу «храбрейших и лучших из товарищей» (Соч., т. 2, стр. 329). *С полей победы похищенный Один — толпой врагов.* По свидетельству Пушкина, эти строки — «любимые стихи» Вяземского (П, т. 12, стр. 265). Последний тоже изобразил плен Давыдова в стихотворении «Русский пленник в стенах Парижа» (1815).

<О парижских женщинах>. Впервые — «Памятник отечественных муз на 1827 г.», СПб., 1827, стр. 55. Входит в письмо Батюшкова к Дашкову от 25 апреля 1814 г. Сочинено в Париже, куда Батюшков попал при взятии города русской армией в 1814 г. Перед стихами говорится: «Я боюсь вам наскучить моими замечаниями. Но позвольте, мимоходом разумеется, похвалить женщин. Нет, они выше похвал, даже самые прелестницы». *Фидий* (р. в начале V в. до н. э. — ум. ок. 432—431 до н. э.) — древнегреческий скульптор.

Тень друга. Впервые — ВЕ, 1816, № 17—18, стр. 3—5. Печ. по «Опытам», стр. 48—51, с учетом правки ст. 44, сделанной Батюшковым при подготовке нового издания книги. Эпиграф — из элегии «Тень Цинтии» римского лирика Проперция (р. ок. 49 — ум. ок. 15 до н. э.). По свидетельству Вяземского, Батюшков «написал

эти стихи на корабле, на возвратном пути из Англии в Россию после заключения европейского мира в Париже» (см.: П. А. Вяземский. Полн. собр. соч., т. 2. СПб., 1879, стр. 417). Поэт в 1814 г., после заграничного похода русской армии, посетил Лондон и возвратился из Англии на родину через Швецию, достигнув этой страны морским путем. Элегия посвящена памяти безвременно погибшего друга Батюшкова И. А. Петина, см. о нем стр. 283. Пушкин заметил об этой элегии: «Прелесть и совершенство — какая гармония» (П, т. 12, стр. 262). *Альбион* — древнее название Англии. *Гальциона* — чайка. *Вежды* — веки. *Плейсские струи* — воды находящейся в Германии реки Плейссы, близ которой был убит Петин. *Беллонины огни* — военные огни.

На развалинах замка в Швеции. Впервые — ПРП, ч. 2, стр. 217—223. С исправлениями — ССП, ч. 5, стр. 124—126. Печ. по «Опытам», стр. 11—18, с учетом правки ст. 54 и 107, сделанной Батюшковым при подготовке нового издания книги. Некоторые черты элегии навеяны стихотворснием немецкого поэта Фридриха Маттисона (1761—1831) «Elegie in den Ruinen eines Bergschlosses». Белинский, называя элегию «превосходной», писал: «Как все в ней выдержано, полно, окончено! Какой роскошный и, вместе с тем, упругий, крепкий стих!» (Б, т. 7, стр. 249). *Хлябь* — простор, бездна. *Нейстрия* — западная часть средневекового государства франков. *Дубы в пламени.* Речь идет об обычае северных народов зажигать дубы во время празднеств. *Лики* — здесь: толпы, сонмы. *Руны* — древнейшие скандинавские письмена.

<Хор жен воинов из «Сцен четырех возрастов»>. Впервые — РА, 1887, № 7, стлб. 341—363. Отрывок из «Сцен», написанных Батюшковым по заказу поэта Ю. А. Нелединского-Мелецкого для праздника в Павловске 27 июля 1814 г. по случаю прибытия туда Александра I. Мы не включаем «Сцены» в наше издание полностью, так как, во-первых, они содержат не только стихотворный, но и прозаический текст, а во-вторых, Батюшков сочинял их в соавторстве с П. А. Вяземским, Ю. А. Нелединским-Мелецким, П. А. Корсаковым и Г. Р. Державиным, и в ряде случаев очень трудно сказать, что́ именно принадлежит ему самому. «Сцены», носящие ультрамонархический характер, были построены по плану Ю. А. Нелединского-Мелецкого, на которого, в свою очередь, оказывала влияние мать Александра I императрица Мария Федоровна. Батюшков, как отметил публикатор «Сцен» М. А. Веневитинов, ограничился только «ролью версификатора, передающего чужие мысли». Сам Батюшков, получивший за «Сцены» перстень от императрицы Марии Федоровны (Соч., т. 3, стр. 289), испытывал острое недовольство ими. В письме к Вяземскому от 27 июля 1814 г. говорится: «Нелединский заставил меня писать для великолепного праздника в Павловском; дали мне программу, и по ней я принужден был нанизывать стихи и прозу, пришел капельмейстер и выбросил лучшие стихи, уверяя, что не будет эффекту, и так далее. Пришел какой-то Корсаков, который примешал свое, пришел Дер-

жавин, который примешал свое, как ты говоришь, кое-что — и изо всего вышла смесь, достойная нашего Парнаса и вовсе не достойная ни торжественного дня, ни зрителей» (ЦГАЛИ). Печатаемый нами хор жен воинов, возвращающихся из заграничного похода 1814 г., стоит на большой художественной высоте и несомненно принадлежит Батюшкову. Об этом говорит и энергия стиха в хоре, и то, что он написан типичным для Батюшкова трехстопным ямбом (ср. «Мои пенаты»).

Судьба Одиссея. Вольный перевод стихотворения Шиллера «Odysseus». Впервые — «Опыты», стр. 71. Батюшков отказался от гекзаметра оригинала, кроме того подчеркнул мотив преодоления героем разнообразных препятствий, по существу имея в виду те трудности и опасности, с которыми ему самому пришлось столкнуться во время заграничного похода русской армии. Батюшков, которому, подобно гомеровскому герою, пришлось много странствовать, в 1814 г. писал Жуковскому о своем участии в заграничном походе и возвращении через разные страны на родину: «Вот моя Одиссея, поистине Одиссея! Мы подобны теперь Гомеровым воинам, рассеянным по лицу земному» (Соч., т. 3, стр. 303). *Стопой бестрепетной сходил Аида в мраки.* Одиссей в XI песне поэмы посещает подземное царство мертвых. *Проснулся он: и что ж? Отчизны не познал.* Одиссей в XIII песне поэмы, попадая на берег Итаки, не узнает родного острова, покрытого туманом.

Странствователь и домосед. Впервые — «Амфион», 1815, № 6, стр. 75—91. Печ. по «Опытам», стр. 208—209, с учетом правки стихов 365—366, сделанной Батюшковым при подготовке нового издания книги. Вместо стихов 124—125 в «Амфионе» были следующие строки:

И снова мудрости искать
Меж греков просвещенных!
Сказал и сделал так
Наш ветреный чудак.

Вместо стихов 300—313 в «Амфионе» были следующие строки:

Так точно весь народ толпился и шумел
Пред кафедрой бродяги,
Который в первый раз блеснуть умом хотел,
Но заикнулся, покраснел
И побледнел,
Как белый лист бумаги.
В собраньи завсегда народ нетерпелив.

Батюшков задумал эту сатирическую сказку, во многом имеющую автобиографический характер, в 1814 г., находясь в Лондоне, о чем говорится в его письме к Вяземскому от 17 февраля 1815 г. (ЦГАЛИ), и закончил ее после возвращения из-за границы — в

самом начале 1815 г. (письмо Батюшкова к Вяземскому от 10 января 1815 г., ЦГАЛИ). Еще до появления сказки в печати Батюшков писал о ней Вяземскому: «Прочитай обществу, если оно будет на то согласно, и пришли мне замечания. Я постараюсь ими воспользоваться», но тут же прибавлял: «Чтоб плана моего не критиковали. Напрасный труд: я его переменить не в силах» (письмо от марта — июня 1815 г. — ЦГАЛИ). Вяземскому сказка не понравилась. В связи с тем, что Греч в 1815 г. хотел напечатать сказку в «Сыне отечества», Батюшков просил Гнедича и Жуковского сделать поправки, но в «Сыне отечества» сказка помещена не была. В 1817 г., подготовляя издание «Опытов», Батюшков стал поправлять сказку и в измененном виде отослал ее Гнедичу с просьбой, чтобы Гнедич и Крылов сделали свои замечания. Эти замечания Батюшков получил и использовал (изд. 1934, стр. 517—520). Он также хотел написать другую сатирическую сказку (Соч., т. 3, стр. 360) и советовал Вяземскому работать в этом жанре, выводящем за пределы интимно-психологической лирики. Посылая «Странствователя и домоседа» Вяземскому, он говорил в цитированном выше письме к нему от марта — июня 1815 г.: «Зачем Дмитриеву оставлять одному это поле, поле веселое и пространное, созданное как нарочно для твоего остроумного ума и сердца... У нас множество баснописцев. Пусть будут и сказочники» (ЦГАЛИ). *Объехав свет кругом.* В начале сказки Батюшков намекает на свое участие в заграничном походе 1813—1814 гг. и на свои военные странствования «из края в край» более раннего времени. *Гарпагон* — герой комедии Мольера «Скупой»; в данном случае — скупец-богач. *Мина* — денежная единица древних греков. *Землицы уголок* — выражение, взятое из эпиграфа к повести М. Н. Муравьева «Обитатель предместия»: «Хотелось мне иметь землицы уголок» (М. Н. Муравьев. Сочинения, т. 1. СПб., 1847, стр. 71). *Мемфис* — столица Древнего Египта. *Зачем сей создан мир?* — реминисценция из «Послания к слугам моим...» Д. И. Фонвизина (1763); ср. заключительную строку этого послания: «И сам не знаю я, на что сей создан свет!» Еще более близок к Фонвизину вариант БТ: «Зачем сей создан свет...» *Зачем под пеленой сокрыт Изиды зрак.* Изображение египетской богини Изиды находилось под покрывалом. *Зачем горящий Феб всё к западу стремится?* Имеется в виду движение солнца. *Пифагор* (VI в. до н. э.) — древнегреческий философ и математик; в дальнейшем ходе сказки осмеяны мистика и аскетизм его последователей-пифагорейцев. *Алкивиад* (V в. до н. э.) — древнегреческий полководец и государственный деятель, любимец афинских женщин. *Демосфен* (IV в. до н. э.) — знаменитый древнегреческий оратор. *Гликерия* — афинская красавица, имя которой стало нарицательным. *Кратес* (IV—III вв. до н. э.) — древнегреческий философ, последователь Диогена, отказавшийся от всякой собственности, кроме своего плаща. *Диоген* — см. стр. 265. *Пирей* — афинская гавань. *Судно тирское.* Тир — см. стр. 278. *О чесноке святом.* Чеснок считался у древних египтян священным. *И... о коте большом!* В Древнем Египте кошка считалась священным животным, воплощением богини Изиды. *Кротона* (Кротон) — греческий город в юж-

ной Италии, где жили пифагорейцы. *Пенье сфер.* Мистически настроенные пифагорейцы доказывали возможность общения с небесными сферами. *Эмпедокл* (V в. до н. э.) — сицилийский философ и поэт. Существовал легендарный рассказ о его смерти, согласно которому он бросился в кратер Этны, оставив на его краю свою сандалию. *Ристания* — состязания всадников. *Лаконские горы* и *Тайгет* — горные кряжи в Греции. *Илот* — порабощенный земледелец в Лаконии, которая, так же как *Арголида, Коринф, Мегарида, Аттика,* являлась областью Древней Греции. *Керамик* — предместье Афин. *Иллис* — река в Афинах. *Фонтанку, этот дом... и столько милых лиц.* Батюшков имеет в виду или дом Е. Ф. Муравьевой на углу Фонтанки и Невского, где он остановился после возвращения из заграничного похода и написал свою сказку, или дом А. Н. Оленина, находившийся также на Фонтанке, где жила любимая им девушка А. Ф. Фурман. *Аттическая столица* — Афины. *Риторы* — ораторы. *Софист* — приверженец одной из школ греческой философии. *Архонт* — один из высших сановников древних Афин. *Фрина* — гетера, древнегреческая куртизанка. *Вы помните, бульвар кипел в Париже.* Здесь Батюшков вспоминает о том, как русские казаки попали в Париж во время его взятия в 1814 г.; о них Батюшков говорил и в письме из Парижа к Дашкову от 25 апреля 1814 г. (Соч., т. 3, стр. 259). *Амвон* — здесь: трибуна, кафедра. *Шушуканье, а там поближе громкий хохот.* Рисуя картину бурного народного собрания в Афинах, Батюшков использовал книгу французского археолога Жана-Жака Бартелеми (1716—1795) «Путешествие младшего Анахарсиса по Греции», которое он называл «божественной книгой», «путеводителем к храму древности» (Соч., т. 3, стр. 57). У Бартелеми народное собрание в Афинах было описано так: «Вопли, рукоплескания, громкий смех заглушают голос сенаторов, которые председательствуют в собрании, голос стражей, расставленных повсюду для удержания порядка, самого наконец витию» (т. 2, М., 1803, стр. 298—299). *Мертвее во сто раз, чем мертвецы баллады.* Здесь, вероятно, имеются в виду баллады Жуковского, где часто фигурируют мертвецы. *Эней* — главный герой «Энеиды» Вергилия, вынесший на плечах своего старого отца из горящей Трои. *Рамена* — плечи. *Гиппократ* — см. стр. 291. *Янтарный мед Гимета* — дикий мед, которым славились горы близ Афин с таким названием.

Послание И. М. Муравьеву-Апостолу. Впервые — ПРП, ч. 6, стр. 79—84, под заглавием «К И. М. М. А.». С исправлениями — ВЕ, 1816, № 13, стр. 13—17, под заглавием «Послание И. М. М.»; «Сын отечества», 1816, № 29, стр. 106—108, под заглавием «Послание И. М. А.»; «Труды Общества любителей российской словесности», ч. 7, 1817, стр. 38—43, под заглавием «Поэт». Печ. по «Опытам», стр. 160—166. Об И. М. *Муравьеве-Апостоле* см. примеч. к посланию «К Дашкову», стр. 295. Мысль И. М. Муравьева-Апостола о влиянии на художника его «первых впечатлений» (см. три начальные строки стихотворения) Батюшков развивал и в статье «Нечто о поэте и поэзии» (1815), где он между прочим писал:

«Ничто не может изгладить из памяти сердца нашего первых сладостных впечатлений юности» (Соч., т. 2, стр. 123). *От милых лар своих отторженный пиит* — римский поэт Вергилий, живший при дворе императора *Августа.* Перед этим в стихотворении упоминается *Мантуа* (Мантуя) — город в Италии, родина Вергилия, и *Минций* — река Минчио, у берегов которой находится Мантуя. *Титир* — пастух, герой одной из эклог Вергилия (70—19 до н. э.), под именем которого поэт изобразил самого себя. *Кола* и *Уна* — реки в Архангельской губернии. *Наш Пиндар* — Ломоносов; Пиндар — см. стр. 266. *Мрежи* — сети. *«Дрожащий, хладный блеск полунощной Авроры. . .»* — мотивы неоконченной поэмы Ломоносова «Петр Великий». *Пальмира Севера* — Петербург. *Державин камские воспоминал дубравы.* Державин, который родился в Казани, ребенком жил в маленьком имении отца, находившемся в Казанской губернии, где протекает Кама. *Отчизны сладкий дым* — реминисценция из стихотворения Державина «Арфа»: «Отечества и дым нам сладок и приятен». *Царица светлых вод* — Волга; в имении отца, находившемся в Симбирской губернии у берегов Волги, родился И. И. Дмитриев. *Певец сибирского Пизарра* — И. И. Дмитриев, написавший романтическую балладу «Ермак» (1794), посвященную присоединению Сибири к России; Пизарро — испанский завоеватель Перу.

Мщение. Вольный перевод 9-й элегии Парни (кн. 4) «Toi, qu'importune ma présence. . .» Впервые — ВЕ, 1816, № 19—20, стр. 204—206. Печ. по «Опытам», стр. 35—38. В ВЕ и в БТ, куда вписано стихотворение под заглавием «Элегия из Парни», между стихами 36 и 37 находятся строки:

О, нега томная! Источник сладких слез!
При блесках молнии разгневанных небес

В БТ, помимо этого, между стихами 34 и 35 находятся стихи:

В объятиях любви, на ложе сладострастья
Покрытая дождем холодного ненастья

Батюшков в своем переводе сделал очень существенные отступления от оригинала Парни.

Вакханка. Впервые — «Опыты», стр. 175—176. Подготовляя новое издание «Опытов», Батюшков сначала зачеркнул стихотворение, но затем написал сбоку: «NB. Вычеркнуто ошибкою — печатать». Датировка «Вакханки» определяется тем, что в феврале 1815 г. стихотворение было внесено в БТ и, следовательно, по всей вероятности, написано в 1814 или 1815 г. Некоторые мотивы стихотворения восходят к 9-й картине цикла «Переодевания Венеры» Парни. Однако Батюшков очень далеко отошел от Парни. Так, если Парни заканчивает картину описанием грациозного танца, то Батюшков завершает стихотворение полной динамики погоней за красавицей. «Вакханка» пользовалась большой популярностью. В. Н. Олин писал о ее стихах: «Искусный живописец может воспользоваться оными как прекрасным идеалом для изображения

прелестной Вакханки» («Рецензент», 1821, № 10, от 9 марта, стр. 37). Стихотворение вызвало высокую оценку Белинского (см. Б., т. 7, стр. 228).

Последняя весна. Впервые — ВЕ, 1816, № 11, стр. 181—183. Печ. по «Опытам», стр. 72—74. Подражание известной элегии французского поэта Шарля Юбера Мильвуа (1782—1816) «La chute des feuilles». Батюшков характеризовал Мильвуа как «одного из лучших французских стихотворцев нашего времени» (см. на стр. 308 его примеч. к элегии «Гезиод и Омир — соперники»). П. А. Плетнев подчеркивал «совершенство» элегии, особенно по сравнению с переводом того же произведения Мильвуа, сделанным поэтом М. В. Милоновым («Сочинения и переписка П. А. Плетнева», т. 1. СПб., 1885, стр. 17). Белинский писал по поводу элегии: «Сколько души и сердца в стихотворении «Последняя весна», и какие стихи!» (Б, т. 7, стр. 237). Напротив, Пушкин считал элегию «неудачной» (П, т. 12, стр. 263), но тем не менее использовал ее мотивы в ряде своих произведений (например, в описании могилы Ленского в «Евгении Онегине»). *Филомела* — соловей. *Эпидавр* — древнегреческий город, в котором господствовал культ Эскулапа, бога врачебного искусства. *Гальциона* — чайка.

К друзьям. Впервые — «Опыты», стр. 3, в качестве посвящения 2-й части. Послание в феврале 1815 г. было собственноручно вписано Батюшковым в БТ как посвящение, с заголовком «Дмитрию Николаевичу Блудову». *Дедал* — древнегреческий лабиринт, названный по имени его строителя; здесь в значении: памятник, строение. *Пафос* — здесь: любовь. *На Пинде был чудак.* Батюшков часто называл себя поэтом-чудаком, имея в виду оригинальность своей личности и своего художественного творчества. В 1811 г. он писал Гнедичу: «Друг твой не сумасшедший, не мечтатель..., но чудак с рассудком» (Соч. т. 3, стр. 159); Пинд — здесь: поэзия. *Жил так точно, как писал.* Стараясь обосновать «науку» о жизни стихотворца, Батюшков утверждал: «Первое правило сей науки должно быть: живи как пишешь, и пиши как живешь» (Соч., т. 2, стр. 120).

Мой гений. Впервые — ССП, ч. 5, стр. 228. Элегия была приложена к письму Батюшкова к Е. Ф. Муравьевой от 11 августа 1815 г. (Соч., т. 3, стр. 340—344), в котором он говорил о своих отношениях с Анной Федоровной Фурман (1791—1850), воспитанной в доме Олениных (см. также вступ. статью, стр. 8). Как и следующее стихотворение, также приложенное к указанному письму, и стихотворения «Пробуждение» и «Воспоминания», элегия навеяна любовью поэта к А. Ф. Фурман. Пушкин охарактеризовал элегию словами: «Прелесть, кроме первых 4-х стихов» (П, т. 12, стр. 262). Положена на музыку М. И. Глинкой. *Память сердца.* В статье «О лучших свойствах сердца» Батюшков указал, что эти слова принадлежат Массье (1772—1846) — французскому педагогу (Соч., т. 2, стр. 142). Благодаря стихотворению Батюшкова это выражение стало необычайно популярным. Грибоедов и Катенин в 1817 г. спародировали его в комедии «Студент» (д. 1, явл. 8).

Разлука («Напрасно покидал страну моих отцов...»). Впервые — «Опыты», стр. 66—67. Печ. по ним с учетом правки ст. 8, сделанной Батюшковым при подготовке нового издания книги. Пушкин написал об элегии на полях «Опытов»: «Прелесть» (П, т. 12, стр. 263). *Тирас* — греческое название реки Днестр. В 1815 г. Батюшков жил в Каменец-Подольской губ., где протекает эта река.

Надпись к портрету графа Эммануила Сен-При. Впервые — «Сын отечества», 1816, № 12, стр. 216, под заглавием «Надпись к портрету графа Сен-Приеста». Печ. по «Опытам», стр. 205. *Сен-При* Эммануил Францевич (1776—1814) — генерал, французский эмигрант, поступивший на русскую службу и участвовавший в войнах против Наполеона. Особенно отличился в сражении под Аустерлицем и был смертельно ранен под Реймсом во время заграничного похода русской армии. Батюшков познакомился с Сен-При, по-видимому, в 1807 г., когда лечился от раны в Риге. Надпись была сочинена Батюшковым в Каменце по просьбе брата генерала, подольского губернатора графа К. Ф. Сен-При, и послана в письме к Жуковскому от середины декабря 1815 г. в двух вариантах, несколько отличающихся от печатной публикации, с просьбой спросить у арзамасцев, «как лучше» (Соч., т. 3, стр. 359—360). В письме Батюшков говорил о генерале Сен-При: «Этот герой достоин лучшей эпитафии. Истинный герой, христианин, которого я знал и любил издавна!» (там же, стр. 359). *Лилии отцов.* Лилия изображалась на гербе французской королевской фамилии Бурбонов, к роду которых принадлежал Сен-При. *Баярд* — Баяр Пьер дю Терайль (1476—1524) — французский полководец, считавшийся «рыцарем без страха и упрека». *Дюгесклин* (Дюгеклен) Бертран (1314—1380) — французский полководец, отличавшийся необыкновенной храбростью.

Таврида. Впервые — «Опыты», стр. 68—70. Печ. по ним с учетом правки последнего стиха («Потупя взор стоит, дивится и немеет»), сделанной Батюшковым при подготовке нового издания книги. *Таврида* — древнее название Крыма. Элегия написана Батюшковым в связи с тем, что во второй половине 1815 г. он собирался ехать в Крым. О путешествии в Крым Батюшков мечтал и в 1818 г. Тогда же он хотел начать работу над поэмой «Таврида»: «Собираю все материалы и собираюсь», — писал он А. И. Тургеневу (Соч., т. 3, стр. 534). Но поэт попал в Крым только в 1822 г., уже будучи душевнобольным. Русские поэты стали разрабатывать тему Тавриды еще в конце XVIII в. В 1798 г. С. С. Бобров выпустил поэму «Таврида, или Мой летний день в Таврическом Херсонисе». Но ближе всего к Батюшкову стояла трактовка темы Тавриды в поэзии В. В. Капниста (см. его стихотворение «Другу сердца», с аналогичной трактовкой темы Тавриды). В дальнейшем эту тему развил Пушкин, начавший в 1822 г. поэму «Таврида» и гениально изобразивший Крым в «Бахчисарайском фонтане». Элегия Батюшкова была одним из его любимых произведений. Он называл своего учителя «певцом Тавриды» (П, т. 11, стр. 186) и писал о его эле-

гии: «По чувству, по гармонии, по искусству стихосложения, по роскоши и небрежности воображения — лучшая элегия Батюшкова» (П, т. 12, стр. 263). *Пальмира Севера* — см. стр. 302. *Урну хладную вращая, Водолей.* Созвездие Водолея изображалось в виде человека, наливающего из сосуда воду в пасть рыбы. По свидетельству Пушкина, строфа, где упоминается Водолей, представляла собой «любимые стихи Бат<юшкова> самого» (П, т. 12, стр. 263).

Надежда. Впервые — «Опыты», стр. 9—10. Печ. по ним с учетом правки ст. 18, сделанной Батюшковым при подготовке нового издания книги. Некоторые выражения и образы элегии взяты из стихотворения Жуковского «Певец во стане русских воинов». Мистическое осмысление темы надежды было очень распространено в поэзии первого двадцатилетия XIX в. См. стихотворение в прозе Жуковского «К надежде» («Утренняя заря», кн. 1. М., 1800, стр. 18—21) и стихотворение с тем же названием Н. И. Тургенева («Дневники и письма Н. И. Тургенева», т. 1. СПб., 1911, стр. 22—23).

К другу. Впервые — «Опыты», стр. 101—105. Печ. по ним с учетом правки ст. 56, сделанной Батюшковым при подготовке нового издания книги. Обращено к П. А. Вяземскому. На полях «Опытов» Пушкин написал об этой элегии: «Сильное, полное и блистательное стихотворение... Звуки италианские! Что за чудотворец этот Б<атюшков>» (П, т. 12, стр. 267—268). *Фалерн* — фалернское вино, прославленное римскими поэтами; здесь — вино вообще. *Где дом твой, счастья дом?* Имеется в виду московский дом Вяземского, в котором часто собирались поэты, пострадавший в 1812 г. во время наполеоновского нашествия. *Веспер* — вечерняя звезда Венера. *Как в воздухе перо кружится здесь и там, Как в вихре тонкий прах летает* — перефразировка строк «Вечернего размышления о божием величестве, при случае великого северного сияния» Ломоносова (1743): «Как в сильном вихре тонкий прах, в свирепом как перо огне». *Риза странника* — слова из песни Жуковского «Путешественник» (1809).

Пробуждение. Впервые — ВЕ, 1816, № 11, стр. 183, с эпиграфом из Петрарки: «Cosi mi sveglio a salutar l'Aurora» («Так пробуждаюсь я, чтобы приветствовать зарю») (сонет 164 из цикла «Сонеты и канцоны, написанные при жизни Лауры»). Печ. по «Опытам». Отзыв Белинского см.: Б, т. 7, стр. 238.

Элегия. Первая часть элегии (55 стихов) впервые — «Опыты», стр. 30—32, под заглавием «Воспоминания», с подзаголовком «Отрывок» и с первой строкой точек; после ст. 55 также находилась строка точек, снова подчеркивающая «отрывочность» поэтического повествования. Печ. по изд.: «XXV лет. 1859—1884. Сборник, изданный обществом для пособия нуждающимся литераторам и ученым», СПб., 1884, стр. 201—204, где опубликовано по рукописному сборнику, принадлежавшему Жуковскому (ГПБ). Батюшков не

опубликовал стихотворения полностью по соображениям интимного характера: во второй части его (32 стиха) довольно откровенно говорилось о неразделенной любви поэта к А. Ф. Фурман. Текст «Опытов» имеет разночтения, кроме того, он на три стиха меньше соответствующего ему отрывка в рукописи: отсутствовали стихи 16 и 18—19. Батюшков не хотел, чтобы рукописи его любовных элегий, находящиеся у Жуковского, кем-нибудь читались. 27 сентября 1816 г. он писал Жуковскому: «Вяземский послал тебе мои элегии. Бога ради, не читай их никому и списков не давай, особливо Тургеневу. Есть на то важные причины, и ты, конечно, уважишь просьбу друга. Я их не напечатаю» (Соч., т. 3, стр. 404). Опущенное Батюшковым продолжение элегии показывает, что А. Ф. Фурман не разделяла чувства поэта. *Как лотос, силою волшебной врачевали.* По древнегреческому преданию, цветы лотоса давали забвение вкусившему их человеку (см. IX песнь «Одиссеи» Гомера). *Жувизи* — замок около Парижа. *Сейна* — река Сена. *В столице роскоши* — то есть в Париже, где в 1814 г. был Батюшков. *Ричмон* — городок, находящийся близ Лондона. *Троллетана* — водопад в Швеции.

Песнь Гаральда Смелого. Впервые — ВЕ, № 16, стр 257—258. Печ. по «Опытам», стр. 172—174. Вольный перевод древней северной песни, приписываемой конунгу и скальду *Гаральду,* ставшему впоследствии королем Норвегии (1015—1066); однако скорее всего песнь была создана в XIII в. Гаральд Смелый любил дочь киевского великого князя Ярослава Мудрого Елизавету и женился на ней в 1045 г. Жалобы Гаральда на равнодушие Елизаветы были чисто «литературными», так как она, по словам Карамзина, «не презирала его» («История государства Российского», т. 2, СПб., 1818, стр. 24 примеч.). «Песнь Гаральда Смелого» пользовалась большой известностью в России: ее переводили И. Ф. Богданович, Н. М. Карамзин и Н. А. Львов. Последний выпустил в 1793 г. отдельную брошюру под заглавием «Песнь норвежского витязя Гаральда Храброго», где русское переложение песни народным складом было помещено вместе с ее французским переводом, сделанным Меллетом для его «Истории Дании». Батюшков пользовался переводом песни из книги французского писателя Луи Маршанжи (около 1780—1826) «La Gaule poétique» <«Поэтическая Галлия»>, изданной в 8-ми частях в 1813—1817 гг. *Сиканская земля* — Сицилия. *Дронтгейм* — одна из северных областей Норвегии. *Полночь* — здесь: север.

Послание к Тургеневу («О ты, который средь обедов. . .»). Впервые — ПРП, ч. 6, стр. 234—237, с заглавием «К другу». Печ. по «Опытам», стр. 142—145, с учетом правки ст. 20, сделанной Батюшковым при подготовке нового издания книги. В «Опытах» фамилии Попов и Тургенев обозначены сокращенно: «. . .ов» и «Т. . .». Послание входит в качестве экспромта в письмо Батюшкова к А. И. Тургеневу от 14 октября 1816 г. (Соч., т. 3, стр. 405—406). Здесь после текста послания Батюшков так объясняет просьбу, обращенную в нем к Тургеневу: «Вдова Попова,

урожденная Молчанова, подала прошение в сословие призрения разоренных неприятелем чрез князя С. М. Голицына 27 апреля 1816. Сделайте что-нибудь для нее...» (там же, стр. 406). А. И. Тургенев действительно помог семье офицера, лишившейся имущества во время наполеоновского нашествия. В июне 1817 г. Батюшков писал Жуковскому: «Благодари Тургенева за Попову: он сделал доброе дело за вяленькие стихи» (там же, стр. 447). *Тургенев* — см. стр. 291.

К цветам нашего Горация. Впервые — «Опыты», стр. 204. *Наш Гораций* — поэт И. И. Дмитриев (см. о нем стр. 290), который, подобно римскому поэту Горацию, любил заниматься садоводством и сажал цветы около своего московского дома. По свидетельству племянника И. И. Дмитриева, Батюшков послал последнему стихотворение вместе с цветочными семенами (М. А. Дмитриев. Мелочи из запаса моей памяти. М., 1869, стр. 201).

«У Волги-реченьки сидел...». Впервые — «Русская литература», 1858, № 4, стр. 175—177, где опубликовано по автографу ПД. Работа над стихотворением не была доведена до конца. По мнению публикатора И. Голуба, стихотворение сочинено в 1813—1814 гг. и изображает русского солдата, который тоскует о родине за границей. Более правильным представляется другое толкование. По-видимому, Батюшков хотел изобразить солдата (может быть, беглого или инвалида), который, находясь в России, пробирается в родные места. В этом смысле и надо понимать слово «родина» в стихотворении, слово же «чужбина» обозначает здесь чужую сторону в России, далекую от мест рождения и жизни героя. Относим стихотворение предположительно к 1816—1817 гг., так как именно в это время Батюшков стал интересоваться фольклором; он просит Гнедича прислать ему русские сказки (Соч., т. 3, стр. 439) и собирается написать поэмы о Бове и «Русалка». К тому же периоду относится и его сочувственное высказывание о народных песнях в очерке «Вечер у Кантемира» (см. Соч., т. 2, стр. 232).

Гезиод и Омир — соперники. Вольный перевод элегии Мильвуа «Combat d'Homère et d'Hésiode». Впервые — «Опыты», стр. 91—100. Печ. по ним с учетом правки ст. 94, сделанной при подготовке нового издания (ст. 94 имеет еще одну редакцию на листе «Погрешностей и перемен»). Перепеч. с вариантами, происхождение которых неясно, в «Радуге» на 1833 г., стр. 246—255. При этом, как отметил Д. Д. Благой (изд. 1934, стр. 470—471), стих «Народов, гибнущих по прихоти царей» был изменен, вероятно по требованию цензуры, так: «Народов, гибнущих по прихоти своей». Как свидетельствует письмо Батюшкова к Гнедичу от 7 февраля 1817 г., он, по-видимому, сначала дал своей элегии заглавие «Бой Гезиода и Омира» («Отчет Публичной библиотеки за 1895 г.». СПб., 1898. Приложение, стр. 23). Батюшков находил элегию Мильвуа «прекрасной», подчеркивая, что она «дышит древностью» (письмо к Гнедичу от 27 ноября 1816 г., там же, стр. 16). В свой перевод он внес самостоятельные мотивы (см. о

них во вступ. статье, стр. 46). «„Гезиод“ кончен довольно счастливо», — сообщал он Вяземскому 14 января 1817 г. (Соч., т. 3, стр. 413). В «Опытах» Батюшков предпослал элегии следующее примечание, напечатанное перед текстом стихотворений (подготовляя второе издание книги, он вычеркнул его):

«Эта элегия переведена из *Мильвуа,* одного из лучших французских стихотворцев нашего времени. Он скончался в прошлом году в цветущей молодости. Французские музы долго будут оплакивать преждевременную его кончину: истинные таланты ныне редки в отечестве Расина.

Многие писатели утверждали, что Омир и Гезиод были современники. Некоторые сомневаются, а иные и совершенно оспаривают это предположение. Отец Гезиодов, как видно из поэмы «Труды и дни», жил в Кумах, откуда он перешел в Аскрею, город в Беотии, у подошвы горы Геликона. Там родился Гезиод. Музы, говорит он в начале «Феогонии», нашли его на Геликоне и обрекли себе. Он сам упоминает о победе своей в песнопении. Архидамий, царь Эвбейский, умирая, завещал, чтобы в день смерти его ежегодно совершались погребальные игры. Дети исполнили завещание родителя, и Гезиод был победителем в песнопении. Плутарх в сочинении своем «Пир семи мудрецов» заставляет рассказывать Периандра о состязании Омира с Гезиодом. Последний остался победителем и, в знак благодарности музам, посвятил им треножник, полученный в награду. Жрица Дельфийская предвещала Гезиоду кончину его; предвещание сбылось: молодые люди, полагая, что Гезиод соблазнил сестру их, убили его на берегах Евбеи, посвященных Юпитеру Немейскому.

Кажется, не нужно говорить об Омире. Кто не знает, что первый в мире поэт был слеп и нищий?

Нам музы дорого таланты продают!»

Батюшков относился к творчеству Гомера с восхищением. Приветствуя и поддерживая работу Гнедича над переводом «Илиады», он подчеркивал, что «любил всегда Гомера» (Соч., т. 3, стр. 41). *Гезиод* (VIII—VII вв. до н. э.) — древнегреческий эпический поэт, автор поэмы «Труды и дни», которая упоминается в элегии. *А. Н. О., любитель древности* — Алексей Николаевич Оленин (1763—1843), писатель, археолог и художник, с 1817 г. президент Академии художеств. Батюшков часто бывал в доме Оленина и сблизился с кругом его друзей; влиянием этого круга в значительной мере объясняется глубокий интерес Батюшкова к классической древности. Батюшков колебался, печатать ли посвящение Оленину, который, как ему казалось, сердится на него. Решить вопрос он предоставил Гнедичу (см. Соч., т. 3, стр. 421). Пушкин написал о стихотворении на полях «Опытов»: «Вся элегия превосходна — жаль, что перевод» (П, т. 12, стр. 267). *Халкида* — город на острове Эвбея. *Ристалище* — здесь: арена. *Аскрея* — греческий город, родина Гезиода. *Мелес* — речка близ Смирны; в гроте, находящемся около нее, Гомер, по преданию, сочинял свои поэмы. *Темпейская долина* — долина в Древней Греции, славившаяся своим плодородием. *Диана* — здесь: луна. *Стримон* — река на восточной границе Маке-

донии. *Юдоль* — здесь: земля. *Слепец всевидящий.* Гомер, по преданию, был слепым. *Ольмий* — мыс в Коринфии, известный в древности своим превосходным медом. *Страшись Эвбеи берегов.* Гезиод был убит на острове Эвбея, в местах, где находилось святилище Немейского Зевса (Немея — долина в Греции). *Убийца грозный* — Ахилл. *Сыны ахейские* — греки. *Самос* — остров в Эгейском море.

К портрету Жуковского. Впервые — ВЕ, 1817, № 3, стр. 183. Печ. по «Опытам», стр. 205. Написано по заказу М. Т. Каченовского, редактора журнала ВЕ. (Соч., т. 3, стр. 447). *Пред падшею столицей Он храбрым гимны пел.* Речь идет о стихотворении Жуковского «Певец во стане русских воинов», написанном в сентябре — начале октября 1812 г. в лагере у Тарутина, когда Москва еще была занята Наполеоном. В статье «Нечто о поэте и поэзии» (1815) Батюшков также говорил о том, что Жуковский «в стане воинов, при громе пушек, при зареве пылающей столицы, писал вдохновенные стихи, исполненные огня, движения и силы» (Соч., т. 2, стр. 123). *Тиртей* — древнегреческий поэт VII—VI вв. до н. э., автор патриотических песен, призывавших к военным подвигам. *Новый Грей* — Жуковский. В 1802 г. он перевел элегию «Сельское кладбище» английского поэта Томаса Грея (1716—1771). Этот перевод принес Жуковскому литературную известность.

Переход через Рейн. Впервые — «Русский вестник», 1817, № 5 и 6, прибавление к «Отечественным ведомостям», стр. 38—45. Печ. по «Опытам», стр. 231—241. Батюшков участвовал в переходе русских войск через Рейн (2 января 1814 г.), в результате которого они вступили во Францию. В письме к Гнедичу от января 1814 г. уже отражены настроения, воплотившиеся в этом стихотворении (см. Соч., т. 3, стр. 246). Дата под заглавием обозначает не время сочинения, а год перехода через Рейн. Датируется по письмам к Гнедичу от конца февраля — начала марта и к Вяземскому от 4 марта 1817 г. (там же, стр. 422 и 428). Пушкин заметил о «Переходе через Рейн» на полях «Опытов»: «Лучшее стихотворение поэта — сильнейшее и более всех обдуманное» (П, т. 12, стр. 283). *Герман* — Арминий (17 до н. э. — 21 н. э.), вождь древних германцев, сражавшихся с римлянами. *Кесарь* — Юлий Цезарь (102—44 до н. э.), римский император. *Тевтонские* — германские. *Лики* — хоры. *Аттила новый* — Наполеон. *Зарейнские сыны* — французы. *Улея* — река Улео в Финляндии. *Ангел мирный* — имеется в виду жена Александра I Елизавета Алексеевна, баденская принцесса Луиза (1779—1826), родившаяся на берегах Рейна. *Маккавеи* — еврейские вожди II в. до н. э., в данном случае — поборники веры и патриотизма.

«Тот вечно молод, кто поет...». Впервые — «Московский телеграф», 1827, № 3, стр. 92. Обращено к Василию Львовичу Пушкину (1770—1830), дяде А. С. Пушкина, известному поэту-карамзинисту, активному члену «Арзамаса»; входит в письмо Батюшкова к нему от первой половины марта 1817 г. *Буфлер* Станислав, маркиз (1737—1815) — французский поэт, автор изящных

эротических стихотворений. В первой редакции послания «В. Л. Пушкину» (1817) А. С. Пушкин назвал самого Батюшкова «русским Буфлером», очевидно имея в виду его любовную лирику, а также и то, что он, подобно Буфлеру, был военным. *Марот* — Маро Клеман (ок. 1496—1544), французский поэт, автор эпикурейских стихотворений; о нем Батюшков упоминает в «Речи о влиянии легкой поэзии на язык» (Соч., т. 2, стр. 239).

<В. Л. Пушкину> («Чутьем поэзию любя...»). Впервые — «Московский телеграф», 1827, № 3, стр. 93. Входит в то же письмо Батюшкова к В. Л. Пушкину от первой половины марта 1817 г. После стихов следуют слова: «Чего лучше? Предвещание муз сбылось, как видите». Батюшков был другом В. Пушкина и высоко ценил его поэму «Опасный сосед», находя, что она представляет собой «произведение изящное, оригинальное», в котором «много поэзии» (Соч., т. 3, стр. 128 и 132). В «Речи о влиянии легкой поэзии на язык» Батюшков указывал, что некоторые послания В. Л. Пушкина написаны «слогом чистым и всегда благородным» (Соч., т. 3, стр. 242). Однако в то же время Батюшков видел недостатки его довольно поверхностной поэзии. В письме к Вяземскому, относящемся к 1810 г., он говорил по поводу одного из посланий В. Л. Пушкина, что оно, «как и все его стихи, гладко и хорошо написано — а в мыслях связи нет никакой», и прибавлял: «Это его обыкновенный манер» (ЦГАЛИ). *И кофе жирный пить.* В. Л. Пушкин, известный своими чудачествами и отличавшийся завидным аппетитом, был постоянной мишенью насмешек для своих друзей.

Умирающий Тасс. Впервые — «Опыты», стр. 243—253. Печ. по ним с учетом правки ст. 38 и 40, сделанной Батюшковым при подготовке нового издания книги. Поэт хотел поместить элегию в начале «Опытов» — «на место» портрета, но потом решил, что «поместить можно будет в конце» (Соч., т. 3, стр. 417 и 421), что и сделал Гнедич, получивший стихотворение, когда книга уже печаталась (по этой причине оно не попало в раздел элегий). Прозаическое примечание к «Умирающему Тассу» заканчивалось строками, которые Батюшков вычеркнул, не желая, чтобы они попали в новое издание «Опытов»: «Да не оскорбится тень великого стихотворца, что сын угрюмого севера, обязанный «Иерусалиму» лучшими, сладостными минутами в жизни, осмелился принесть скудную горсть цветов в ее воспоминание». В этом примечании Батюшков использовал том 2 книги «О литературе Южной Европы» Симонда де Сисмонди (1773—1842) и том 5 «Истории итальянской литературы» французского поэта и критика Пьера Луи Женгене (1748—1816). Как раз в пору сочинения «Умирающего Тасса» Батюшков узнал из газет о смерти Женгене и писал по этому поводу Вяземскому: «Это меня очень опечалило. Я ему много обязан и на том свете, конечно, благодарить буду» (Соч., т. 3, стр. 431). Эпиграф — из трагедии Тассо «Торрисмондо» (д. 5). В письме к Вяземскому от 4 марта 1817 г. Батюшков заметил, что, работая над поэмой, он «перечитал все, что писано о несчастном Тассе, напитался „Иеруса-

лимом"» (Соч., т. 3, стр. 429), т. е., очевидно, перечитал и «Освобожденный Иерусалим». Об этом же он сообщил и в письме к Жуковскому от июня 1817 г. (там же, стр. 447). Одним из свидетельств повышенного интереса Батюшкова к личности Тассо в 1817 г. было то, что он перевел и напечатал в ВЕ «Письмо Бернарда Тасса к Порции о воспитании детей» (письмо отца поэта к его матери) (Соч., т. 2, стр. 282—287). Еще до окончания элегии Батюшков сообщил Вяземскому ее план: «а вот что Тасс: он умирает в Риме. Кругом его друзья и монахи. Из окна виден весь Рим и Тибр, и Капитолий, куда папа и кардиналы несут венец стихотворцу. Но он умирает и в последний <раз> желает еще взглянуть на Рим, «...на древнее квиритов пепелище» <неточная автоцитата>. Солнце в сиянии, потухает за Римом и жизнь поэта... Вот сюжет» (Соч., т. 3, стр. 429). В этом сюжете Батюшкова особенно волновала тема смерти, как вершина славы и злоключений поэта. Послав элегию друзьям, Батюшков получил от них замечания, сделанные по его просьбе; некоторые отверг, а некоторые учел при подготовке «Опытов». Считая элегию своим «лучшим произведением», Батюшков в письме к Гнедичу от 27 февраля 1817 г. утверждал: «И сюжет, и все мое. Собственная простота» (Соч., т. 3, стр. 419). Несмотря на это, Батюшков иногда высказывал об элегии довольно скептические суждения, что вызывалось прежде всего его обычной писательской мнительностью. Так, в письме к Гнедичу он заметил: «Я послал тебе «Умирающего Тасса», а сестрица послала тебе чулки; не знаю, что тебе более понравится, и что прочнее, а до потомства ни стихи, ни чулки не дойдут: я в этом уверен» (Соч., т. 3, стр. 437). Поэт выражал желание, чтобы тему смерти Тассо использовали русские художники. В начале июля 1817 г. он просил Гнедича: «Шепнул бы ты Оленину <президенту Академии художеств>, чтобы он задал этот сюжет для Академии. Умирающий Тасс — истинно богатый предмет для живописи. Не говори только, что это моя мысль: припишут моему самолюбию. Нет, это совсем иное! Я желал бы соорудить памятник моему полуденному человеку, моему Тассу» (Соч., т. 3, стр. 456—457). В самом конце своего творческого пути Батюшков сочинил еще какое-то произведение о Тассо: одну из его вещей, уничтоженных в 1821 г., перед помешательством, Жуковский обозначил словом «Тасс» (Соч., т. 1, стр. 294 в). Современники видели в элегии Батюшкова отражение его собственных страданий, а после того как он сошел с ума, и предчувствие трагического конца поэта. Вяземский называл душевнобольного Батюшкова «нашим Торквато» (стихотворение «Зонненштейн»). М. А. Дмитриев, свидетельствуя о том, что «Умирающий Тасс» был «любимым стихотворением» Батюшкова из его «собственных произведений», писал: «Странно, что это предпочтение как будто указывает на сходство судьбы двух поэтов и как будто было ее предчувствием!» («Мелочи из запаса моей памяти». М., 1869, стр. 196). По выражению Кюхельбекера, современники и более поздние критики Батюшкова «кадили ему за это стихотворение» «громкими похвалами» (В. К. Кюхельбекер. Дневник. Л., 1929, стр. 182). Его высоко оценили С. С. Уваров (ВЕ, 1817, № 23-24,

стр. 207) и П. А. Плетнев, написавший специальную статью об элегии («Сочинения и переписка П. А. Плетнева», т. 1. СПб., 1885, стр. 96—112). Однако В. В. Капнист, по совету которого Батюшков в 1808 г. стал переводить «Освобожденный Иерусалим», выразил недовольство тем, что Батюшков вместо продолжения перевода написал элегию о смерти Тассо. В послании к Батюшкову он писал:

Зачем великолепно Тасса
Решился вновь похоронить,
Когда средь русского Парнаса
Его ты мог бы воскресить?

Пушкин на полях «Опытов» писал: «Эта элегия конечно ниже своей славы... сравните «Сетования Тассо» поэта Байрона с сим тощим произведением. Тасс дышал любовью и всеми страстями, а здесь, кроме славолюбия и добродушия... ничего не видно. Это — умирающий В<асилий> Л<ьвович> — а не Торквато» (П, т. 12, стр. 283); Василий Львович — В. Л. Пушкин, умерший в 1830 г. (см. о нем стр. 309—310). Белинский отмечал в элегии «глубокое чувство» и «энергический талант» (Б, т. 1, стр. 166), однако позднее он, указывая на достоинства элегии, вместе с тем утверждал, что в ней присутствуют «надутая риторика» и «трескучая декламация» (Б, т. 7, стр. 251). Элегия была переведена на французский язык и вошла в «Русскую антологию», изданную Сен-Мором в 1823 г. В рецензии на нее в «Journal de Paris» (1824) «Умирающий Тасс» был отнесен к числу наиболее оригинальных произведений современной русской литературы. *Капитолий* — см. стр. 269. *Тибр* — река, протекающая через Рим. *Стогны* — площади. *Багряница* — одежда из ткани ярко-красного цвета, носившаяся царями и знатью в особо торжественных случаях. *Тимпан* — древний ударный музыкальный инструмент. *Певец Ерусалима* — Тассо, написавший поэму «Освобожденный Иерусалим». *Полуразрушенный, он видит грозный час.* Эпитетом «полуразрушенный» Батюшков в пору сочинения элегии характеризовал самого себя, что подчеркивает ее автобиографичность (см. Соч., т. 3, стр. 132). *Квириты* — официальное название граждан в древнем Риме. *Под небом сладостным Италии моей.* Батюшков в письме к Гнедичу от начала июля 1817 г. утверждал: «Вообще италианцы, говоря об Италии, прибавляют «моя». Они любят ее, как любовницу. Если это ошибка против языка, то беру на совесть» (там же, стр. 455). *Сорренто* — город в Италии, родина Тассо. *Асканий* — см. стр. 269; упоминание этого персонажа связано, видимо, с тем, что он потерял мать во время бегства из Трои; это соответствовало и биографии Тассо, лишившегося матери в возрасте десяти лет, и биографии самого Батюшкова, у которого рано умерла мать. *Весь* — селение, деревня. *Альфонсов дворец* — дворец феррарского герцога Альфонса II. *Сион* — иерусалимская крепость. *Иордан* — река в Палестине. *Кедрон* (Кидрон) — долина в Палестине близ Иерусалима. *Ливан* — горы в Сирии, покрытые могучими лесами. *Готфред* и *Рикальд* — крестоносцы, герои поэмы Тассо «Освобожденный Иерусалим». *Царь светил* — солнце. *Элеонора* — возлюбленная Тассо, сестра герцога Альфонса II.

Беседка муз. Впервые — «Сын отечества», 1817, № 28, стр. 63—64, с указанием на то, что стихотворение взято из печатавшихся тогда «Опытов», и с изложением условий подписки на все издание. Печ. по «Опытам», стр. 254—256. В мае 1817 г. Батюшков послал стихотворение Гнедичу из своего имения, села Хантонова, и писал, раскрывая его происхождение: «Я убрал в саду беседку по моему вкусу, в первый раз в жизни. Это меня так веселит, что я не отхожу от письменного столика, и веришь ли? целые часы, целые сутки просиживаю, руки сложа накрест» (Соч., т. 3, стр. 441). Гнедич сделал на автографе стихотворения ряд поправок, которые Батюшков в большинстве случаев принял и ввел в текст, напечатанный в «Опытах» (эти поправки опубликованы в изд. 1934, стр. 526). Пушкин на полях «Опытов» охарактеризовал «Беседку муз» словом: «прелесть» (П, т. 12, стр. 284). *Ему отважный путь за стаею орлов, Как пчелке, невозможен.* Батюшков использует здесь сравнения из стихотворения Капниста «Ломоносов», где герой его назван «орлом», а автор — «пчелкой», которой страшен «высокий... полет»; тот же капнистовский образ поэта-пчелки дан в последних строках окончательной редакции «Мечты».

К Никите. Впервые — «Опыты», стр. 199—201 (в оглавлении книги имеет заглавие «Послание к Н.»). Печ. по ним с учетом правки ст. 44 и перестановки ст. 33 и 34, сделанных Батюшковым при подготовке нового издания книги. *Никита* — Муравьев Никита Михайлович (1796—1843), троюродный брат Батюшкова, участник Отечественной войны, будущий видный член Северного общества декабристов, автор известной «Конституции». Батюшков относился к Никите Муравьеву с большой теплотой и высоко ценил его умственные и нравственные качества. В послании отмечена личная храбрость Никиты Муравьева, который, будучи гвардейским офицером, с благородной завистью относился к военной биографии Батюшкова. Говоря о том, что Батюшков «при победных восклицаниях» вошел в Париж, Никита Муравьев замечал: «А я не имел этого счастья... и не входил во Францию. Был в скучных блокадах и глупых перестрелках» (Н. Дружинин. Декабрист Никита Муравьев. М., 1933, стр. 72).

<С. С. Уварову>. Впервые — «Северные цветы на 1826 г.», СПб., 1826, стр. 4, с заглавием «К NN», в этой редакции стихотворение имеет форму прямого обращения к Уварову («*Ты* не утратил нежный вкус» и т. д.). Печ. по «Москвитянину», 1841, № 29, стр. 189—190 (статья «Село Поречье»), где опубликовано по экземпляру «Опытов», подаренному Батюшковым Уварову, на котором надписано стихотворение. Датировка стихотворения определяется тем, что «Опыты» вышли в свет во второй половине 1817 г. *Уваров* Сергей Семенович, граф (1786—1855) — литератор, член «Арзамаса», знаток классической древности; впоследствии — консервативный государственный деятель, президент Академии наук, министр народного просвещения, выдвинувший реакционную формулу «православие, самодержавие, народность». *Аполлонов конь* —

Пегас (греч. миф.). *Троя* — см. стр. 269. *Солим* — Иерусалим. *Аттика* — область Древней Греции с главным городом Афины.

Мечта (Окончательная редакция). Печ. по «Опытам», стр. 106—118. После первой публикации «Мечты» (см. стр. 262) Батюшков напечатал стихотворение с исправлениями в ВЕ, 1810, № 4, стр. 283—285. Поэт стал переделывать первую редакцию стихотворения, очевидно, в 1809 г., когда он писал Гнедичу, выражая недовольство некоторыми слабыми местами этого произведения: «Пришли мне замечания на «Мечту», хоть на лоскутке, иначе я на тебя буду сердит!» (Соч., т. 3, стр. 68). В 1810 г. Батюшков ввел новый отрывок из «Мечты» (песнь скальда) в статью «Картина Финляндии» (ВЕ, 1810, № 8, стр. 247—257). Статья вошла в 1-ю часть «Опытов» под заглавием «Отрывок из писем русского офицера о Финляндии». 26 июля 1810 г. Батюшков послал «Мечту» Жуковскому для напечатания в «Собрании русских стихотворений» (Соч., т. 3, стр. 99), где она и появилась в совершенно переработанном — по сравнению с первой редакцией — виде (ч. 5, М., 1811, стр. 323—331). Но хотя Батюшков сообщал Жуковскому о «Мечте»: «Я более ее трогать не намерен» (Соч., т. 3, стр. 100), он все-таки в том же 1811 г. продолжал переделывать стихотворение. Признавая, что в «Мечте» «плану вовсе нет», поэт писал Гнедичу 7 ноября 1811 г.: «Она напечатана с поправками, но я ее и еще раз переправил. Увидишь сам каково» (там же, стр. 150). При этом письме стихотворение в исправленном виде было послано Гнедичу, а в письме к нему же от 27 ноября — 5 декабря 1811 г. Батюшков просил: «Пришли мне замечания на «Мечту»: я ожидаю их с нетерпением, ибо имею в них нужду» (там же, стр. 162). Последние исправления в «Мечте» Батюшков сделал в 1817 г., подготовляя издание «Опытов». См. все эти варианты в изд. 1934, стр. 473—486. По собственному признанию Батюшкова, «Мечта» в редакции «Собрания русских стихотворений» понравилась «не всем» (Соч., т. 3, стр. 150), а Пушкин на полях «Опытов», куда вошла окончательная редакция «Мечты», дал целый ряд уничтожающих оценок: «детские стихи», «пошло» и т. п. и заметил: «Писано в молодости поэта. Самое слабое из всех стихотворений Батюшкова» (П, т. 12, стр. 269, 271—272). В то же время Пушкин находил в «Мечте» гармонические и даже прекрасные стихи (П, т. 12, стр. 268 и 271). О части имен и названий, упоминаемых в стихотворении, см. примеч. к его первой редакции, стр. 263. *Воклюз* — см. стр. 291. *Иснель* — герой оссианической поэмы Парни «Иснель и Аслега», отрывки из которой переводил Батюшков (см. примеч. к стихотворениям «Сон воинов» и «Скальд», стр. 284—285). *Биармия* — древняя северная область, находившаяся на берегу Белого моря; в ней развертывается действие многих скандинавских саг. *Елень* — олень. *Любовница Фаона* — Сафо, см. стр. 291. *Как часто в Тибуре* и т. д. Батюшков значительно расширил описание жизни Горация при переработке стихотворения для «Собрания русских стихотворений», стремясь создать контраст с сумрачным колоритом оссианической части «Мечты». 26 июля

1810 г. он писал Жуковскому: «Я к «Мечте» прибавил Горация; кажется, он у места, et il fera bon contraste avec le scalde» <«И сделает хороший контраст со скальдом»> (Соч., т. 3, стр. 100). Тибур — город близ Рима, в котором жил Гораций. *Глицерия* — возлюбленная Горация, к которой он часто обращался в своих стихах.

<Из греческой антологии>. Впервые — в брошюре «О греческой антологии». СПб., 1820. Печ. по ней с устранением трех последних строк 2-го стихотворения, явно представляющих собой вариант предшествующих трех стихов, ошибочно присоединенный к тексту. Подготовляя новое издание «Опытов», Батюшков написал на стр. 243 книги: «Прибавить переводы из антологии, уже напечатанные», а также приписал к оглавлению: «Переводы из антологии». Статья была подготовлена Батюшковым и С. С. Уваровым в 1817—1818 гг. для журнала, который предполагал издавать «Арзамас» (см. «Литературные воспоминания» Уварова за подписью «А. В.» в «Современнике», 1851, т. 27, № 5, стр. 38), но так как журнал не состоялся, вышла отдельной брошюрой. Ее издание выдержано в тонах литературной мистификации; Уваров и Батюшков, в частности, скрыли себя за своими арзамасскими именами: «Ст.» и «А.», то есть «Старушка» и «Ахилл». Не знавший греческого языка, Батюшков сделал для статьи переводы из антологии — сборника избранных стихотворений греческих поэтов, впервые напечатанного в конце XV в., — с французских переложений Уварова, которые тоже были помещены в статье. Статья в основном написана Уваровым, однако в ней, несомненно, отразились и мысли Батюшкова, хотя, конечно, невозможно точно определить долю участия поэта в ее сочинении. Посылая Вяземскому недавно вышедшую брошюру, А. И. Тургенев писал 25 февраля 1820 г.: «Вот тебе и еще гостинец от Уварова: русские стихи Батюшкова; я думаю, что и в прозе есть его помарки» («Остафьевский архив», т. 2. СПб., 1899, стр. 23). В статью, например, входит почти такое же рассуждение о национально-географической обусловленности искусства разных народов, какое дано в критическом очерке Батюшкова «Нечто о поэте и поэзии» (1815). И самый выбор стихотворений для статьи был, весьма возможно подсказан Уварову беседами с Батюшковым. 1-е стихотворение принадлежит Мелеагру Гадарскому (I в. до н. э.); 2-е — Асклепиаду Самосскому (около III в. до н. э.), 3-е — Гедилу (III в. до н. э.), 4-е и 5-е — Антипатру Сидонскому (III в. до н. э.), 6-е — неизвестному поэту, 7, 8, 9, 10, 11 и 12-е — Павлу Силенциарию (VII в. до н. э.). Источник 13-го стихотворения, не вошедшего в состав антологии, неизвестен. В 1825 г. его перевел Д. В. Дашков в качестве стихотворения древнегреческого поэта Феодорида («Северные цветы на 1825 г.». СПб., 1825). В брошюре Уваров объяснял содержание и смысл стихотворений. Так, о 5-м стихотворении он писал: «Поэт предполагает, что нереиды, дочери Океана, сетуя на развалинах величественного Коринфа, поют: «Где слава, где краса, источник зол твоих?». О 9-м стихотворении было сказано: «Поэт обращается

к постарелой красавице». О 13-м стихотворении говорилось в духе литературной мистификации: «Сверх сего, найдена еще на обверточном листе издаваемой нами рукописи следующая надгробная надпись, с греческого переведенная». *Стогны* — площади. *Коринф* — один из главных городов-государств Древней Греции, разоренный в 146 г. до н. э. римским консулом Муммием, более ста лет пролежавший в развалинах и отстроенный только в 44 г. до н. э. Юлием Цезарем. *Мусия* — мозаика. *Алкион* — морская птица.

К творцу «Истории государства Российского». Впервые — «Полярная звезда на 1824 г.». СПб., 1824, стр. 21—22. Послание входит в письмо Батюшкова к А. И. Тургеневу от сентября 1818 г. Автограф — в ПД. Батюшков в том же сентябре 1818 г. послал стихотворение «от имени неизвестного» Е. А. Карамзиной, жене автора «Истории государства Российского», подчеркивая, что он написал его «тронутый глубоко, восхищенный чтением» «Истории» (Соч., т. 3, стр. 470—471). Послание сочинено в связи с выходом в свет восьми томов «Истории государства Российского», поступивших в продажу в феврале 1818 г. В указанном письме к А. И. Тургеневу Батюшков восклицал: «Никто и не заикнется, что читал «Историю»! Я читал ее и говорю, хотя в дурных стихах. Это право из души вылилось» (Соч., т. 3, стр. 470). Батюшков слушал отрывки из истории Карамзина в чтении автора еще в 1811 г. С выходом в свет карамзинской истории поэт связывал свои литературные планы (см. там же, стр. 416). По-видимому, речь шла о работе над большой исторической поэмой с русским национальным сюжетом; см. письмо Батюшкова к Гнедичу от мая 1817 г., в котором говорится о замысле поэмы «Рюрик» (Соч., т. 3, стр. 439). В основу послания Батюшков положил рассказ из «Эмилиевых писем» М. Н. Муравьева о том, как греческий историк Геродот (ок. 484—425 до н. э.), прозванный «отцом истории», читал в присутствии более позднего греческого историка Фукидида (ок. 460 — ок. 400 до н. э.) свою «Историю греко-персидских войн». Батюшков воспроизвел даже некоторые выражения М. Н. Муравьева; в частности, у обоих авторов почти совпадало начало повествования; М. Н. Муравьев писал: «Когда Геродот читал историю свою на Олимпийских играх. . .» (М. Н. Муравьев. Соч., т. 1, СПб., 1847, стр. 148). *Ристанье* — см. стр. 301. *Скрижаль* — здесь: история.

Князю П. И. Шаликову. Впервые — «Новости русской литературы» (или «Прибавления к Русскому инвалиду»), 1822, кн. 2, № 17, стр. 61—62, со следующим примечанием Шаликова: «Предчувствую, с каким удовольствием читатели сих листков увидят стихи столь давно умолкшего любезного поэта, полученные мною перед отъездом его в Италию». Список послания имеется в альбоме Шаликова (ПД). Послание, где Шаликов назван «почтенным поэтом», вовсе не означало пересмотра Батюшковым своего насмешливого отношения к его творчеству, но было проявлением вежливости: Батюшков написал послание в связи с тем, что Ша-

ликов подарил ему свой перевод «Новых повестей» Жанлис (М., 1818), о чем и говорится в подзаголовке к стихотворению. Шаликов напечатал послание без разрешения Батюшкова, очевидно в целях саморекламы, чем вызвал возмущение Вяземского, понимавшего, что Батюшкову, решившему в это время прекратить литературную деятельность, будет неприятно появление его стихов в журнале. «Ну, как они попадутся ему? — писал Вяземский А. И. Тургеневу. — Что за неуважение такое и варварское насилие?» («Остафьевский архив», т. 2. СПб., 1899, стр. 296—297). Послание отражает намерение Батюшкова надолго покинуть родину. *Парнасские сестры* — музы (греч. миф.). *«В картузе с козырьком, с небритыми усами»* — цитаты из стихов поэмы В. Л. Пушкина «Опасный сосед», относящихся к ее герою Буянову, который упоминается в следующей строке послания. Те же стихи в связи с образом Буянова использованы в «Евгении Онегине» Пушкина (гл. 5). *Кастраты* — певчие в церковных хорах (капеллах).

Послание к А. И. Тургеневу («Есть дача за Невой...»). Впервые — «Памятник отечественных муз на 1827 г.», СПб., 1827, стр. 6—8, с заглавием «Послание к А. И. Т—ву». С изменениями — «Литературные прибавления к Русскому инвалиду», 1832, от 24 сентября, стр. 615. С заглавием «Мыза Приютино (А. Н. Оленина)» и без семи последних строк — «Русский вестник», 1871, № 10, стр. 615—616. Печ. по «Памятнику отечественных муз» с исправлением ст. 13 по «Русскому вестнику», так как в публикациях «Памятника» и «Литературных прибавлений» этот стих искажен. Написано под несомненным влиянием послания М. Н. Муравьева «К Феоне», где в очень близких тонах нарисовано времяпрепровождение на балтийской мызе. В батюшковском послании идет речь о Приютине — имении Олениных, находившемся в Парголове, в 17 верстах от Петербурга, где собирались поэты и художники. *Добрая Элиза И с ней почтенный муж* — А. Н. Оленин (см. о нем примеч. к стих. «Гезиод и Омир — соперники», стр. 308) и его жена Елизавета Марковна Оленина (урожденная Полторацкая). *Мечтает там Крылов.* Характеристика Крылова в послании почти совпадает с той, которая дана во втором варианте очерка Батюшкова «Похвальное слово сну» (1816), где говорится, что Крылов «пишет прелестные басни и комедии и необоримую леность свою умеет украшать прочнейшими цветами поэзии и философии» (Соч., т. 2, стр. 210). *Кипренский* Орест Адамович (1783—1836) — русский художник, нарисовавший в 1815 г. лучший портрет поэта. Батюшков познакомился с Кипренским в доме Олениных; он высоко оценил его мастерство в очерке «Прогулка в Академию художеств» (там же, стр. 110). *Вандик* — Антонис Ван-Дейк (1599—1641), фламандский живописец, портретист. *Тянислов* — персонаж комедии Крылова «Проказники», бездарный рифмоплет. По свидетельству Греча, под этим именем следует подразумевать шишковиста П. М. Карабанова, осмеянного Батюшковым и в «Певце в Беседе любителей русского слова» («Газетные заметки» Эрмиона. — «Северная пчела», 1857, от 8 июля). О *Балдусах* см. при-

меч. к эпиграмме «Всегдашний гость, мучитель мой...», стр. 328. И в данном случае Батюшков, несомненно, метил в писателей-шишковистов. *Писали, Забыв и вкус, и ум* — перефразированный стих из поэмы В. Л. Пушкина «Опасный сосед» («Ну, к черту ум и вкус! Пишите в добрый час!»). Этот стих, направленный против писателей-шишковистов, Батюшков цитировал в письме к Гнедичу от 29 мая 1811 г., утверждая, что поэма В. Л. Пушкина «не понравится гг. беседчикам» (Соч., т. 3, стр. 128).

«Ты пробуждаешься, о Байя, из гробницы...». Впервые — «Современник», 1857, т. 62, № 3, стр. 82, в качестве «отрывка из неизвестного стихотворения» К. Н. Батюшкова, написанного в Италии в 1819 г., который сохранился в памяти друзей поэта. По убедительному предположению Д. Д. Благого, произведение на самом деле имеет «совершенно законченный характер» (изд. 1934, стр. 543). *Байя* — старинный город близ Неаполя; во времена Римской империи в нем жила аристократия, построившая себе роскошные дворцы. Развалины древней Байи частью затоплены морем. Батюшков упоминал о своей поездке в Байю в письме к Карамзину от 24 мая 1819 г. (Соч., т. 3, стр. 557). Очевидно, около этого времени и было написано стихотворение.

«Есть наслаждение и в дикости лесов...». Вольный перевод строфы 178 4-й песни поэмы Байрона «Странствования Чайльд-Гарольда». Впервые — «Северные цветы на 1828 г.», СПб., 1828, стр. 23. М. Н. Лонгинов опубликовал в «Современнике», 1857, т. 62, № 3—4, стр. 82, его продолжение, являющееся переводом начала следующей, 179-й строфы:

Шуми же ты, шуми, огромный океан!
Развалины на прахе строит
Минутный человек, сей суетный тиран,
Но море чем себе присвоит?

Эти же строки входят и в текст стихотворения, напечатанного с вариантами в Полн. собр. соч. П. А. Вяземского (т. 9, СПб., 1884, стр. 86), с прибавлением еще одной, заключительной строки: «Трудися; созидай громады кораблей». Мы не ввели их в основной текст издания, так как они лишают стихотворение художественной законченности. Интерес к поэзии Байрона возник у Батюшкова, когда он находился на дипломатической службе в Италии. Получив письмо от Батюшкова из Италии, А. И. Тургенев так излагал его содержание в письме к Вяземскому в Варшаву от 7 января 1820 г.: «Итальянцы, как и вы же, висляне и невяне, переводят поэмы Байрона и читают их с жадностию». Несколько ниже А. И. Тургенев замечал: «Это сок письма Батюшкова. Следственно от севера до юга восхищаются Байроном» («Остафьевский архив», т. 2. СПб., 1899, стр. 5). Не владевший английским языком, Батюшков сделал свой перевод, по-видимому, с какого-то итальян-

ского переложения в июле — августе 1819 г (см. статью В. Комаровича «Пометки Пушкина в «Опытах» Батюшкова». — «Литературное наследство», № 16—18, М., 1934, стр. 902). Чувства и настроения поэта, отразившиеся в этом переводе, находят полное соответствие в строках письма Батюшкова к Жуковскому из Италии от 1 августа 1819 г.: «Природа — великий поэт, и я радуюсь, что нахожу в сердце моем чувство для сих великих зрелищ; к несчастию, никогда не найду сил выразить то, что чувствую...» (Соч., т. 3, стр. 559—560). Пушкин собственноручно списал перевод Батюшкова под заглавием «Элегия» (ПД) и, помимо этого, вписал его в свой экземпляр «Опытов» (Л. Майков. Пушкин. СПб., 1899, стр. 290—291). Белинский назвал его «прекрасной небольшой элегией» и поставил выше «водяного» перевода той же строфы «Странствований Чайльд-Гарольда», сделанного поэтом И. И. Козловым (Б, т. 7, стр. 239). Поэт А. Н. Майков писал, что знает этот перевод «наизусть от начала до конца», и причислял его к тем вещам, которые «имели главное и решающее влияние на образование моего слуха и стиха» (письмо А. Н. Майкова к П. Н. Батюшкову от 12 апреля 1887 г. — РС, 1887, т. 56, № 11, стр. 561).

Надпись для гробницы дочери Малышевой. Впервые — неисправно — «Сын отечества», 1820, № 35, стр. 83, с заглавием «Надгробие русскому младенцу, умершему в Неаполе». Печ. по Соч., т. 1, стр. 295 в. Публикация в «Сыне отечества» вызвала резкую полемику между привезшим эпитафию из Италии в Россию другом Батюшкова Д. Н. Блудовым и напечатавшим ее А. Ф. Воейковым (см. №№ 36 и 37 журнала). Появление эпитафии в печати вызвало недовольство и самого Батюшкова, возмущенного тем, что она была помещена в журнале без его ведома (см. письмо Батюшкова к Гнедичу от 26/14 августа 1821 г. — Соч., т. 3, стр. 570). Подготовляя новое издание «Опытов», Батюшков вписал стихотворение в свой экземпляр книги (стр. 256). *Малышева* — дочь сенатора П. П. Каверина, неаполитанская знакомая Батюшкова, по просьбе которой поэт написал эпитафию (см. Соч., т. 3, стр. 570). Через несколько месяцев после кончины дочери она умерла, и хорошо знавший ее С. И. Тургенев просил Батюшкова сочинить еще одну эпитафию (см. письмо А. И. Тургенева к Вяземскому от 8 сентября 1820 г. — «Остафьевский архив», т. 2. СПб., 1899, стр. 62). Но по всей вероятности, Батюшков ее не написал (см. там же, стр. 416).

Подражание Ариосту. Вольный перевод строфы 42 первой песни «Неистового Орланда» (без последних двух стихов). Подзаголовок представляет собой ст. 1 подлинника. Впервые — «Северные цветы на 1826 г.». СПб., 1826, стр. 63. Батюшков превратил отрывок из поэмы Ариосто в самостоятельное антологическое стихотворение, сократив октаву подлинника до шести строк.

Подражания древним. Впервые — «Русь», 1883, № 23, от 1 декабря, где напечатано с ошибками по экземпляру «Опы-

тов», в который Батюшков вписал стихотворения этого цикла, подготовляя новое издание книги (стр. 232, 242 и 243). Печ. по указанному автографу ГПБ. 3-е стихотворение цикла имеет в автографе дату: 2 июня 1821 г. В отличие от переводов «Из греческой антологии», этот цикл, по-видимому, вполне оригинален и лишь отражает мотивы античной лирики. *Понт* — море. *Йемен* — страна на юге Аравийского полуострова. *Амвра* (амбра) — пахучее вещество, применяющееся в парфюмерии. *Будь в счастьи — Сципион* — т. е. щади побежденных, как римский полководец Сципион Африканский Старший (ок. 235—183 до н. э.) при взятии Карфагена. *Петр* — русский император Петр I. Батюшкова увлекали личность Петра и одержанные им военные победы (см. Соч., т. 3, стр. 229 и 510).

«Жуковский, время всё проглотит...». Впервые — РС, 1887, т. 54, № 4, стр. 240, с предположительной атрибуцией Батюшкову. Позднее, в качестве неизвестного стихотворения Батюшкова, — «Сборник статей в честь Д. Ф. Кобеко», СПб., 1913, стр. 237—238 (публикация И. А. Бычкова). Стихотворение было вписано Батюшковым в начале ноября 1821 г. в альбом Жуковского, когда он встретился с последним в Дрездене, будучи уже в очень тяжелом и подавленном состоянии. В автографе под стихотворением выставлена дата: «Дрезден, 1821 г., à la ville de Berlin», т. е. гостиница «Stadt Berlin» <«Город Берлин»>, где жил Жуковский, причем год написан, вероятно, рукой Жуковского (ГПБ). Стихотворение представляет собой своеобразное соединение поэтических мотивов Державина и Жуковского. Его первое двустишие восходит к последнему произведению Державина — «Река времен в своем стремленьи...» (1816). Затем Батюшков переходит к мотивам, характерным для Жуковского, рассматривая побуждения, ведущие к «благу», как незыблемую, вечную ценность. Ср. стихи Жуковского: «Останутся нетленны Одни лишь добрые дела. Ничто не может их разрушить, Ничто не может их затмить» («Добродетель», 1798). *Плетаев* — иронически переиначенная фамилия поэта и критика, впоследствии профессора и академика, Петра Александровича Плетнева (1792—1865). Плетнев был страстным поклонником Батюшкова, писал стихи в его духе («К Баратынскому», 1822, и др.) и посвятил его творчеству ряд статей («Элегия Батюшкова „Умирающий Тасс"», 1822, и др.; см.: П. А. Плетнев. Сочинения и переписка, т. 1. СПб., 1885, стр. 96—112). В 1821 г. Плетнев из самых лучших побуждений напечатал в № 8 «Сына отечества» стихотворение «Б<атюшко>в из Рима (элегия)», которое появилось без подписи благодаря А. Ф. Воейкову, желавшему показать, что Батюшков сотрудничает в журнале. Стихотворение было принято многими, в частности Карамзиным, за произведение самого Батюшкова, тем более что оно представляло собой мозаику из образов батюшковских стихотворений («Разлуки», «Моего гения», «Моих пенатов» и др.). «Не ошибись и ты, подобно Карамзину, — писал А. И. Тургенев Вяземскому 23 февраля 1821 г., — стихи в «Сыне отечества» не Батюшкова, а здешнего его представителя» («Остафьевский

архив», т. 2. СПб., 1899, стр. 169). Элегия Плетнева вызвала страшное негодование Батюшкова, уже начинавшего обнаруживать признаки психической болезни. Он послал Гнедичу письмо — «Гг. издателям «Сына отечества» и других русских журналов», в котором заявлял, что элегия принадлежит не ему и что он «навсегда покинул перо автора» (Соч., т. 3, стр. 568). Гнедич этого письма не напечатал. Плетнев попытался спасти положение тем, что вскоре опубликовал в том же «Сыне отечества» надпись «К портрету Батюшкова» (1821, № 24), в которой опять-таки использовал батюшковские образы (стихотворений «Таврида», «Странствователь и домосед» и др.), но она возбудила еще больший гнев поэта: «Нет, не нахожу выражений для моего негодования: оно умрет в моем сердце, когда я умру», — писал он Гнедичу и с возмущением говорил о надписи, «недавно соплетенной» Плетневым к его портрету (Соч., т. 3, стр. 570, 571). В своих письмах этой поры Батюшков, как и в стихотворении, обращенном к Жуковскому, часто называл Плетнева — Плетаевым (см. там же, стр. 567 и др.). «Батюшков прав, что сердится на Плетнева, — писал Пушкин брату 4 сентября 1822 г. из Кишинева. — На его бы месте я с ума сошел от злости. «Б<атюшко>в из Рима» не имеет человеческого смысла...» (П, т. 13, стр. 46). Плетнев, которому было показано это письмо, отвечал в 1822 г. Пушкину посланием, начатым словами: «Я не сержусь на едкий твой упрек...» (см.: П. А. Плетнев. «Сочинения и переписка», т. 3. СПб., 1885, стр. 276—279). В связи с этим Пушкин набросал письмо Плетневу, известное нам только в черновике, относящемся к ноябрю — декабрю 1822 г. Здесь, между прочим, говорилось: «Батюшков, не будучи доволен твоей элегией, рассердился на тебя за ошибку других, — а я рассердился после Батюшкова» (П, т. 13, стр. 53).

«Ты знаешь, что изрек...». Впервые — «Библиотека для чтения», 1834, № 2, стр. 18, под заглавием «Изречение Мельхиседека», с разночтением ст. 6: «Зачем он шел дорогой скорбной слез». В качестве неопубликованного произведения — РС, 1884, т. 42, № 4, стр. 220, под рубрикой: «Константин Николаевич Батюшков. Предсмертное его стихотворение», с примечанием публикатора, поэта А. И. Подолинского: «Кто мне сообщил это стихотворение, не помню. Сообщавший утверждал, что оно, уже по смерти поэта К. Н. Батюшкова, было замечено на стене, будто бы написанное углем». В ПД имеется список стихотворения рукой Подолинского с примечанием к нему. В альбоме П. Н. и С. Н. Батюшковых (ГПБ) есть автограф стихотворения без заглавия с подписью: «Батюшков. 1821». Печ. по изд. 1934, стр. 189, где дан текст этого автографа. Вопрос о датировке стихотворения является весьма запутанным и сложным. В автографе стоит 1821 г. Но свидетельства некоторых современников указывают на другие даты. Список стихотворения из архива кн. А. М. Горчакова снабжен его пометой: «Последние стихи К. Н. Батюшкова, писанные в 1823 г.» (изд. 1934, стр. 548—549). 21 августа 1824 г. А. И. Тургенев сообщал

Вяземскому из Петербурга: «На сих днях Батюшков читал новое издание Жуковского сочинений, и когда он пришел к нему, то он сказал, что и сам написал стихи. Вот они...». Дальше следует текст так называемого «Изречения Мельхиседека» («Остафьевский архив», т. 3. СПб., 1899, стр. 22). Отметим в связи с этим, что в том же альбоме П. Н. и С. Н. Батюшковых имеется список стихотворения, сделанный Жуковским. Кроме того, Жуковский написал его под портретом Батюшкова (см. этот портрет в Соч., т. 2). Возможно, что Батюшков сочинил стихотворение в 1824 г. или в 1823 г., когда его психическая болезнь была в разгаре, и ошибочно поставил под автографом 1821 г. (характерно, что в нем есть явные описки: «жизнью» вместо «жизнию», «родиться» вместо «родится»). Но возможно, что Батюшков действительно написал стихотворение в 1821 г. и через три года, в 1824 г., лишь повторил Жуковскому свое старое произведение, назвав его новым. Ввиду этого общепринятую датировку (1821 г.) считаем предположительной. *Мельхиседек* (Мелхиседек) — лицо, упоминаемое в Библии. Комментаторы сочинений Батюшкова, поясняя это стихотворение, обычно ссылались на Ветхий завет (книгу Бытия), где рассказывается о том, как царь Салима — священник Мелхиседек благословляет Авраама. Однако гораздо больше оснований связывать замысел стихотворения с Новым заветом (послание апостола Павла к евреям). Мелхиседек здесь характеризуется как «царь мира», «по знаменованию имени — царь правды», как прообраз Христа. Воплощая мудрость, Мелхиседек изображен в послании как человек с трагической судьбой: «Без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь сыну божию, пребывает священником навсегда». О несчастиях Мелхиседека создавались апокрифы; так, большое распространение получило «Слово», приписываемое Афанасию Александрийскому, где рассказывалось о том, как во время землетрясения погиб весь род Мелхиседека (И. Порфирьев. Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах и событиях. Казань, 1872, стр. 117—118). Неизвестно, знал ли Батюшков этот апокриф, но в пору душевного кризиса он делал выписки из Библии (см. его записную книжку «Чужое — мое сокровище». — Соч., т. 2, стр. 314, 352—353), а подготовляя новое издание «Опытов», внес в книгу название произведения «Псалмы» (правда, оно было потом зачеркнуто). Благочестиво настроенные современники Батюшкова воспринимали стихотворение как антирелигиозное произведение, ввиду того что в нем ставилась под сомнение загробная жизнь. В списке стихотворения, сделанного рукою А. А. Воейковой в ее альбоме, стих: «И смерть ему едва ли скажет» был даже заменен другим, более «ортодоксальным»: «И смерть одна ему лишь скажет» (ПД). По этому поводу П. Н. Батюшков, издававший сочинения поэта, писал Л. Н. Майкову: «Хотя последнее и более религиозно, думаю, однако, что это ошибка или описка» (ПД).

«Ты знаешь, что изрек...» — очевидно, последнее произведение Батюшкова. Кроме того, до нас дошло два его стихотворения, написанные во время душевной болезни. Приводим их:

Подражание Горацию

Я памятник воздвиг огромный и чудесный,
Прославя вас в стихах: не знает смерти он!
Как образ милый ваш и добрый и прелестный
(И в том порукою наш друг Наполеон)
Не знаю смерти я. И все мои творенья,
От тлена убежав, в печати будут жить:
Не Аполлон, но я кую сей цепи звенья,
В которую могу вселенну заключить.
Так первый я дерзнул в забавном русском слоге
О добродетели Елизы говорить,
В сердечной простоте беседовать о боге
И истину царям громами возгласить.
Царицы царствуйте, и ты, императрица!
Не царствуйте цари: я сам на Пинде царь!
Венера мне сестра, и ты моя сестрица,
А кесарь мой — святой косарь.

Это стихотворение, являющееся на самом деле подражанием «Памятнику» Державина и представляющее собой сумбурный набор предложений входит в письмо Батюшкова к А. Г. Гревенс от 8 июля 1826 г. Впервые — РС, 1883, № 9, стр. 551. Автограф — в ПД. В письме также есть сделанный Батюшковым прозаический перевод стихотворения на французский язык. В хранящихся в ЦГАЛИ «Подробных сведениях о последних днях Константина Николаевича Батюшкова» А. Власова приводятся русский и французский тексты стихотворения и сообщается, что Батюшков написал его в 1852 г. «по просьбе своей племянницы для ее альбома на голубом золотообрезном листочке». Таким образом, Батюшков не забыл свое стихотворение, сочиненное в 1826 г., четверть века назад, и «повторил» его как новое произведение.

**Надпись к портрету графа Буксгевдена шведского и финского.
Та же надпись к образу Хвостова-Суворова**

Премудро создан я, могу на Вас сослаться:
Могу чихнуть, могу зевнуть;
Я просыпаюся, чтобы заснуть,
И сплю, чтоб вечно просыпаться.

14-го мая 1853 года
Вологда, Вологодская удельная контора,
квартира г. Гревенса

Надпись впервые опубликована в той же книге РС, где появилось «Подражание Горацию», стр. 552. С вариантами — Соч., т. 3, стр. 593. Автограф — в ПД. Печ. по этому автографу, который несколько отличается от текста РС. *Буксгевден* Федор Федорович (1750—1811) был русским генералом, главнокомандующим в войне со шведами 1808 г., очистившим Финляндию от неприятеля. Батюш-

ков вспомнил его, так как принимал участие в этой войне. *Хвостов-Суворов* — поэт-шишковист Д. И. Хвостов, который был женат на племяннице Суворова (княжне Горчаковой) и именно в связи с этим курьезнейшим образом получил титул графа от сардинского короля Карла-Эммануила, впоследствии утвержденный Александром I (еще в 1811 г. Батюшков в письме к Гнедичу иронически называл Хвостова «Суворовым-профессором» — см. Соч., т. 3, стр. 142). На квартире своего племянника Г. А. Гревенса Батюшков жил в Вологде с 1833 г. до самой смерти.

Наконец, сохранились еще две стихотворные строки, относящиеся к периоду психической болезни Батюшкова:

Всё Аристотель врет! Табак есть божество:
Ему готовится повсюду торжество.

Эти строки, опубликованные в Соч., т. 3, стр. 594 по списку с автографа, находившегося в библиотеке Варшавского университета, являются вольным переводом начала комедии французского драматурга Тома́ Корнеля (1625—1709), брата Пьера Корнеля, «Дон-Жуан, или Каменный гость» — стихотворного переложения комедии Мольера с тем же заглавием.

МЕЛКИЕ САТИРИЧЕСКИЕ И ШУТОЧНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

Перевод Лафонтеновой эпитафии. Перевод стихотворения «Jean s'en alla comme il était venu...», написанного самим Лафонтеном «на случай» собственной смерти. Впервые — Соч., т. 1, стр. 13 в, по СТ.

«Безрифмина совет...». Впервые — «Журнал российской словесности», 1805, № 11, стр. 157. Печ. по ВЕ, 1810, № 4, стр. 286. В «Опыты» не вошло. Под *Безрифминым* в данном случае, вероятно, подразумевается не С. С. Бобров (отзывы последнего о творчестве Батюшкова неизвестны), а какой-то другой поэт, который враждебно относился к произведениям Батюшкова и которого последний считал плохим стихотворцем.

<Н. И. Гнедичу> («Ужели слышать всё докучный барабан?..»). Впервые — РС, 1870, т. 1, № 1, стр. 66. Входит в письмо Батюшкова к Гнедичу из Нарвы от 2 марта 1807 г. Перед стихами Батюшков просит Гнедича писать ему «хоть в стихах» и прибавляет: «Музы меня совсем оставили за Красным Кабаком. Дай хоть в Риге услышать отголосок твоего песнопения». После стихов следуют слова: «Вот тебе impromptu <экспромт>. Лучше не умею и не хочу» (Соч., т. 3, стр. 6). Это стихотворение написано Батюшковым во время похода в Восточную Пруссию. *Ареев вздел кафтан* — т. е. надел военный мундир.

«Как трудно Бибрису со славою ужиться!..». Впервые — «Цветник», 1809, № 9, стр. 372, вместе с «Мадригалом новой Сафе» под общим названием «Эпиграммы». Печ. по «Опытам», стр. 202. Обе эпиграммы, а также эпиграммы «Книги и журналист», «Эпиграмма на перевод Вергилия» и, по-видимому, «Мадригал Мелине, которая называла себя нимфою» были посланы Батюшковым Гнедичу для помещения в «Цветнике» при письме от 19 августа 1809 г. (см. Соч., т. 3, стр. 40). Из нового издания «Опытов» Батюшков предполагал эту эпиграмму исключить. *Бибрис* — вероятно, поэт С. С. Бобров. Он часто осмеивался в сатирических произведениях карамзинистов под этим именем (от латинского bibere — пить), намекавшим на его любовь к выпивке.

Мадригал новой Сафе. Впервые — «Цветник», 1809, № 9, стр. 372, под заглавием «Хлое — сочинительнице». С исправлением ст. 1 — ВЕ, 1810, № 5, стр. 32. Печ. по «Опытам», стр. 203. Мадригал, в сущности являющийся эпиграммой, направлен против примыкавшей к шишковистам поэтессы А. П. Буниной. *Фаон* — см. стр. 291.

Книги и журналист. Впервые — «Цветник», 1809, стр. 366, под заглавием «Крот и мышь». Печ. по изд. 1934, стр. 225, где дан текст БТ с принятым нами заглавием. Издававший «Опыты» Гнедич хотел ввести в них эту эпиграмму, но Батюшков исключил ее из книги (Соч., т. 3, стр. 421). Эпиграмма тематически связана с эпиграммой французского поэта Алексиса Пирона (1689—1773) «Eh! supprime tes sots écrits...», направленной против писателя и журналиста аббата Пьера Дефонтена-Гюйо (1685—1745).

Эпиграмма на перевод Вергилия. Вольный перевод эпиграммы «Le puissant dieu des vers loin du sacré vallon...» французского поэта, драматурга и историка литературы Жана-Луи Лайа (1761—1833), написанной на перевод «Энеиды» Вергилия. Впервые — «Цветник», 1810, № 1, стр. 99, вместе с четырехстишием Гнедича под общим заглавием «Эпиграммы». В «Опыты» не вошло. Батюшков «переадресовывает» эпиграмму, направляя ее против А. Ф. Мерзлякова, который в 1807 г. выпустил отдельной книгой свои переводы «Эклог» Вергилия.

Мадригал Мелине, которая называла себя нимфою. Впервые — «Опыты», стр. 207.

Эпитафия. Впервые — ВЕ, 1810, № 10, стр. 126. С разночтением ст. 2 — РС, 1871, т. 3, № 2, стр. 229—230. Входит в письмо Батюшкова к Гнедичу от конца ноября 1809 г. В письме перед «эпитафией» следующие слова: «Умру и стихи со мной», а после нее слова: «Вот моя эпитафия» (Соч., т. 3, стр. 62). В «Опыты» не вошло. Печ. по ВЕ.

«Известный откупщик Фадей...». Впервые — ВЕ, 1810, № 10, стр. 127. Вошла без изменений в «Опыты», стр. 202, но, как и две следующие эпиграммы, была по желанию Батюшкова вырезана из напечатанной книги и осталась только в некоторых экземплярах.

«Теперь, сего же дня...». Впервые — ВЕ, 1810, № 10, стр. 126. Печ. по «Опытам», стр. 202.

Истинный патриот. Впервые — «Цветник», 1810, № 6, стр. 360, под заглавием «Рыцарь нашего времени». Печ. по «Опытам», стр. 199. В эпиграмме осмеян чисто внешний, показной «патриотизм», характерный для известной части русского дворянства времен войн с Наполеоном. Впоследствии, в 1812 г., Батюшков возмущался таким патриотизмом, соединяемым с французскими привычками, в письмах из Нижнего Новгорода, где он мог наблюдать нравы эвакуировавшейся сюда дворянской Москвы: «Везде слышу вздохи, вижу слезы — и везде глупость. Все жалуются и бранят французов по-французски, и патриотизм заключается в словах: «point de paix!» <«ни в коем случае не заключать мира»> (Соч., т. 3, стр. 206). Эпиграмма перекликается с антишишковистскими произведениями Батюшкова, где также осмеиваются приверженцы старины. *Филарет* (1550-е гг. — 1633) — патриарх, отец царя Михаила Федоровича. *Ферязь* — старинная верхняя одежда. *Сальмис* — французское кушанье.

Сравнение. Впервые — ВЕ, 1810, № 14, стр. 124, под заглавием «Сравнение двух полководцев». Печ. по изд. 1934, стр. 230, где впервые дан точный текст редакции БТ. В «Опыты» не вошло. Эпиграмма, возможно, навеяна известной сатирой Кантемира «На зависть и гордость дворян злонравных» (1730), где сонливость и лень дворянина Евгения иронически сравнивается с предприимчивостью его предков, встречавших зарю на поле битвы.

Из антологии. Перевод стихотворения древнегреческого поэта Антипатра Фессалоникского (I в. до н. э. — I в. н. э.), сделанный по переложению Вольтера на французский язык («Sur les sacrifices à Hercule»). Впервые — ВЕ, 1810, № 14, стр. 24. В «Опыты» не вошло. Печ. по изд. 1934, стр. 231, где воспроизведен текст БТ, дающий новую, ярко сатирическую концовку стихотворения (в частности, слово «Алкид» в тексте ВЕ заменено здесь словом «бог»). Батюшков не опубликовал эту концовку, рисующую алчность бога, очевидно, по цензурным соображениям, хотя стихотворение печ. в различных изданиях еще в 1811, 1814 и 1817 гг. (а также в 1822 и 1828 гг.). Вольтер привел эпиграмму в своем «Философском словаре» (1764), разоблачающем обскурантизм и схоластику, в качестве иллюстрации к статье об эпиграмме.

К Маше. Впервые — ВЕ, 1810, № 4, стр. 286. С изменениями — «Собрание русских стихотворений», ч. 5. М., 1811, стр. 228.

Печ. по ССП, ч. 5, стр. 229. В «Опыты» не вошло. Адресат неизвестен. Начало стихотворения воспроизводит форму обращения архангела Гавриила к деве Марии в Евангелии. Вероятно, этот прием подсказан Батюшкову началом стихотворения И. И. Дмитриева, которое тоже имело заглавие «К Маше» и было сочинено не позднее 1805 г.:

Я не архангел Гавриил,
Но воспоен пермесским током,
От Аполлона быть пророком
С издетства право получил.
И так внимай, новорожденна,
К чему ты здесь определенна...

Первые две строки стихотворения Батюшкова были использованы в пушкинской «Гавриилиаде»:

О, радуйся, невинная Мария!
Любовь с тобой, прекрасна ты в женах...

На перевод «Генриады», или Превращение Вольтера. Впервые — «Цветник», 1810, № 2, стр. 229—230. В «Опыты» не вошло. Батюшков послал эту эпиграмму редактору «Цветника» А. Е. Измайлову в письме от начала 1810 г. (Соч., т. 3, стр. 74). По предположению Л. Н. Майкова, эпиграмма вызвана слабым переводом поэмы Вольтера «Генриада», изданным в 1803 г. Иваном Сиряковым. Это предположение отчасти подтверждается сходством пародийной фамилии Ослякова с фамилией Сирякова. *Певец бессмертной Габриели* — Вольтер, сделавший любовницу французского короля Генриха IV, Габриель д'Эстре (1570—1599), одной из героинь своей «Генриады».

<П. А. Вяземскому> («Льстец моей ленивой музы!..»). Впервые — изд. 1934, стр. 228. Входит в неопубликованное письмо Батюшкова к Вяземскому, которое не датировано, но, несомненно, относится к концу декабря 1809 г. — первым месяцам 1810 г., ко времени пребывания Батюшкова в Москве, где он познакомился с Вяземским (ЦГАЛИ). Послание вызвано восторженными отзывами Вяземского о «Видении на берегах Леты». Отзыв такого же характера дан и в приписке Вяземского, сопровождающей письмо Батюшкова к Гнедичу, от конца апреля 1811 г., где Вяземский утверждает, что «Видение на берегах Леты» «смешнее» его собственных сатирических стихов, о которых Батюшков писал, что они «очень остры и забавны» (Соч., т. 3, стр. 121). *Иордан* — река в Палестине, в водах которой, по евангельской легенде, был крещен Иисус.

Совет эпическому стихотворцу. Впервые — «Опыты», стр. 203. Эпиграмма осмеивает растянутую тяжеловесную поэму писателя-шишковиста С. А. Ширинского-Шихматова «Петр Ве-

ликий, лирическое песнопение в 8 песнях», напечатанную в 1810 г. В письме к Гнедичу от 1 апреля 1810 г. Батюшков иронически замечал, что это лирическая поэма «в 300 листов ..., о которой никто еще с сотворения мира понятия не имел», и прибавлял: «Нет, эта лирика меня бесит!» (Соч., т. 3, стр. 85—86). Батюшков осмеивал Шихматова также в других своих стихотворениях: «Видение на берегах Леты», «Певец в Беседе любителей русского слова», «П. А. Вяземскому» («Я вижу тень Боброва...») и др.

Надпись к портрету Н. Н. Впервые — «Собрание русских стихотворений», ч. 5, М., 1811, стр. 216, под заглавием «К портрету —вой». Печ. по «Опытам», стр. 209. Из нового издания «Опытов» Батюшков собирался эту надпись исключить. Адресат стихотворения неизвестен.

<На членов Вольного общества любителей словесности>. Впервые — РА, 1883, т. 1, стр. 230. Входит в письмо Батюшкова к Дашкову от 9 августа 1812 г. Направлено против членов «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств», деятельность которого в это время приобрела мелочный, несерьезный характер. В письме, содержащем стихи, последним предшествуют слова: «Поговорить ли с вами о нашем обществе, которого члены все подобны Горациеву мудрецу или праведнику, все спокойны и пишут при разрушении миров» (Соч., т. 3, стр. 199). Батюшков здесь имеет в виду начало Отечественной войны 1812 г. *Солнцев дом* — выражение из надписи Державина «На освящение Эрмитажного театра 28 января 1808 г.», которое Батюшков, очевидно, считал неудачным.

«Всегдашний гость, мучитель мой...». Перевод эпиграммы французского поэта Экушара Лебрена (1729—1807) «O, la maudite compagnie...». Впервые — «Опыты», стр. 202. *Балдус* — ироническое прозвище тупого и глупого писателя-педанта, применявшееся поэтами-карамзинистами для осмеяния своих литературных противников. В. Л. Пушкин называл так Шишкова в своем «Послании к В. А. Жуковскому». Ср. «Послание А. И. Тургеневу», стр. 236. Возможно, что Батюшков направлял эпиграмму против какого-то писателя-шишковиста.

На поэмы Петру Великому. Впервые — ПРП, ч. 4, стр. 274, без подписи. Авторство Батюшкова устанавливается его письмом от конца февраля — начала марта 1817 г. к Гнедичу, где поэт просит его не включать эпиграмму в «Опыты» (Соч., т. 3, стр. 420—421), что Гнедич и сделал. Эпиграмма направлена против эпигонов классицизма, авторов неудачных поэм о Петре Великом (имеются в виду поэмы Р. Сладковского «Петр Великий», 1803; кн. С. Шихматова «Петр Великий», 1810; А. Грузинцева «Петриада», 1812). *Наш Пиндар* — М. В. Ломоносов, не окончивший свою героическую поэму «Петр Великий» (были написаны только две песни поэмы).

<О.б А. И. Тургеневе>. Впервые — РА, 1867, стлб. 1463. Входит в письмо Батюшкова к Дашкову от 25 апреля 1814 г. Передавая в письме приветы знакомым, Батюшков «минует» А. И. Тургенева, так как ему кажется, что тот его забыл; перед стихами в письме говорится: «Тургеневу ни слова обо мне» (Соч., т. 3, стр. 264). *Он помнит лишь обеда час И час великий комитета.* А. И. Тургенев, известный как гастроном, в 1814 г. занимал высокие должности, в частности являлся помощником статс-секретаря в Государственном совете.

Новый род смерти. Впервые — «Сын отечества», 1814, № 41, стр. 113, с подписью «N». Принадлежность этого стихотворения, не вошедшего в «Опыты», Батюшкову установил Н. О. Лернер, напеч. его по несколько иному тексту БТ в «Русском библиофиле», 1916, № 5, стр. 80. Печ. по этому журналу. Направлено против официально монархических произведений, сочинявшихся поэтами архаического направления в связи с разгромом Наполеона и печатавшихся главным образом в том же «Сыне отечества». Батюшков осмеивает и типичный для «одомарателей» образ Наполеона («изверга»), и их надутый, высокопарный тон, и удручающую бездарность и монотонность их стихов (с этим связано саркастическое предложение «зачитать» Наполеона «до смерти»). Легковесность образа Наполеона Батюшков отметил даже в послании Жуковского «Императору Александру» (1814). Утверждая, что в нем дана «карикатура», Батюшков писал: «Бонапарте надобно лучше и сильнее характеризовать» (Соч., т. 3, стр. 301). *Бавий* Марк (I в. до н. э.) — бездарный римский поэт, завистник Горация и Вергилия; в данном случае — плохой стихотворец. *Каэна* (Кайенна) — место ссылки, находившееся во Французской Гвиане.

«Памфил забавен за столом...». Впервые — «Российский музеум», 1815, № 9, стр. 262. Из нового издания «Опытов» Батюшков хотел эту эпиграмму исключить.

«От стужи весь дрожу...». Впервые — «Отчет Публичной библиотеки за 1895 г.». СПб., 1898, Приложение, стр. 19. Стихотворение входит в письмо Батюшкова к Гнедичу из деревни от конца декабря 1816 г. — начала января 1817 г. Письмо начинается словами: «Замерзлыми перстами пишу тебе несколько слов». Несколько ниже Батюшков замечает: «Более писать не могу», а затем следуют шуточные стихи. После них говорится: «В такой стуже лучше писать не умею».

На книгу под названием «Смесь». Впервые — «Опыты», стр. 207. О какой книге говорится в эпиграмме — неизвестно. Л. Н. Майков предполагал, что Батюшков имел в виду издававшийся в 1803—1804 гг. в Лейпциге журнал «Russische Miscellen» («Русская смесь»), который получил резко отрицательную оценку в «Северном вестнике» за 1805 г. (Соч., т. 1, стр. 312 в),

и потому относил эпиграмму именно к 1805 г. Но в таком случае непонятно, почему Батюшков опубликовал ее только в 1817 г.

Запрос Арзамасу. Впервые — Соч., т. 3, стр. 431. Входит в письмо Батюшкова к Вяземскому от 4 марта 1817 г. После стихов Батюшков пишет: «Успокой мою душу. Я в страшном недоумении. Задай это Арзамасу на разрешение. Прочитай это Сонцеву <знакомый поэта> и боле никому. В худой час Василий Львович Пушкин рассердится: у него бывают такие минуты, как и у меня грешного» (Соч., т. 3, стр. 431). Композиционная схема «Запроса» отчасти подсказана шуточным антиклерикальным стихотворением Вольтера «Les trois Bernards». *Арзамас* (1815—1818) — литературное общество, организационный центр писателей-карамзинистов. *Три Пушкина* — Алексей Михайлович Пушкин (1769—1825) — поэт и переводчик, Василий Львович Пушкин (в стихотворении говорится, что он живет «без жены», так как В. Л. Пушкин развелся с женой, урожденной Вышеславцевой) и Николай Сергеевич Бобрищев-Пушкин (1800—1871) — будущий декабрист, опубликовавший в 1817 г., когда Батюшков сочинил свой «Запрос», несколько стихотворений в ВЕ (его молодость, вероятно, дала повод к стиху «А третий об жене и весточки не слышит»). Предположение о том, что под «третьим» Пушкиным подразумевается А. С. Пушкин, ведший в молодости «рассеянный» образ жизни, опровергается тем, что он в марте 1817 г. еще не вышел из стен лицея и находился не в Москве, а в Царском Селе. «Запрос» Батюшкова перекликается с его другими арзамасскими шутками. По свидетельству Вяземского, Батюшков также предложил следующий вариант шуточной эпитафии В. Л. Пушкину:

Здесь Пушкин наш лежит; на нем лежат два слова:
Он пел Буянова и не любил Шишкова.

(«Остафьевский архив», т. 1. СПб., 1899, стр. 48).

<Надпись к портрету П. А. Вяземского>. Впервые — Соч., т. 3, стр. 437. Входит в письмо Батюшкова к Вяземскому от 9 марта 1817 г., где Батюшков просит друга прислать ему портрет Жуковского, чтобы «присоединить» его к портрету самого Вяземского: «Не я прошу его, твой портрет кличет на стене. Вот ему надпись...» (далее следует надпись). *Наш Катулл* — Батюшков сравнивает Вяземского, часто развивавшего в своей ранней поэзии мотивы наслаждения жизнью (см., например, его стихотворение «Молодой Эпикур», 1810), с римским поэтом Катуллом (ок. 84—54 до н. э.), автором любовно-эпикурейских произведений.

«Меня преследует судьба...». Впервые — «Московский телеграф», 1827, № 3, стр. 94. Входит в письмо Батюшкова к В. Л. Пушкину от первой половины марта 1817 г. Перед сти-

хами говорится: «Много писал, и теперь, рассматривая старые бумаги, вижу, что написал мало путного. Что в рифмах, если в них мало счастливых, и что в счастливых стихах без счастия! Посудите сами! Живу один в снегах, и долго ль проживу — не знаю».

«На свет и на стихи...». Впервые — «Московский телеграф», 1827, № 3, стр. 94. Входит в то же письмо Батюшкова к В. Л. Пушкину от первой половины марта 1817 г. Перед стихами Батюшков пишет: «Что делает ***? Знаю ваш ответ», а после них следуют слова: «Простите — иногда счастливые!» (т. е. иногда сочиняет хорошие стихи). Против кого направлена эпиграмма — неизвестно. Л. Н. Майков думал, что в ней, вероятно, имеется в виду А. М. Пушкин, но обосновывал это предположение лишь тем, что последний «смеялся над стихотворством Василия Львовича <Пушкина>, а сам преусердно писал стихи». (Соч., т. 3, стр. 741), чего, конечно, недостаточно для отнесения эпиграммы к личности А. М. Пушкина.

«Числа, по совести, не знаю...». Впервые — там же, стр. 94. Входит в то же письмо Батюшкова к В. Л. Пушкину от первой половины марта 1817 г. За последними строками следуют слова: «Это всего умнее».

Послание («Счастлив, кто в сердце носит рай...»). Впервые — изд. 1934, стр. 249, где напечатано по неопубликованному письму Батюшкова к Вяземскому, куда входит послание (ЦГАЛИ). Письмо начато словами: «Одни слабые души, подобные твоей, жалуются на погоду; истинный мудрец восклицает»; далее следуют стихи, за ними идет приписка: «Итак, если все это поспеет, и дела позволят, то я буду». Письмо не датировано, но, вероятно, относится к началу июля 1817 г. *Мудрец Астафьический* — Вяземский, владелец усадьбы Остафьево, куда собирался ехать Батюшков из Москвы, где он тогда находился. *Мудрец Пушкинический* — В. Л. Пушкин, поехавший в Остафьево, через которого было передано письмо. *Эпиктет* (ок. 50—138) — римский философ-стоик; о стоиках см. стр. 263. *Сенека* (ум. 65) — римский философ, политический деятель и автор трагедий, также являвшийся стоиком. *Соковнин* Сергей Михайлович — поэт-дилетант, влюбленный в жену Вяземского Веру Федоровну и преследовавший ее. В июне 1817 г. он публично объяснился ей в любви на Никитском бульваре в Москве. На это и намекают слова Батюшкова о его «даре красноречия». *Ильин* Николай Иванович (1777—1823) — драматург и переводчик, член «Беседы любителей русского слова».

<П. А. Вяземскому> («Я вижу тень Боброва...»). Впервые — РА, 1866, стлб. 474—475, в статье «Литературные арзамасские шалости», по «старым бумагам» Вяземского. Входит в неопубликованное письмо Батюшкова к Вяземскому, которое не датировано, но, вероятно, относится к 1817 г. Автограф — ЦГАЛИ. После стихов дана приписка: «Т. е. я теперь, сидя с сильной го-

ловной болью, от которой ниже сном, ниже перечитыванием Шихматова не избавлюсь». *Бобров* — см. стр. 263. *Скрижаль* — доска, на которой изображались письмена. *Хвостов* — см. стр. 294. *Шихматов* — см. стр. 276.

СТИХОТВОРНЫЕ ОТРЫВКИ ИЗ ПИСЕМ

Из письма к Н. А. Оленину от 11 мая 1807 г. Впервые — РА, 1867, стлб. 1355. Стихотворный отрывок, относящийся ко времени участия Батюшкова в походе в Восточную Пруссию, тематически примыкает к двум посланиям Батюшкова к Гнедичу 1807 г. («Ужели слышать всё докучный барабан?..» и «По чести, мудрено в санях или верхом...»). *Оленин* Николай Алексеевич (ум. 1812) — сын А. Н. Оленина (см. о нем примеч. к стих. «Гезиод и Омир — соперники», стр. 308).

Из письма к Н. И. Гнедичу от 4 августа 1809 г. Впервые — РС, 1871, т. 3, № 2, стр. 214. Этими стихами Батюшков приглашал Гнедича к себе в имение Хантоново (им в письме предшествуют слова: «Приезжай лучше сюда; решись и дело в шляпе». — Соч., т. 3, стр. 38). *Кротал* — ударный музыкальный инструмент древних греков и римлян.

Из письма к Н. И. Гнедичу от 1 ноября 1809 г. Впервые — РС, 1871, т. 3, № 2, стр. 226—227. *Катенин* Павел Александрович (1792—1853) — поэт, драматург и критик, впоследствии вошедший в декабристское тайное общество «Союз спасения».

Из письма к П. А. Вяземскому от 19 декабря 1811 г. Впервые — Соч., т. 3, стр. 169. Пожелание Батюшкова относится к самому Вяземскому и его жене Вере Федоровне Вяземской. Примечательно, что Батюшков позднее почти повторил 2, 3 и 4-ю строки этого стихотворного отрывка в сатирической сказке «Странствователь и домосед», быть может как-то связывая образ женатого брата-домоседа с личностью Вяземского:

...Жена и рой детей
Веселых, резвых и пригожих,
Во всем на мать свою похожих...

Стиль отрывка напоминает недавно опубликованное В. С. Нечаевой шуточное четверостишие, посвященное Вяземскому, где, впрочем, Батюшкову принадлежит только одна строка:

Писал стихи, а не пасквѝли
И в карты вовсе не играл:
Его не многие хвалили,
Он всех охотно прославлял.

Это четверостишие — переделка строфы 11 стихотворения Карамзина «На смерть князя Г. А. Хованского». Вместо строки Карамзина: «Писал, но зависти не знал» у Батюшкова дана строка: «И в карты вовсе не играл», намекающая на то, что Вяземский в молодости проиграл в карты огромную сумму (см.: П. А. Вяземский. Записные книжки (1813—1848). М., 1963, стр. 379). *Пушкин* — В. Л. Пушкин; см. о нем стр. 309.

Из письма к Д. П. Северину от 19 июня 1814 г. Впервые — «Северные цветы на 1827 г.». СПб., 1827, стр. 44—48. Первый стихотворный отрывок связан с эпизодом переезда Батюшкова на корабле из Англии в Швецию после заграничного похода русской армии. *Северин* Дмитрий Петрович (1792—1865) — дипломат и поэт-дилетант, примыкавший к карамзинистам и впоследствии ставший членом «Арзамаса». *Любовник Элеоноры* — Т. Тассо, см. стр. 312. Во втором стихотворном отрывке из письма к Северину, относящемся ко времени проезда Батюшкова через Швецию в 1814 г., иронически сопоставляется героика исторического прошлого этой страны (ср. элегию Батюшкова «На развалинах замка в Швеции», написанную в том же 1814 г.) с ее современным, непривлекательным для поэта буржуазно-обывательским бытом.

Из письма к П. А. Вяземскому от февраля 1816 г. Впервые — Соч., т. 3, стр. 371—372. Отрывок рисует творческую работу Батюшкова над «Песнью Гаральда Смелого» и показывает, что во время этой работы реальные представления о варварском быте древних народов иногда заслоняли скандинавскую героику. О книге «La Gaule poétique» («Поэтическая Галлия») см. примеч. к «Песне Гаральда Смелого», стр. 306.

Из письма к В. Л. Пушкину от первой половины марта 1817 г. Впервые — «Московский телеграф», 1827, № 3, стр. 91.

Из письма к А. Н. Оленину от 4 июня 1817 г. Впервые — Соч., т. 3, стр. 444—445. Об А. Н. *Оленине* см. примеч. к стих. «Гезиод и Омир — соперники», стр. 308. В отрывке имеется в виду назначение А. Н. Оленина в 1817 г. президентом Академии художеств. *Менгс* Антон Рафаэль (1728—1779) — выдающийся немецкий живописец и теоретик искусства, друг Винкельмана. *Винкельман* Иоганн Иоахим (1717—1768) — немецкий археолог и историк античного искусства, автор знаменитого труда «История искусства древности» (1764).

СЛОВАРЬ МИФОЛОГИЧЕСКИХ ИМЕН

Аврора (римск. миф.) — богиня утренней зари.

Аид (греч. и римск. миф.) — владыка подземного царства мертвых, а также само подземное царство.

Алкид (греч. миф.) — одно из имен причисленного к богам легендарного героя Геракла (в Риме его называли Геркулесом).

Амврозия (греч. миф.) — пища богов.

Амальтеи рог (греч. миф.) — рог изобилия.

Анубис (египет. миф.) — бог, покровитель умерших, изображавшийся с головой шакала или собаки.

Аониды (греч. миф.) — музы, обитавшие в Аонии, где находилась гора Геликон (см.).

Апис-бык (египет. миф.) — священный бык, которого считали воплощением Озириса (см.).

Аполлонов конь (греч. миф.) — Пегас, символ поэтического вдохновения.

Арахна (греч. миф.) — искусная ткачиха, осмелившаяся вызвать на состязание богиню Афину и превращенная ею в паука; рассказ об Арахне содержится в 6-й книге «Метаморфоз» Овидия.

Арей (греч. миф.) — бог войны.

Аргус (греч. миф.) — многоглазый великан; в переносном смысле слова — зоркий страж.

Атридов сын (греч. миф.) — Орест, сын царя Агамемнона, прозванного Атридом (по имени отца последнего, Атрея). Орест был неразлучен со своим другом Пиладом, разделявшим с ним опасности и страдания.

Ахерон (греч. миф.) — река в Аиде (см.).

Ахилл (греч. миф.) — герой «Илиады» Гомера, отомстивший троянцам за смерть своего друга Патрокла.

Беллона (римск. миф.) — богиня войны.

Борей (греч. миф.) — северный ветер.

Вакх (римск. миф.) — бог плодородия и виноделия.

Валкала, Валгалла (сканд. миф.) — дворец Одина (см.), загробное местопребывание храбрых воинов, павших в битве.

Валкирии (сканд. миф.) — дочери Одина (см.), девы-воительницы, уносившие в Валгаллу (см.) души убитых героев.
Веристы дочери (сканд. миф.) — валкирии (см.).

Гальциона (греч. миф.) — дочь бога ветров Эола, превращенная Зевсом в морскую птицу.
Гамадриады (греч. миф.) — нимфы деревьев.
Геба (греч. миф.) — богиня вечной юности; она подносила на Олимпе богам их напиток — нектар.
Гела (сканд. миф.) — богиня смерти.
Геликон (греч. миф.) — горный массив в Греции, где, по преданию, пребывали Аполлон и музы.
Гиады (греч. миф.) — нимфы дождя.
Гименей, Гимен (греч. миф.) — бог брака.
Гипербореи (греч. миф.) — сказочный народ, по преданию живший на крайнем севере в вечно солнечной стране всеобщего благоденствия.
Грации (римск. миф.) — богини прелести и красоты.
Гурии (арабск. миф.) — вечно юные девы, обитавшие, согласно магометанской легенде, в раю.

Дафна (греч. миф.) — нимфа, спасавшаяся от преследований бога Аполлона и превращенная своей матерью в лавровое дерево.
Данаиды (греч. миф.) — дочери египетского царя Даная, наказанные за убийство своих мужей; они были осуждены вечно наполнять водой бездонную бочку в подземном царстве.
Диана (римск. миф.) — богиня Луны, Луна.
Дриада (греч. миф.) — лесная нимфа.

Елисейские жилища (греч. и римск. миф.) — Елисейские поля, жилища блаженных в загробном мире.

Изида (египет. миф.) — богиня жизни, плодородия и материнства, которую почитали также и в Риме.
Иксион (греч. миф.) — царь, преследовавший богиню Геру, супругу Зевса, и в наказание прикованный последним в подземном царстве к вечно вертящемуся колесу.
Ио (греч. миф.) — возлюбленная Зевса, из ревности превращенная его супругой Герой в корову.
Иппокрена (греч. миф.) — источник поэтического вдохновения, бьющий на вершине Геликона (см.).

Камены (римск. миф.) — богини-покровительницы искусств и наук, соответствующие музам в греческой мифологии.
Касталийские воды, Кастальский ток (греч. миф.) — олицетворение поэтического вдохновения (Касталия — источник на Парнасе близ храма Аполлона).
Киприда (греч. миф.) — одно из имен Афродиты.
Клио (греч. миф.) — муза истории.
Коцит (греч. миф.) — одна из рек, окружающих Аид (см.), охарактеризованная в «Одиссее» Гомера как «река плача и стенаний».
Купидон (римск. миф.) — бог любви.

Лары (римск. миф.) — души предков, охранители домашнего очага.

Лета (греч. миф.) — река забвения в подземном царстве; из нее пили души умерших, чтобы забыть прошлое.

Маин сын, Майинин сын (греч. миф) — сын богини Майи, Эрмий (см.).

Марсий (греч. миф.) — один из спутников бога вина и винограда Диониса, дерзостно вступивший в состязание с Аполлоном в игре на флейте; в наказание Аполлон содрал с Марсия кожу и повесил ее на дереве, где она издавала звуки.

Мегера (греч. миф.) — богиня мщения.

Мельпомена (греч. миф.) — муза трагедии.

Минос (греч. миф.) — судья мертвых в подземном царстве.

Мнемозина (греч. миф.) — богиня памяти; ее дочери — музы.

Морфей (греч. миф.) — бог сна и сновидений; изображался тихо летающим на длинных крыльях.

Наяды (греч. миф.) — нимфы рек и источников.

Немезида (греч. миф.) — богиня, олицетворявшая судьбу, справедливость и мщение.

Нептун (римск. миф.) — бог моря.

Нереиды (греч. миф.) — дочери морского божества Нерея.

Нимфы (греч. миф.) — молодые девушки, олицетворявшие стихийные силы природы, богини рек, ручьев, лесов, гор и т. п.

Оден, Один (сканд. миф.) — верховное божество, покровитель воинов и скальдов.

Оденов дом (сканд. миф.) — дворец Одина или Валгалла (см.).

Одиссей — царь острова Итаки, главный герой гомеровской «Одиссеи» и один из персонажей «Илиады», отличившийся во время Троянской войны; после долгих и опасных странствий он вернулся на родину.

Озирид, Озирис (египет. миф.) — властитель загробного мира и судья душ умерших.

Океаниды (греч. миф.) — морские божества.

Олимп (греч. миф.) — горный массив в Греции, считавшийся местопребыванием богов.

Орковы поля (римск. миф.) — подземное царство мертвых.

Орфей (греч. миф.) — чудесный певец, очаровывавший своим искусством диких зверей, деревья и скалы.

Оры (греч. миф.) — богини времен года.

Парки (римск. миф.) — три богини судьбы, прядущие нить человеческой жизни.

Парнас (греч. миф.) — горный массив в Греции, считавшийся наряду с Геликоном одним из местопребываний Аполлона и муз; парнасские царицы — музы.

Пафос (греч. миф.) — город на острове Кипре, где господствовал культ богини любви Афродиты; в переносном значении — любовь.

Пенаты (римск. миф.) — боги-покровители домашнего очага.

Пермесские богини (греч. миф.) — музы.
Пиериды (греч. миф.) — музы.
Пинд — горы в Древней Греции, среди которых были Геликон (см.) и Парнас (см.).
Плутон (греч. и римск. миф.) — см. Аид.
Поллукс (греч. и римск. миф.) — покровитель мореплавания.
Посейдон (греч. миф.) — владыка морей и всей водной стихии.
Приам (греч. миф.) — герой «Илиады» Гомера, царь Трои, отец Гектора; он вымолил у Ахилла (см.) тело убитого сына.
Протей (греч. миф.) — морской старец, принимавший различные образы.

Сатиры (греч. миф.) — лесные божества, спутники бога вина и винограда Диониса.
Сатурн (римск. миф.) — бог земли и посевов, отец Юпитера; день, посвященный ему, — суббота.
Сатурнова дочь (римск. миф.) — Веста, богиня-покровительница домашнего очага.
Сизиф (греч. миф.) — царь Коринфа, осужденный богами на бесцельный труд в подземном царстве.
Сильваны (римск. миф.) — боги полей, покровители пастухов.
Сильфы (кельтск. и герман. миф.) — духи воздуха.
Сирены (греч. миф.) — девы, заманивавшие и губившие мореплавателей своим чарующим пением.
Стигийские берега — берега Стикса (см.).
Стикс (греч. миф.) — река, обтекающая подземное царство, через которую в него переправляет души умерших перевозчик Харон.
Сцилла и Харибда (греч. миф.) — чудовища, две скалы, которые, сдвигаясь, раздавливали все проплывающие мимо корабли; лишь одному Одиссею (см.) хитростью удалось проплыть между Сциллой и Харибдой.

Тантал (греч. миф.) — царь, оскорбивший богов и жестоко наказанный ими. В подземном царстве он, стоя по горло в воде и видя над своей головой спелые плоды, не мог утолить жажду и голод, так как вода и ветки с плодами уходили от него.
Тартар (греч. миф.) — темная подземная бездна, преисподняя; это слово употреблялось и как символ язычества.
Тезей и Пирифой (греч. миф.) — друзья, заточенные в подземном царстве.
Тенар (греч. миф.) — мыс в Древней Греции, где находились пещера и пропасть, считавшиеся, по преданию, входом в подземное царство.
Тереевы обиды (греч. миф.). — Фракийский царь Терей за измену был накормлен женой мясом убитого ею сына.
Терпсихора (греч. миф.) — муза танцев и хорового пения.
Тизифона (греч. миф.) — богиня мщения.
Тимпан — ударный музыкальный инструмент.
Тифий, Тифос (греч. миф.) — великан, заточенный богами в подземном царстве, где два коршуна клевали его печень, которая постоянно вырастала вновь.
Тритоны (греч. миф.) — божества, олицетворявшие капризную морскую стихию.

Урания (греч. миф.) — муза астрономии.

Фавны (римск. миф.) — лесные божества.
Феб (греч. миф.) — одно из имен Аполлона.
Фетида (греч. миф.) — богиня моря.
Флегетон (греч. миф.) — огненная река в подземном царстве.
Флора (римск. миф.) — богиня цветов, весны и юности.
Фортуна (римск. миф.) — богиня судьбы, удачи и счастья, изображавшаяся в виде слепой женщины.
Фурии (римск. миф.) — богини мщения.

Харибда (греч. миф.) — см. Сцилла.
Хариты (греч. миф.) — грации.

Цербер (греч. и римск. миф.) — трехголовый пес, охраняющий вход в подземное царство.
Церера (римск. миф.) — богиня посевов и плодородия.
Циклоп (греч. миф.) — одноглазый исполин.
Цирцея — прекрасная волшебница из «Одиссеи» Гомера; в нарицательном значении — красавица, обольстительница.
Цитера — остров, где у древних греков был распространен культ богини Афродиты.

Эвмениды (греч. миф.) — богини-мстительницы, соответствующие фуриям в римской мифологии.
Эвоэ — восклицание в честь Вакха (см.) на празднествах, посвященных ему.
Эвр — теплый восточный ветер.
Эгида (греч. миф.) — щит Зевса (Юпитера), олицетворяющий страшную грозовую тучу.
Элизий (греч. миф.) — см. Елисейские жилища.
Энкелад (греч. миф.) — гигант, заключенный Зевсом под Этну.
Эрата (греч. миф.) — муза любовной поэзии.
Эреб (греч. миф.) — часть Аида (см.).
Эригона (греч. миф.) — кончившая самоубийством дочь Икария, наученного Вакхом виноделию, в память которой устраивались празднества.
Эрмий, Гермес (греч. миф.) — вестник олимпийских богов, глашатай Зевса.

К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

1. *Фронтиспис.* К. Н. Батюшков. Карандашный рисунок О. Кипренского 1815 г. (Государственный литературный музей).

2. *Между стр. 96 и 97.* К. Н. Батюшков. С гравюры В. Матэ по автопортрету 1810-х годов.

3. *На обороте:* титульный лист второй части «Опытов в стихах и прозе», 1817 г.

4. *На стр. 129.* Автограф стихотворения «Скальд» (ПД).

5. *Между стр. 224 и 225.* К. Н. Батюшков. Автопортрет, между 1817—1819 гг. (Государственный литературный музей). На этом автопортрете Батюшков написал строки отрывка из поэмы А. Ф. Воейкова «Искусства и науки» («Роскошный Батюшков!.. Овидий сладостный, любимец муз Гораций, Анакреон и ты, вы веруете в граций»). Отрывок был напечатан в 1819 г. («Вестник Европы», 1819, № 8, стр. 248—255), а сочинен в 1817 г. (этот год выставлен под журнальным текстом отрывка), чем и определяется датировка автопортрета.

6. *На обороте:* К. Н. Батюшков в старости. Акварель Ф. Берже 40-х годов (?) (Государственный литературный музей).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СТИХОТВОРЕНИЙ[1]

---

[1] Стихотворные отрывки из писем Батюшкова см. под заглавием «Из письма к...». При расположении заглавий, представляющих собой фамилии адресатов, инициалы во внимание не приняты.

СОДЕРЖАНИЕ[1]

СТИХОТВОРЕНИЯ

---

[1] Первая цифра указывает страницу текста, вторая (курсивом) — страницу примечаний.

МЕЛКИЕ САТИРИЧЕСКИЕ И ШУТОЧНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

СТИХОТВОРНЫЕ ОТРЫВКИ ИЗ ПИСЕМ

Батюшков
Константин Николаевич

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ

Редактор *В. С. Киселев*

Художник *И. С. Серов*
Худож. редактор *А. Ф. Третьякова*
Техн. редактор *М. А. Ульянова*
Корректор *З. Н. Петрова*

Сдано в набор 23/III 1964 г. Подписано в печать 21/VII 1964 г. Бумага $84 \times 108^1/_{32}$. Печ. л. $11^1/_8 + 3$ вкл. (18,09). Уч.-изд. л. 19,74. Тираж 25 000 экз. Зак. № 520.
Цена 75 коп.

Издательство «Советский писатель»
Ленинградское отделение, Невский пр., 28.

Ленинградская типография № 5
Главполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров СССР по печати. Красная ул., 1/3